

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:
М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)
А. Г. Байбородин (Иркутск)
П. В. Басинский (Москва)
А. В. Болдырев (Курск)
А. В. Кирилин (Барнаул)
В. М. Костин (Томск)
А. К. Лаптев (Иркутск)
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)
Р. В. Сенчин (Екатеринбург)
М. А. Тарковский (Красноярск)
М. В. Хлебников (Новосибирск)
А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов
ответственный секретарь

Михаил Косарев
начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова
редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова
редактор отдела художественной литературы

Кристина Кармалита
начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов
редактор отдела общественно-политической жизни

Елена Богданова
редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Т. Л. Седлецкая
Верстка: О. Н. Вялкова

9/2020

Содержание

ПРОЗА

Владимир МАРФИН. Я вас всех никогда не забуду. Повесть.	3
Игорь КОРНИЕНКО. Давай взорвем весь этот свет! (Письма с вулкана). Роман. Окончание.	65
Валерий КОПНИНОВ. Свадебный чертополох. Рассказ.	121

ПОЭЗИЯ

Люк ГРЮВЕС. Похищение ландшафта. Стихи. <i>Перевод с нидерландского Анастасии Андреевой.</i>	60
Тихон СИНИЦЫН. На дворе цифровая эпоха. Стихи.	116
Дмитрий РУМЯНЦЕВ. Мотылек на стене. Стихи.	146
Игорь КУНИЦЫН. Среди дач подмосковных. Стихи.	148

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Георгий КУНИЦЫН. Марксизм в России начинался со лжи. <i>Окончание.</i>	151
<i>Новосибирскому государственному краеведческому музею — 100 лет</i> Музей для людей.	175
<i>Картинная галерея «Сибирских огней»</i> Лариса МАРТЫНОВА. На границе.	188
<i>Авторы номера</i>	191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни»» М. Н. Щукин.

Владимир МАРФИН

Я ВАС ВСЕХ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ

П о в е с т ь

1.

Диомид Дубницкий, вор-карманник по кличке Чугун, был сегодня доволен. С раннего утра ему сопутствовал фарт, и сейчас, к вечеру, он вполне мог похвастаться приличным уловом, от которого в последнее время отвык. Проводя свои дни в беспокойных бегах и мечтаниях, он едва наскребал на еду и топчанчик, который по великому благу снимал у одной заковыристой спекулянтки.

Зараза эта, именуемая в тайных сферах Лизаветой Пиявкой, проживала в одном из переулков Чиланзара, в глинобитной халупе, превращенной ворами в «малину». Первую из низких тесноватых комнатушек занимала она сама с дочкой Лидией и внучкой Мариной. А вторую, с отдельным входом и надежным подвалом, отдавала внаем разномастным квартирантам.

Хата Лизки считалась надежной, так как старая карга, умело подкатывая к участковому, постоянно задабривала его то деньгами, то водкой, то девочками.

Документы, то есть справка об освобождении и прочее, у Демки имелись. Всего две недели прошли с того дня, как он прибыл в Ташкент из Ивдельлага. Однако ни паспорта, ни прописки, а следовательно, и постановки на военный учет у него не было. Что при первом же сбое в это грозное военное время грозило трибуналом.

Конечно, отсутствие двух пальцев на левой руке, которые Диомид вполне сознательно оттяпал себе еще на Беломорканале, освобождало его от тяжкой повинности. Но шел четыреста пятидесятый день Великой Отечественной, и на трудфронт и во «вторые эшелоны» забирали даже записных нестроевиков.

А это Демку никак не устраивало, потому что рожден он был гордецом и сибаритом от свободолюбивых и пылких людей.

Папа его, как вещала семейная хроника, был казачьим есаулом и в 1920 году укатил с генералом Слащёвым в Турцию. А маман с юных лет, наплевав на духовное происхождение, промышляла веселыми связями.

В разные годы от разных господ произвела она на свет троих отроков, ничего не ведавших друг о друге.

Причина этого незнакомства была в том, что ветреная мамзель без зазрения совести подбросила одно чадо на крыльцо какого-то богатого особняка, другое просто «забыла» у оплошавшей повивальной бабки.

Правда, Демке повезло. Мать Калерии Антоновны, отставная протопиха Ивлева, во искупление грехов небогобоязненной блудящей дщери, забрала казачье чадо к себе. Однако, промучившись с окаянным мальцом, одновременно пошедшим в отца и мать, лет двенадцать, не выдержала трудов тщетных и скоропостижно преставилась, несомненно получив за свои страдания царствие небесное и смиренное отдохновение в раю.

Калерия Антоновна на похороны не явилась. И Демка сам с помощью дьячка и соседок, воем воющих от его проказ, похоронил старуху. После чего, распродав все, что можно было продать, укатил на крыше подвернувшегося товарняка в Москву, уповая где-нибудь на Сухаревке или в Марьиной Роще повстречать дорогую родительницу.

Однако найти ее не сумел, так как и не искал особенно, столкнувшись и спевшись с компанией таких же, как сам, шкетов безнадзорных и зачуханных. Жил он вместе с ними то в асфальтовых котлах, то на чердаках и в подвалах, крал у зазевавшихся торговков с лотков все, что попадалось, попрошайничал, ходил поводырем у поддельных слепых. А однажды, увидев, как залетный щипач выпотрошил ридикюль у нэпманши, позавидовал козырному и легкому фарту и заболел им всерьез.

Жизнь его покатила красивой дорогой. За лихость и дерзость был он вскоре принят в уголовный клан Белокаменной, неустанными трудами и удачами заслужив прозвание «фартовый пацан».

А потом, как говорится, пошло невезение. Непреклонные муровцы остроглазо приметили озорного «жучка» и, проследив однажды, взяли с поличным в трамвае на Большой Дмитровке. По малолетству и снисходительности тогдашнего Уголовного кодекса получил он на первый раз три месяца изоляции, без добавочных мер социальной защиты. Тем более что выдал себя не за офицерского сына, а за споткнувшегося потомка пролетариев чистой воды, пострадавших от прошлого гнета и гнусных режимов.

Так дальше и повелось. Свобода — домзак, свобода — домзак.

А годы шли. И в тридцать втором загремел он, уже девятнадцатилетний, на Беломорско-Балтийский канал, к Онежскому озеру, возле города Повенца. К тому времени числились за ним четыре судимости, и проходил он по делам не только как Дубницкий, но и Киселев, он же Ключник, и Каниковский, он же Сердюк.

Получив последний срок в 1937-м и отпахав пять лет «от звонка до звонка», выбыл Диомид на волю, растревоженную и поруганную войной.

Конечно, в такую пору надо было бы срочно «завязывать», как это сделало немало испытанных урок. Но, мимолетно осмотревшись и увидев, как скудно и голодно живет народ, он решил профессию не менять. Тем более что ни в обозные, ни в сторожа ему идти не хотелось. Да и кто

бы рискнул взять на материально ответственную должность рецидивиста, у которого одно перечисление фамилий занимало чуть не половину страницы?

Поэтому, поразмыслив критически, Чугун решил, что, пережив Белобородова, Ягоду, Ежова и прочих, переживет он и Берию, если только судьба к нему, Чугуну, вновь любовно склонится и снизойдет.

И вот сегодня он гулял. В кармане лежало почти тринадцать тысяч, и теперь хоть на пару недель можно было расслабиться и передохнуть.

Сердце Демки томилось. Он почти физически ощущал его куском сливочного масла, шкворчащего на сковородке.

Неожиданно представилось, как завидуяще раскроются глаза Лизаветы Марковны, когда она увидит это богатство. Как заюлит, застрекочет, заподлизывается Лидка, до сих пор не обращавшая на него никакого внимания. Петушиное чувство собственного достоинства навалилось на Демку, подступило к горлу так, что захотелось закукарекать.

Ничего, и бабай, загонявший эвакуированным рис по бандитски высокой цене, и пирожковый барыга Шимон, неосторожно подставившийся Демке, свое нагонят. Через их руки не такие суммы проходили. А для него подобное — впервые.

Да и с чернушниками он не прогадал. Еще в лагере научился гонять и три карты, и ореховую скорлупу. И тут, на рынке возле Тезиковой Дачи, прикинувшись простачком, всенародно выпотрошил фармазонов и был таков. Пока они опомнились, пока рванулись за ним — дескать, свой и своих же губишь! — он был уже далеко, здесь, на Пролетарской, в низкой и жаркой чайхане, расположенной над мелководным Саларом.

Ташкент был под завязку набит эвакуированными, военными, шпальной, инвалидами, милицией. Промтоварные и продовольственные магазины отпускали по карточкам только самое необходимое. Зато на толкучках было все.

Поэтому Демка тут же сбросил свое задрипанное тряпье и облачился в офицерский китель с двумя нашивками за ранения, синие диагональные галифе и приличные яловые сапоги на двойной спиртовой подошве. При желании можно было достать орден или пару медалей, вроде тех, что носил сожигатель Лидии Ванька Самурай. Но, подумав, Демка от подобной мысли отказался.

Одно дело, если заметут на кармане, пусть даже без прописки и со всеми судимостями, и совсем другое — при чужих наградах. Кто знает, может, они с какого-то убитого воина сняты (бывали такие случаи!), и тогда попробуй доказать, что не ты его порешил.

Удобно расположившись на деревянном, крытом кошмой помосте, Демка вытащил из кармана бутылку самогона и велел принести плов, лепешки и чашку холодной воды.

— Может, чай хочешь? — услужливо поинтересовался вальяжный чайханщик, утирая тубетейкой мокрую от пота бритую бугристую голову. — Разве плов водой запивают? — Он воровато стрельнул глазами по сторонам и, понизив голос, добавил: — А еще анаша бар... имеется. Курить будешь?

— Йок! — брезгливо скривился Демка. И, не поворачивая головы, повторил директивно: — Во-оды! Су! Су... понимаешь?

Узбек обиженно поджал губы, сказал: «Ходжаин — барин!» — и принес все, что требовалось, попросив рассчитаться немедленно.

Опустошив пиалу самогона, Демка запил его водой и принялся за еду.

Ароматный плов был жирен и красен от моркови, а от лепешек исходил такой горячий и сытный дух, что Демка почувствовал себя чуть не эмиром бухарским. После долгого воздержания алкоголь ударил в голову, и Чугуна повело на благодеяния. Ему до отчаяния захотелось, чтобы хоть одна живая душа с пониманием выслушала его и то ли посочувствовала, то ли посоветовала бы, как жить дальше и какие искать в этой жизни основы и смысл.

Но люди вокруг были озабочены своими проблемами, и никого не интересовал захмелевший стриженный мужичок, сидящий один на один с полупустой бутылкой. Демка докурил папиросу, щелчком сбросил окурочек в арык и, негромко ругнувшись, вновь наполнил пиалу.

— Будь здоров, Диомид Мартемьянович! — с уважением поприветствовал он себя и вдруг замер, прислушиваясь к непонятым вздохам и шорохам, доносящимся из-под помоста. — Это что же такое? — крикнул он и, резко наклонившись, схватил и вытащил на свет замурзанного пацана. — Ты кто такой? Откуда? Документы есть? — строго заговорил он, крепко держа мальчишку за рукав обтрепанной фланелевой курточки.

Блаженное чувство власти над этим понуро переминающимся с ноги на ногу огольцом обуяло его. В кои-то веки представилась возможность проявить гражданскую бдительность, вроде той, что всегда и везде проявляли к нему дотошные милиционеры.

— Ну, чего молчишь? Отвечай!

— А чего вы хотите? — равнодушно спросил мальчишка.

— Документ покажь! Паспорт там... удостоверение... Или нет ничего?

— Нет, — грустно сознался подросток. — Мне паспорт пока не положен.

— А под нарами сидеть положено? Ты чего там искал, позорник?

— Спа-ал! — неожиданно всхлипнул пацан. — Сирота я, дяденька. Отпустите меня... я домой пойду...

— До-о-омой?! — Демка прямо-таки засиял от мильтонской гордости и большого ума. — В какой же это дом пойдешь, если ты сирота? А-а?

Мальчишка смутился.

— Я... мне... у меня...

— «У меня»! — передразнил его Демка, понимая все невысказанное пацаном и уже имея насчет него моментально возникшие планы. — Знаю я твое «у меня». А ну, садись. Небось, жрать хочешь?

Парнишка недоверчиво взглянул ему в глаза и смущенно кивнул.

— Тады так... клевай и глотай!

Демка отодвинул от себя миску с недоеденным пловом и отломил кусок лепешки.

— Наяривай! Да не бойсь. Я не мент. Сам недавно с кичи свалился.
 — С какой кичи? — вежливо поинтересовался мальчик.

Демка посмотрел на него с глупым недоумением и захохотал, хлопая себя ладонями по ляжкам.

— Кичи не знаешь? Ну ты даешь! Чем тебя только делали и когда?

Он снова отпил глоток самогона, поморщился и покачал головой.

— Значит, ты домашняк. То есть домашний. А говоришь — сирота. Чернуху лепишь!

— Какую чернуху? — снова удивился мальчик. — Я из детдома сбежал.

Он умолк, жадно глядя на остаток лепешки, лежащий на подносе. Демка, откинувшись на помосте, безразлично разминал казбечину, и мальчишка, видя, что его не собираются ни бить, ни арестовывать, настороженно сидел рядом.

Был он худ и белокур, тонкошеий и угловатый, с огромными наивными светло-карими глазами. Фланелевая куртка и такие же шаровары были изрядно поношены и измяты, а порыжевшие, давно не чищенные ботинки явно доживали последние дни.

Демка искоса оглядел его, шмыгнув носом, но ничего не сказал. Может, вспомнил себя в свои первые сиротские дни.

— Тебе сколько лет?

— Тринадцать.

— А откуда родом?

— Из Искитима... Мама моя оттуда, и я там родился. Потом в Москве жили. А эвакуировались из Киева. Там папа служил. На второй день войны под бомбежку попали. Маму и Полюночку насмерть... А меня оглушило и под насыпь скинуло.

Мальчик замолчал, опустив голову, а затем продолжил равнодушным, словно бы мертвым от незатихшей тоски голосом:

— Люди подобрали... И сначала в приемник, а потом в детдом. Далеко, возле Омска. А мой папа на фронте. Он полком командовал. Так я его искать начал. Целый год — ничего. И вдруг сообщили из наркомата обороны! Написали, что ранен. И направлен в госпиталь, в Ташкент. Ну я и решил — сюда. Потому что пока письмо напишешь, пока оно дойдет... Да и куда писать? Госпиталей много! Я поэтому, как приехал, в милицию обратился, чтобы помогли. Адрес дал: главпочтамт, до востребования. Соврал, что с теткой приехал, но постоянного жительства пока нет. Может быть, найдут?

— Найдут! — многообещающе кивнул Демка. — Они, если возьмутся, кого хочешь найдут. Уж как я от них ни тырился, а не успел моргнуть, как все мои статьи и пальчики в деле... Хенде хох и битте-дритте!

— М-м-м, — задумчиво промышчал мальчик. — А вы разве не командир? Вон у вас и форма, и нашивки...

— Командир, кхе-кхе-кхе, — поперхнулся дымом Чугун. — Только я сейчас в отставке. По причине контузии и ранения. Усек?

Он показал пацану свою изуродованную руку.

— Ага, — мальчишка доверчиво моргал своими светло-карими.

— Ну, тады лады! — подмигнул ему Демка. — А живешь-то ты как? Подворовываешь?

— Что вы? Как можно! — искренне возмутился пацан. — Меня люди по глазам понимают. Кто сухарь даст, кто яблоко... Правда, в последнее время ослаб, так бы все лежал и лежал... Но воровать... что вы!

— Правильно! — неожиданно горячо одобрил его Чугун. — Воровство — пустая затея. Как ни ловчи, а обязательно сцапают. Не сегодня, так завтра. Такая у нас жизнь.

— У вас? — вскинулся мальчик.

— Ну-у... как бы тебе сказать... у людей... в общем смысле, — почему-то замешкался Демка.

С таким туповатым хмыренком ему сталкиваться еще не приходилось.

Домашняк и есть домашняк, как его ни крути. Есть еще среди пацанов такие невинные!

А ведь и у него, Демки, папа был офицерская косточка. И кто знает, кем бы стал Диомид Мартемьянович, если бы не революция. Может быть, золотые погоны носил бы, с высокородными барышнями эклеры и марципаны вкушал. А так... Э-эх! Кстати, у этого дурачка пальцы будто богом данные. Для карманника — золотая мечта!

— Ты, часом, на фортепьянах не играешь? — криво усмехнулся он, не сводя глаз с давно не мытых, тонких до прозрачности рук мальчишки. — Шопенов там всяких да Бетховенов?

— Играю, — ответил пацан. — Только мне больше виолончель нравится. Она... она... — Не найдя слов для достойного выражения своей мысли, он умолк.

— Ви-лан-чель? Это скрипка, что ль, такая большая? — почтительно изумился Демка. — Ну ты даешь!

И вдруг те, поначалу неясные, планы канонически оформились в законченное и четкое желание.

«Подобрать таких тройку, пяток, обучить ремеслу, и пусть воруют. Ну а ты у них вроде пахана. Всю добычу себе, а детям на орехи. И холку подставлять не надо, все покроют сынки комсоставские...»

Демка даже вспотел от открывшейся перед ним доходной перспективы.

«Ведь если по-деловому все обтяпать, так всю жизнь можно будет на свободе торчать. Бабенку себе заведу, детишки, может, пойдут... наследнички!..»

Демка возбужденно допил самогон и уселся на кошме, по-узбекски скрестив под собой ноги.

— Как тебя зовут? — наконец спросил он, стараясь добротой и вниманием расположить к себе пацана.

— Игорь, — ответил мальчик. — А фамилия Воронов.

Он с сожалением посмотрел на опустевшую миску, аккуратно подобрал с подноса крошки и бросил их в рот.

— Не наелся? — хмыкнул Демка. — Так мы еще организуем. Эй, чайханщик! Один плов и два чая! Быстро!

— Спасибо вам, — застенчиво поблагодарил Игорь. — Только я не расплачусь, у меня денег нет.

— Э-э! — по-восточному яростно выбросил пальцы из кулака Демка. — Свои люди — сочтемся. Будет у тебя время расплатиться.

Он замолчал, увидев приближающегося чайханщика, и небрежно бросил на поднос несколько ассигнаций.

— Хватит? Яхши?¹

— Яхши! Яхши! — радушно заворковал узбек, уважая кредитоспособность клиента и подвигая мальчишке миску с пловом. — А анаша будешь? Нет? Очень жаль. Хороший анаша, крепкий...

Он смахнул деньги в карман некогда белой куртки и, поигрывая жирными, округлыми, как у женщины, плечами, удалился за стойку.

Некоторое время было тихо, так, что слышалось, как бурлила скоротечная вода в Саларе и медленно журчал арык. Мягко шелестели прибрежные ивы. На песке наскакивали друг на дружку перессорившиеся воробы.

Мальчик ел торопливо, стараясь не чавкать, по-собачьи виновато поглядывая на своего благодетеля.

— Ничо, ничо, — благодушно побряхтывал Чугун, с сожалением разглядывая пустую бутылку. — Я из тебя фартового щипача сделаю.

— Кого? — не понял Игорь.

— Ну это... музыканта! Струны на виланчели щипать. Со мной пойдешь! — вдруг посуровев, безапелляционным тоном произнес он. — Хватит по помойкам шастать. У меня и хата есть, и деньги. А там, может, и отец объявится. Кто он у тебя по званию?

— Полковник.

— Полко-о-овник?! — с уважением протянул Чугун. — Большая шишка. Ну, ничо, я тоже не палкой делан. У меня отец в Гражданскую комдивом был, — вдохновенно сфантазировал он. — С Котовским воевал. Только его в тридцать седьмом Ежов, подлюга, защучил. Слышал о «ежовых рукавицах»?

— Как будто... А вообще, что это такое?

— Да как тебе сказать, — поморщился Демка. — Оголтелье страсти и траурный круговорот!

Иногда Диомид начинал выражаться красиво. Нахватался он этого умения в лагере, когда подружился с Христоней, бывшим провинциальным актером, а затем воришкой и алкашом.

Христоня обожал пленительные обороты речи. Он считал себя вышешенным интеллигентом и, назло тупой шпане, неукротимо общался с так называемыми «врагами народа», которых на всех каналах и лесоповалах было хоть пруд пруди. Демка и сам знал одного врача, проходившего по «делу Горького». Этакого благообразного и мудрого старичка профессора, которого в затрапезном лагерном медпункте милосердно держали за санитаря.

— Так что считай себя всесторонне обеспеченным, — заверил Демка, поощрительно похлопав мальчика по плечу. — А теперь идем домой.

¹ Хорошо?

Там у меня подружка намечается. Да и тебе девулю подберем. Как ты к девкам относишься? Небось, пощупываешь, как курчат?

Игорь помолчал. Сквозь бесцветную кожу щек просочился горячий румянец.

— Вы о девочках? — наконец спросил он.

— А то о ком же, — радостно захохотал Демка. — О них, родимых...

— Они мне нравятся, — твердо сказал Игорь. — Только...

— Только ты еще наивный, — перебил его Чугун. — Хе-хе! Так это не беда. На твои глаза любая баба позарится. А теперь идем! Нам до Чиланзара еще переть и переть!..

Из полуоткрытых окон дома Лизаветы Марковны доносились стелания и вопли. Демка приостановился, по-черепаши втянув голову в плечи, и беспокойно огляделся.

— Ша! — зловецким шепотом задержал он мальчишку. — Может, это легавые? Или облава? А?

Игорь пожал плечами. Он до сих пор не мог понять, что за человек этот странный командир в отставке. Может, контузия сказывается?

— Не знаю, — сказал он.

— «Не знаю», — буркнул Демка и длинно цыкнул слюной через редкие желтые зубы.

Узкое, рано покрывшееся морщинами лицо его вытянулось, острые бурундучьи глазки спрятались в припухших веках.

— А ну, зайди! — возбужденно скомандовал он. — Зайди и посмотри, кто там. Если что, скажешь: адресом ошибся. Ну!

— Неудобно как-то, — поежился Игорь.

— Неудобно? — зашипел Диомид. — А жрать задарма удобно? Чего молчишь? Как мы дальше работать будем, если ты для друга ничего... А ну, топай! И если что — кричи!

Он буквально впихнул пацана в заскрипевшую калитку, а сам затаился у забора.

— Поначалу в окно позырь! И если шухер — тикай!

Игорь повиновался.

— Ну, чего там? — спустя минуту окликнул его Демка. — Чего? Говори!

— Ничего, — покачал головой Игорь, заглядывая в окно. — Тетя какая-то плачет...

— А ментов? Мильтонов нет? — приглушенно выкрикнул Чугун.

Мальчишка подошел к другому окну.

— Никого не видно.

— Ух, гадство! — беспокойно потер ладони Демка. — Если что, горю, как швед... А! Была не была! — решительно крякнул он. — Открывай двери! Вперед!

Через небольшие узкие сени они на цыпочках вошли в дом и остановились у притолки, готовые в любую минуту сбежать.

Неподдельное волнение Демки передалось и Игорю, хотя он не понимал, куда и зачем ему надо убежать от милиции. Конечно, при любой

проверке он тоже мог загреметь. Как-никак из детдома сбежал, казенные штаны и куртку унес. Спит черт знает где, ест неизвестно что. Так что подозревать и не доверять ему мог всякий встречный, а милиционер и по-давно. На всякий случай он отступил назад, оглядывая небольшую комнатушку с любопытством и смущением человека, впервые оказавшегося в чужой квартире.

Комната не поражала. Часть ее занимал большой, источенный жучками темный резной буфет с почти пустыми, если не считать нескольких облупленных тарелок и чашек, полками. Слева, на тахте, покрытой лоскутным одеялом, лежала худенькая смуглая женщина, сотрясаясь в рыданиях. Рядом, за столом, покрытым потрескавшейся клеенкой, не обращая на нее внимания, сидела рыжеволосая миловидная девочка лет четырнадцати и что-то писала в потрепанной общей тетради. А в углу, возле плиты, засучив рукава халата, стирала в корыте какие-то тряпки крутobокaя, обвисшая старуха, с апоплексически налитыми щеками и затылком, ало просвечивающим из-под туго затянутой короткой седой косицы.

— Что за гам без ссор и драм? — храбро спросил Демка, убедившись, что опасности нет, а шум и слезы, скорее всего, дело семейное.

Девчонка на секунду оторвалась от тетради и, взглянув на него, ничего не ответила. Затем, увидев Игоря, уставилась на него и неожиданно показала язык, густо испачканный химическим карандашом.

Игорь посмотрел на нее как на больную и спрятался за спину Чугуна.

— Ма-а-ама! — нараспев произнесла девочка. — Гости у нас. Встречай!

— Гости! Гости! — оживленно затараторил Диомид. — Лидуся! Гляди, кто пожаловал!

Услышав чужой и вроде бы сочувственный голос, женщина завывала еще громче.

— Да что такое? В чем дело? — оскорблено повысил голос квартирант. — Могу я узнать, что тут происходит?

— Можешь, можешь!

Старуха в сердцах швырнула в корыто тряпку и, вытерев мокрые руки о халат, с туалетным кряхтением присела на табурет.

— Мировая трагедия! — язвительно и вредно выкрикнула она.

В слове «трагедия» буква «г» прозвучала как протяжное, слобное «х», и этот мягкий звук сразу выдал в ней малороссийское происхождение. Что и было истинной правдой. Родилась Лизавета и прожила всю жизнь, кроме пары отсидок, в благородной и славной Одессе, ныне занятой врагом, а оттого далекой и недосягаемой.

— Мировая трагедия! — повторила она. — Хахаля у нее забрали, вот и воеет, дуреха.

— Самурая?! — возликовал Демка и тут же притих. Узнает Иван про такие его радости, хлопот не оберешься. — А кто сказал про арест? Может, все это враки?

— Как бы не так, — проворчала старуха. — Сенька Черт прибежал... и Закир-узбеченок. Мусора Ваньку на вокзале загребли с чемоданом. Загудел Самурай... теперь надолго. Сенька Черт наказал, щоб мы пере-

дачу несли. Папирос, мол, сухариков, сахаров-махаров... А где я возьму, если этот жлоб ничего нам не нес?

— Ну и стоит ли ныть? — облегченно расслабился Демка. — Мало, что ль, мужиков на свете?

«Все! — хищно подумал он. — Лидуха моя! Да и все эти бабоньки-девоньки...»

— Вот-вот, — закудаhtала Лизавета, обрадованная неожиданной поддержкой, — что это за мужик, если он не может тебя обеспечить? Ты, по моим понятиям, должна в крепдешинах ходить, а он, босяк, даже прожиточный минимум не обеспечивал!

О «прожиточном минимуме» Лизавета недавно услышала в очереди и, подхватив это интеллектуальное выражение, выдавала его к месту и не к месту. На сей раз она попала в десятку и, поняв это, почувствовала себя удовлетворенной.

— Разве это ловчила? — с пафосом продолжала она. — Ни одной приличной тряпки не добыл за все время. Сплошные «голуби» — простыни, наволочки, панталоны бабьи... тьфу! И за этого чердачника убиваться? Я вас умоляю!

— Да-а, — на мгновение оторвав от подушки встрепанную, с шестимесячными кудряшками голову, проревела Лидия. — Чердачник не чердачник, зато мужчина какой!

— От лярва! — сокрушенно покачала головой мать. — Мушшина! Да ты с им что, за-ради этого жила? Ты с им жила, чтоб себя и дите содержать! Мушшина-а! — ехидно протянула она. — Да я тебе таких мушшин организую, что все попадают!

— Ты организуешь, — всхлипнула Лидия. — Родную дочь готова любому продать. А я тебе не собака! У меня все по любви! Всегда-а!

Она опустила опухшее, зареванное лицо в подушку и вновь затряслась и задергалась.

— Видал? — подтолкнул пацана Диомид. — Шапито да и только. Да ты меня полюби, силь ву пле! А Ванюху забудь. Ему теперь не до тебя. Все! Кранты!

Он хотел сказать, что Самурай, по его понятиям, не урка, а сявка, но вспомнил о лихой тюремной «почте», о зловещих воровских законах и смолчал. Всего один раз встретились они, а страх до сих пор сидит в нутре Демки.

Самурай обедал тут, за этим столом, догрызая жирную баранью ногу. Мордатый, широкоплечий, с извилистым глубоким шрамом, летящим от виска к губе. Злобными свинными глазками впился в появившегося чужака, настороженно выслушал всю его родословную и имена блатных сотоварищей. При упоминании знакомых молча кивал, не выказывая ни опаски, ни одобрения. Наконец пробурчал по-хозяйски:

— Ну, живи, коли так...

Однако, нарушив святой закон гостеприимства, к столу не пригласил и угощения коллеге не поставил.

Бабка Лизавета с Лидухой сидели тут же, словно кролики перед удавом, дожидаясь, пока змей насытится.

Самурай драл мясо с костей, глотал не жуя, смачно перемальывая хрящи и сухожилия. Демка ненароком заглянул ему в рот и остолбенел. Не рот, а молотилка — не дай бог попасть под такие мощности. Загрызет чище любого волкодава!

— Э-эх! — воскликнул Чугун и, молодежато раскинув руки, прошелся по комнате тугой цыганской проходочкой:

В крепдешины я тебя одену,
 Лаковые туфли подарю,
 Золотой кинжал себе подвешу, гоп-ца! —
 И с тобой на славу заживу!..

— А ну, хватит ныть, красавица!

Наклонившись к Лидии, он с прибаутками затормошил ее, оторвал, сопротивляющуюся, от подушки, и вскинул на руки.

— Тебе вот какой фортун нужен!

— Еще один прохвост! — забубнила Лизавета. — Форсун ты, а не фортун! К тому же бессовестный. Сам-то вон какой непутевый, а туда же. Женщину ему подавай! Да ты хоть на себя наскреби, а потом о бабах думай!

— Э-эх, маманя, — не выпуская из объятий неожиданно притихшую Лидию, проворковал Демка. — Да я для вас сейчас вроде золотого самородка. Я, может, счастье за хвост ухватил и как жар-птицу держу. Аль не разглядела сослепу, что я шкуренку сменил?

Старуха всплеснула руками.

— А и впрямь! Офицер советский, как есть офицер... Неужто кого на гоп-стоп поставил?

— Бери выше, мамаша, я грабилровкой не занимаюсь.

Он восторженно прижал Лидию к себе и полез целоваться.

Однако она опомнилась и забила руками и ногами, пытаясь вырваться.

— Пу-у-усти-и!.. Пусти... хам! Нужен ты мне, как же!

Демка медленно опустил ее на пол, отчего легкое платье задралось, и Игорь, по-прежнему стоявший у двери, увидел не только полную ножку, но и кромку сиреневых трусиков, и резинку, придерживающую чулок.

Эта картина смутила его, и он, перехватив насмешливый взгляд сидящей за столом девчонки, неожиданно покраснел.

Девчонка засмеялась и, закинув руки за голову, потянулась тоже, словно бы невзначай подтянув вверх свою короткую лиловую юбочку.

— В общем, так, мамаша, — говорил между тем Чугун, вываливая из карманов на стол пригоршни червонцев, тридцаток и сотенных. — Гони за водкой и закусками! Сейчас мы свадьбу с Лидоней справим. А насчет дальнейшего — не егози. Есть у меня наметки и соображения. Кстати, прошу любить и жаловать. Игорь! — наконец-то представил он мальчика. — Гарька Музыкант. Мой друг и компаньон!

— Шчипач? — дружелюбно поинтересовалась старуха, сразу, как и предполагал Демка, подобрев и оттаяв от его баснословного богатства.

— Будущий, — кивнул Чугун. — А пока на роялях пиликает. Но ты на пальцы его глянь... Маэстро! Дунаевский! Куда нам всем...

— Ты думаешь?

Старуха приблизилась к Игорю, бесцеремонно взяла его руки в свои и, профессионально оглядев, обдала чесночно-луковым запахом изо рта.

— Не Ойстрах, но що-то есть... Ты откуда, ребенок?

— Я... я... — растерялся Игорь.

— Отца он ищет, — пояснил Демка, властно усаживая себе на колени мгновенно и безоглядно покоренную Лидию. — Отец у него знаешь кто?

Он сделал выразительную паузу.

Старуха насторожилась и почмокала губами. На лице ее отразились великие потуги мысли. Наконец, ничего не придумав, она выдохнула трагическим полупшепотом:

— Неужто мент?

— Ме-ент, — обиженно махнул рукой Демка. — Всюду тебе менты мерещатся. Полковник у него отец, вот кто!

— Полковник! — покачала головой старуха. — Это таки чин. Только на хрена ты его к нам привел? Щоб он всех заложил? И тебя у первую очередь?

— Не заложит, — ухмыльнулся Чугун, чувствуя себя кумом королю, и никак не меньше.

Разомлев от своей значимости, богатства, тепла и влекущего аромата женщины, уютно прислонившейся к его груди, он, казалось, вот-вот замурлычет.

— Не заложит, — повторил он. — Да и с чего ему нас продавать? А главное — за что? Ведь так, Игорек?

— Так, — ответил Игорь. — За добро злом не платят.

— Святые слова! — вздохнула Лизавета и занесла руку, чтобы перекреститься, но почему-то раздумала.

— Ну вот, — засмеялся Демка. — Как по Библии чешет. Молодец, оголец! Мы с тобой еще такие дела закрутим! А теперь знакомься. Это баба Лизавета. Это тетя Лида, дочка ее. А это Мариночка — и дочка, и внучка. Поухаживай за ней, если хочешь. А там, глядишь, и подженешься.

— Я ему подженюсь! — нервно рывкнула бабка. — Женилка-то, небось, уже подвыросла. А как спортят девку, так и ховаются, гады! Щоб даже взгляда на нее не мог иметь! — пригрозила она мальчишке. — Понятно?

— Да вы что... вы что... — растерянно забормотал Игорь, ошалевший и от суровых речей, и от внимательных и насмешливых глаз, обращенных к нему.

Подойдя к столу, он неловко поклонился всем сразу и присел на краешек скрипучего стула.

Воспитанный в скромной интеллигентной семье, он, невзирая на все свои потери, не успел ожесточиться и одеревенеть душой. Тайфунная волна войны до сих пор несла его на своем гребне и, словно щадя, не бросала

вниз, в пропасть, на дно, где, барахтаясь и задыхаясь, гибли ни за что ни про что живые сиротские души.

Потеряв мать и сестру, в одночасье вырванный из семейного круга и брошенный в кипящий и вьюжный мир, он почти не видел его темных сторон, с первых дней беспризорничества попав в руки хороших людей. Эти люди лечили его добротой и любовью, и он понемногу оттаивал, уходил от своей изнуряющей душу беды.

Неожиданное известие об отце вернуло ему надежду. И он, не раздумывая, боясь, что его не поймут, задержат, отговорят, той же ночью ушел из детдома на станцию и помчался сюда. Долгая неделя дороги, печальной и трудной, приоткрыла ему глаза на многое, о чем он даже не подозревал в тихих стенах сиротской обители в старинном уральском селе неподалеку от железнодорожной станции, откуда на ступеньке пассажирского вагона укатил искать отца.

Он увидел Отчизну, Россию, страну — напряженную и горевую, роковую и верующую. Судьба и тут предохранила его от многих опасностей. И он благополучно добрался до Ташкента, хотя по тем временам это было похоже на чудо. Десятки людей, злых и добрых, встретились ему за эти дни. Одни привечали его, делясь последним, другие с проклятьями гнали прочь. И он, благодаря одних, не обижался на других, понимая их недоверие, опасения, отчужденность.

И вот сейчас, оказавшись в этом доме, он пытался понять, что за люди его окружают и зачем он понадобился этому загадочному хвастливому человеку, объявившему его своим другом и компаньоном.

— ...А что, — долетел до него голос Марины. — Хороший жених! И не наглый, как все вы. Тихий, застенчивый, словно воробышек. Можно я тебя Воробышком буду звать? — лукаво спросила она, дотронувшись узкой теплой ладошкой до его руки.

Игорь вздрогнул и отшатнулся от нее.

Все засмеялись.

«Уйду, — мрачно подумал он. — Кто им разрешил издеваться? Думают, бездомный, так можно...»

Но о нем уже все позабыли.

Старуха, принципиально громко отсчитав из валяющихся на столе денег три тысячи, подхватила кошелку и куда-то заторопилась.

— Эй, Лизетта, чего-нибудь сладенького купи! — требовательно крикнула ей вслед Марина.

— И водки, водки не забудь! — добавил Демка. — Эх, и загудим мы беспредельно, жена моя!

— Какая я тебе жена? — вроде бы недовольно, но уже покладисто проворчала Лидия. — В загс сведи, тогда и величай!

— А что? — возбудился Чугун. — Идея! Завтра же и закатимся. Кстате и пропишусь у вас... Только паспорт получу.

— В загс? — подозрительно нежно улыбнулась Марина. — Да сколько этих загсов у тебя уже было?

— А тебе-то что? — не поворачивая головы, лениво откликнулась Лидия.

— Мне ничего. А только если Самурая выпустят, он никому не простит.

— Ну, это мы еще посмотрим, — явно рисуясь перед обществом, заявил Чугун.

На самом же деле упоминание о подобной развязке нехорошо отозвалось в его душе. Ну да бог не выдаст, свинья не съест. Пускай с этой Лидкой Самурай сам разбирается. А он ни при чем. Скажет, сама прилипла. Это ж тварь запродажная. Сегодня ты у нее, завтра другой, послезавтра еще кто-то...

Спустя пару часов в доме шли гульба и веселье.

Пили все. Даже Марина отхлебнула чуток. Поморщилась, но не выплюнула, а тут же потянулась к соленому огурчику и захрустела им мелко и часто.

Игоря тоже уговаривали попробовать, но он не поддался. Дичился, бычился, краснел, как девчонка, вызывая смех и подначивания Марины.

— Ничего, привыкнет, — блестя счастливыми хмельными глазами, убеждал всех Чугун. — Ему многое предстоит понять. Давай, Игорек, наворачивай. Подгребай к себе картоху, нагуливай жир!

Он налил себе новую стопку и, ловко опрокинув ее в рот, потянулся за папиросой. Лидия зажгла спичку и, дав ему прикурить, вытащила казбечину из его губ и затянулась сама.

— Фраерок он еще, — кисло улыбнулась она. — И намучаешься ты с ним, Демок.

— Да ты что, Лидоня, ты что, — потянулся к ней Демка. — Я ж тебе намекнул, как будет. Подберем еще двоих, троих шкетов, и пусть шуруют! А этот пацан — фартовый. Он мне радость принес, и я на него ставлю!

И хотя Игорь никакого отношения к сегодняшней удаче Диомида Мартемьяновича не имел, Чугуну захотелось убедить и себя, и подружку, что везение его идет от этого мальчика.

Разомлев от еды и усталости, Игорь молча сидел, и глаза его слипались. Потом все поплыло куда-то, закружилось, и, не в силах совладать с навалившейся сонливостью, он склонил голову на руки и тут же, за столом, уснул...

2.

Очнулся он под утро и долго лежал с открытыми глазами, пытаясь ни о чем не думать. В низкое запыленное окно заглядывало солнце. Однако и рама, и двери были накрепко заперты, воздух стоял в комнате тяжело и густо, так, что перехватывало дыхание. Кисло пахло огурцами, уксусом, луком, застоявшимся папиросным дымом и резким потом давно не мытых человеческих тел.

Приподнявшись, мальчик увидел, что лежит он на узком топчане возле печи, а слева от него, на тахте, раскинувшись под легкой простыней, спит Марина рядом с похрапывающей и сопящей старухой.

Дверь в другую комнату была закрыта. Но и оттуда доносился громкий прерывистый храп, позволяющий предположить, что человек неудобно лежит на спине.

Сонные, одуревшие от духоты, мухи медленно летали по комнате, сослепу натыкаясь на паутину, которую раскинул под потолком ловкий и проворный паук. Одна из них уже неистово жужжала, запутавшись в липких нитях, и чем больше она металась, пытаясь вырваться, тем глубже и опаснее увязала в тонко вибрирующих смертельных кружевах.

Игорь потянулся, хотел встать, но передумал и, устроившись поудобнее на жестком тюфячке, подложил под щеку ладошку и задумался о жизни.

Он уже понимал, что и эта квартира, и люди, населяющие ее, подозрительны и нечестны не только с ним, но и друг с другом, а последний разговор Дионида с Лидией предельно опасен. Скорее всего, это какой-то притон, о которых он слышал в детском доме, но поверить до конца в это было трудно.

Смущала Марина. Игорю казалось, что она не такая, как все, и эта надежда отметала подозрения. Будет день, и все прояснится, и нечего делать из мухи слона. Просто *так* живут люди, просто *так* обустроен их быт. И ты благодари, что тебя накормили и приютили, и постарайся отплатить им добром за добро и лаской за ласку.

Неожиданно он почувствовал на себе чей-то взгляд и обернулся.

Облокотившись на подушку, Марина рассматривала его, смешливо морща носик. Ее свежие озорные глаза были широко раскрыты.

Сердце мальчишки дрогнуло. Он замер, напрягся, однако взгляда не отвел.

«Пусть не думает...»

Эта молчаливая дуэль длилась недолго. У Марины от напряжения прорезалась упрямая морщинка на переносице, глаза потемнели и заслезились. Наконец она не выдержала и фыркнула.

— Чего уставился?

— А ты?

— Мне так захотелось! А ну, давай отвернись!

— Вот еще...

— Отвернись. Мне одеться надо...

Она стала медленно приподнимать простыню.

Игорь вспыхнул и, натянув на голову дерюжку, которой укрывался, затаился под ней.

Тахта заскрипела, а затем послышалось легкое пошлепывание босых ног по полу и торопливый шелест натягиваемого платья.

Руки у мальчишки вспотели, лоб покрылся испариной. Как загадочны и странны девчонки! Даже если в свои тринадцать лет ты немало повидал их и, кажется, знаешь обо всем, наслушавшись рассказов старших, многоопытных пацанов.

Ему стало неважно, он задышался от нехватки воздуха.

— Эй, ты что там, уснул? — наконец раздался ее голос. — А ну, вставай, хватит нежиться!

Не успел он опомниться, как его дерюжка взметнулась в воздух и, словно плащ тореро, заколыхалась в руках Марины. Он вскочил, обхватил руками колени, пытаясь спрятать от ее глаз свое худенькое тело в сатиновых темных трусах с перекрученной резинкой.

— Отдай! — сдавленным голосом попросил он, потянувшись за покрывалом.

— Не отдам, — засмеялась она. — Может, мне посмотреть на тебя охота. Откуда ты такой аристократ?

Она бросила дерюжку на свою постель и встала перед ним, бесстыдно и весело разглядывая его зелеными русалочьими глазами. Над верхней губой у нее темнела небольшая родинка, нежно и радостно украшая лицо.

— Вставай, не ежься. Сейчас отовариваться пойдём.

— Куда?

— На кудыкину гору! За хлебом надо сходить. Вот!

Она запустила руку в хозяйственную сумку и небрежно вытащила оттуда пачку хлебных и продовольственных карточек.

Игорь и про трусы забыл. Такое богатство!

— Откуда у тебя столько? — прошептал он, беспокойно косясь на заворочавшуюся на тахте старуху.

— От верблюда! — вызывающе усмехнулась Марина. — Много будешь знать, скоро состаришься. А может, и сам скоро таскать начнешь.

Она демонстративно отвернулась от него и пошла к умывальнику.

Игорь вскочил, натянул штаны и торопливо сунул ноги в ботинки, чтобы Марина не увидела, что у него нет носков.

Через десять минут они шли по безлюдной узенькой улочке, извивающейся между глинобитными высокими дувалами. Ноги утопали в густой коричневой пыли, и воробьи, блаженно купающиеся в ней, выпархивали из-под ног. Где-то поблизости звенели трамваи, слышались гудки автомашин и фырчание моторов.

Марина вновь достала карточки и пересчитала их.

— Девятнадцать... Двенадцать рабочие, остальные — иждивенцы и детские. Будем целыми буханками брать. Лизетта потом две-три на толкучке продаст. Хлеб там знаешь сколько стоит?

Игорь кивнул. Разговаривать расхотелось. Мысль об этих непонятных карточках смутила его.

— Слушай, — наконец заговорил он. — Ну скажи, откуда их у вас столько?

— Ворованные! — с вызовом ответила она.

Он остановился, не веря.

— Что, не нравится? — усмехнулась Марина, не жалея ни его, ни себя. — Карманники их добывают и Лизетте по дешевке сдают. Им с ними возиться некогда. А нам — жизнь. И сами сыты, и навар имеем.

— Но как же те... у кого их украли? — пробормотал Игорь.

— А мне-то что? — неожиданно озлобилась она. — Пускай рты не разевают. Нас ведь тоже однажды обчистили. Уж куда только мать с Лизеттой не обращались, кому не плакались... Никто не помог! Даже разговаривать не хотели. Мы две недели чуть не лебедой питались, по

базарам объедки собирали. Ты не пробовал так? Не жил? А я испытала. У одного торговца кусок лепешки попросила, так он меня этой лепешкой в кусты заманивать стал. Старый, сволочь, а туда же...

Она внезапно остановилась, словно у нее перехватило дыхание, и прижала к прохладной глине дувала покрывшееся красными пятнами лицо.

Игорь молчал. Жизнь поворачивалась к нему еще одной, неизвестной до сих пор стороной. И он уже не удивлялся, а только ежился от тоскливых и грозных предчувствий.

— Ладно, — сказала Марина и сомканным пестрым платком вытерла потускневшие глаза. — Что прошлое вспоминать... пошли!

— Я не пойду, — тихо сказал Игорь. — Мне стыдно.

— Чего? — прищурилась она. — Того, что девушке поможешь? Так я же тебя не воровать прошу, а поднести. И вообще, мало ли что я могла наговорить? Может, это карточки наших соседей или материных подруг по работе. Сами на смене, не успевают, а мы им помогаем. Ну? Идем, идем, не задумывайся!

Она схватила его за руку и повлекла за собой...

Получив по рабочей, иждивенческой и детской карточкам первую порцию хлеба, ребята расположились на скамейке в скверике, возле трамвайной остановки.

— Ты ешь, не стесняйся, — сказал Марина, протянув мальчишке большой пахучий теплый кусок. И, видя, что он колеблется, успокоила: — Я же не чужим, а своим законным угощаю. Когда-нибудь, может, и ты меня вот так же накормишь. Ну!

Хлеб был нежный, похрустывающий, сладко пахнущий пшеницей, домом и добрыми мамиными руками. Игорь впился в него, но вкуса не почувствовал, ощущая во рту непонятную горечь и сушь.

— Попить бы, — трудно проглотив кусок, сказал он.

— Так вон же кран, — указала Марина. — Пей сколько угодно.

Возле водозаборной колонки два безногих мужика на самодельных платформах с подшипниками хлебали денатурат. Разбавляя вонючую жидкость водой, отчего она тут же становилась молочно-белой, они морщились, мотая нечесаными, лохматыми головами, и матерились, занюхивая хмельную гадость рукавами драных, заскорузлых от грязи и пота гимнастеров.

Игорь подошел, наклонился над краном и, подставив ладонь под тугую струю, сделал несколько жадных, торопливых глотков.

Инвалиды уставились на него. Вернее, на его горбушку. Мальчишке показалось, что сейчас они подпрыгнут на своих гремучих самокатах и бросятся к нему, чтобы отнять хлеб.

Не сводя с них глаз, он попятился к скамейке и, схватив Марину за локоть, потащил к выходу из сквера.

— Бежим!

Девушка оглянулась. Вокруг было пустынно, лишь вдали, возле трамвайной остановки, стояло несколько женщин.

Один из калек, большеротый, небритый, с хитроватым выражением полупьяных глаз, уже подкатывал к ним, громко ударяя об асфальт зажатými в ладонях твердыми деревяшками.

— Эй, красивый, а ну стой, чё скажу, — сипел он, безуспешно пытаясь придать своему лицу приветливое выражение. — Да не бойсь, не побью... поговорить надо! Эй, вы чё?

— Гуляй, дядя! — на бегу обернулась Марина и погрозила преследователю маленьким удалым кулачком. — Видали мы таких!

Калека ухнул, грязно выругался и в бессильной злобе швырнул ей вслед одну из своих деревяшек.

— Па-адлы! Попадётся ещё!

— Жди-и! — крикнула девушка и носком туфли зашвырнула подкатившуюся деревяшку в кусты. — Ищи теперь, дурень!

Эту публику она не уважала. В последнее время Ташкент задыхался от наплыва бродяг. Были, конечно, среди них настоящие солдаты, безмерно порубанные войной и потому потерявшие в жизни всякие ориентиры. Но немало было и бесстыдной шушеры, попавшей в разное время по пьянке кто под поезд, кто под трамвай, а фронта не нюхавшей и не видевшей.

Не желая работать в артелях или жить в домах инвалидов, эти бесы, выдавая себя за пострадавших защитников Родины, заполняли вокзалы, базары, поезда. Напиваясь, они орали, качая права, попрошайничали нагло и неблагодарно, тут же поливая грязью дающих, словно те были виноваты в их мучениях и бедах.

Местные жители презирали их, эвакуированные обходили стороной, и лишь милиция время от времени забирала наиболее горластых и диких. Но спустя пару дней они вновь появлялись в общественных местах, ещё более неопрятные и разнузданные.

Война высветила все самые лучшие и самые неприглядные стороны народной жизни. И в муравьиной толчее перенаселенного города на каждом шагу можно было встретить и высочайшее благородство, и нижайшую подлость.

Дня не проходило, чтобы где-то не проливалась кровь. По ночам там и здесь раздавались истошные крики, гремели выстрелы — милиция и комендантские патрули ловили воров, грабителей, дезертиров. А наутро в очередях и на трамвайных остановках люди с оглядкой рассказывали, что в Кызыл-Тукмачах кто-то снова обчистил продсклад, а в районе Узбума вояки постреляли бандюг, совершивших налет на отделение Госбанка.

И тем не менее не эти болевые события определяли жизнь. Не оставаясь ни на минуту, работали заводы и фабрики, открывались все новые и новые детские дома и госпитали, и шли, шли в сторону фронта эшелоны с войсками и боеприпасами, углем и хлопком из Ангрена, Ахангарана, Мирзачула, Ферганской долины...

Пересаживаясь с трамвая на трамвай, переходя от магазина к магазину, ребята к полудню отоварили все карточки. В центре, возле театра

Навои, они сумели добыть по талонам повидло и смальц. Игорь, как истинный рыцарь, взвалил мешок себе на спину, и Марина, потрясенная его благородством, неожиданно почувствовала к нему нежную признательность.

На сей раз они ехали в трамвае не на подножках, как раньше, а солидно и чинно, при билетах и законных местах. Трамвай трясло и раскачивало, и ребят то и дело бросало друг к другу. На секунду прижимаясь к горячему телу Марины, Игорь ощущал восторг и страдание оттого, что все это скоро закончится. Подобное состояние он испытывал впервые.

Всю жизнь мальчишки из родного двора, да и детдомовцы тоже, дразнили его «девчатником». Он любил девочек, тянулся к ним, и они отвечали ему тем же. Врут все те, кто говорит о несостоятельности детских чувств! О, как могут, умеют и мечтают любить мальчишки! Постоянно видеть «предмет» своего интереса, словно бы невзначай касаться ее руки, ощущать на своей щеке нечаянное ее дыхание, — есть ли счастье прекраснее этого?

Марина сидела у окна, разглядывая бегущие мимо дома, деревья, машины, арбы, влекомые маленькими медлительными ишачками, старух в разноцветных шальварах и паранджах, мальчишек, играющих в жостку, регулировщиц на перекрестках, заборы, оклеенные приказами и объявлениями, театральными афишами и сводками Совинформбюро. Все это пестро проносилось перед глазами, голова была легка, и хотелось, не думая ни о чем, ехать и ехать, прислоняясь к угловатому мальчишечьему плечу, подрагивающему то ли от трамвайной качки, то ли от плохо сдерживаемого внутреннего волнения.

— Слушай... — Игорь поудобнее уложил мешок с продуктами на коленях. — А почему ты бабку свою Лизеттой зовешь? Она что, тебе не родная?

— Родная, — раздраженно ответила Марина. — Да только уважать ее не за что. Лизетта — Лизетта и есть...

Ей не хотелось сейчас говорить. Тем более о старухе. С главой семьи ее не связывало ничего, кроме крови и недетской ненависти с презрением, которые она к той испытывала.

Жадной карге мало было погубленной дочери. Год назад, соблазнившись большими деньгами, которые посулил ей квартирный вор Михрютка, Лизавета Марковна опоила внучку терьяком — настоем опия — и подсунула сластолюбивому негодяю.

Богат и щедр был Михрютка. Немало сотенных перешло от него в загашники Лизаветы. Правда, были у нее поначалу стыдливые сомнения. Однако, поразмыслив на досуге и вспомнив молодость, Лизавета решилась.

Сама она уже в тринадцать лет испытала «неземную» любовь к французскому моряку. А в пятнадцать неделями не вылезала из портовых кабаков, иногда по три раза на дню меняя кавалеров.

Веселая была жизнь, мармеладная! Загорелые рыбаки, цыгане со скрипками, голубые номера у Тартаковского... Лидка от кого-то появилась, а от кого, сам черт не разберет.

А потом заметелили смуты: революции, гражданская... То Котовский, то белые, то Япончик, упокой его душу, Господи! И, наконец, этот... нынешний... великий и мудрый. А за ним исполкомы, фининспекторы, угрозыскники в кожанках... тьфу, тьфу! Надо было куда-то бежать, а куда, коли на руках уже две девки?

Лидка, по примеру матери, тоже на шестнадцатом году байстрючку принесла. «Принимай-ка, маманя! Доглядай и воспитывай!» А сама — хвост трубой и вприпрыг по Дерибасовской да по Приморскому... Шлёндра!

Так что, как ни поверни, а крутая женская дорожка в семье Лизаветы — единая. С малых лет доступной дамой становиться. Конечно, лучше бы по любви да по сердечному зову. Но если их нет, так хотя бы за красивую сумму!

Несколько дней Марина дурела от надежного бабкиного пойла. Даже днем ходила чумная и сонная, держась за стены. Михрютка, презирая опасность и статью за развращение малолетних, брал свое, не стыдясь и не каясь. А старуха хрустела купюрами, любовно пересчитывая их и страшась лишь одного: чтобы дочь не пронюхала.

Однако Лидия прозрела. Возвратившись однажды со своей текстилки, она застала одурманенную, полуспящую дочь в объятиях подонка.

Скандал был лютый. С топором и милицией. Михрютка тот же час рванул куда глаза глядят и больше не появлялся. Старуха тоже трое суток скиталась по соседским чердакам да подвалам. А затем предстала, облезлая, зачуханная, с воем бросилась в ноги дочери и внучке, расопливясь и деря на себе нечесанные колтунистые патлы.

После этого Марину будто подменили. Все чаще и чаще стала она покрикивать на старуху. И та покорно и зависимо склонялась перед ней, исполняя все ее приказы и желания. То ли совесть проснулась у бабки, то ли поняла она, что уже не совладать ей с двумя молодыми и резвыми. Потому и вела себя тихо, избегая ссор.

Правда, иногда, особенно при посторонних, просыпался в ней гонор, и она пыталась хоть ненадолго вернуть былой хозяйский авторитет. Однако Лидия и Марина тут же ставили ее на место, и старуха замолкала, терялась, горбилась, еще более потерянная и жалкая.

— Конечная! — громко объявила очнувшаяся от полудремы кондукторша. — Трамвай дальше не идет. Освободите вагон!

— Вставай, приехали, — Марина освобожденно потянулась всем телом. И озабоченно поинтересовалась: — Не тяжело тебе? Дотащишь?

Игорь героически взвалил мешок на плечо и галантно протянул ей руку.

— Прошу!

— Да иди ты! — восторженно засмеялась она. — Тоже мне кавалер. Вот как загремишь с подножки...

Он обиженно поджал губы и притворно насупился.

— Не загремлю, не надейся.

И в тот же миг «загремел», зацепившись краем мешка за трамвайный поручень.

— Ну, что я говорила? — развеселилась девушка. — Горе ты мое!
 Она помогла ему подняться с земли и заботливо отряхнула штаны и куртку.

— Ушибся?

— Ничего, — беззлобно пробурчал Игорь, потирая рукой саднящее колено. — А ты как ведьма... Хорошо, что хлеб не рассыпал. А что грохнулся, так это с каждым произойти может.

— Конечно, конечно, — с трудом сдерживая смех, согласилась она, по-женски понимая, что самолюбие мальчишки страдает. — И я бы, наверное, не удержалась. Мешок вон какой неудобный. Помочь тебе?

— Нет.

— Тогда потопали. Дома, наверное, нас уже ждут.

«Дома» их, однако, не ждали.

Распахнув дверь, ребята остановились на пороге. Тяжелая волна застоявшегося мертвого воздуха ударила в лица, обволакивая и застревающая в горле.

— Боже мой! — всплеснула руками Марина. — Натравили, хоть топор вешай!.. А ну, Игорь, открывай окна! — скомандовала она, брезгливо глядя на бабу, которая, сидя на постели, вычесывала частым гребнем свои жидкие седые волосы. — Лизетта! Ты что, другого времени найти не можешь? Распушилась тут, смотреть противно!

Старуха оторопело взглянула на нее, перекрестила рот зажатым в руке гребнем и послушно накинула на голову косынку.

— Что же, мне в своем доме и дыхнуть уже нельзя? — оттопырив тонкие бесцветные губы, пробормотала она. — Явилась, генералиссима!

— А ты не дуйся, не дуйся!

Марина сбросила стоптанные туфельки и босиком прошлась по комнате.

— Скажи спасибо, что мы карточки отоварили. В следующий раз сама по магазинам будешь бегать. Не барыня!

— Хле-еб?!

Лизавета Марковна споро вскочила с тахты и как была, простоволосая и неодетая, бросилась к мешку.

— Да куда же ты лезешь с немытыми лапами? — отчаянно закричала Марина и развернула бабу к умывальнику. — Совсем окостенела! Это же тебе хлеб — не навоз!

Старуха метнула на нее быстрый ненавидящий взгляд и торопливо загремела рукомойником, ворча что-то себе под нос. Затем, вытерев руки о замызганное полотенце, схватилась за мешок. Отодвинув локтем разбросанные по столу тарелки и миски, она, суетливо вскидывая в руке, словно определяя вес, выложила одну за другой пять прекрасных белых буханок.

— Что-то вроде кила не хватает, — словно бы в раздумье проговорила она.

— Хватает, не хватает, — грозно уставилась на нее Марина. — Все тут, не переживай. Не то помрешь от жадности.

— А карточки где? — встрепенулась Лизетта.

— В сумке, где ж им быть. Да не трясись ты, не пропадут.

— Как бы не так, — шмыгнула носом бабка, исподлобья, по-волчьи косясь на Игоря.

Затем, помусолив корявый, с обгрызенным ногтем, палец, пересчитала драгоценные бумажки и, завязав их в тряпицу, сунула себе за пазуху.

— Так надежнее будет.

— Ну вот, — улыбнулась Игорю Марина. — А ты еще спрашиваешь. Лизетта — Лизетта и есть... А эти, — она мотнула головой в сторону материнной комнаты, — все дрыхнут? Неплохо устроились!

И тут же, словно в ответ на ее слова, дверь открылась, и на пороге, сладко позевывая и урча, появилась Лидия.

— Здравсьте вам! Явилась не запыхалась, — приветствовала ее дочь. — Халат-то запахни, не то все растережешь, — бросив быстрый ревнивый взгляд на Игоря, добавила она. — Прогульщица!

Лидия вальяжно запахла полу тесноватого халатика, из которого стихийно лезло ее совсем еще молодое тело, и, теряя на ходу шлепанцы, прошла к столу.

— Который час? — певуче спросила она, не удосужившись взглянуть на ходики. Затем, пошарив взглядом по тарелкам, взяла кусок соленого огурца и бросила в рот. — О-о-ой, башка трещит... все тело ломит... — Она снова красиво и длинно, как кошка, потянулась, закинув руки за голову. — А мой красавчик храпит. Назюзюкался с вечера... хотя мужчина, можно сказать, достойный.

— Достойный! — презрительно фыркнула Марина. — Я тебя спрашиваю: почему на работу не пошла? Иль забыла, что за прогулы сажают? Сама же говорила...

— А-а-а! — беззаботно отмахнулась Лидия. — У меня с мастером уговор имеется. Да и бюллетень Ольга Наумовна обещала. Так что не трясись, не впервой!

Игорь отчужденно, молча сидел на лавке, наблюдая приоткрывшуюся ему чужую женскую жизнь. Все здесь было устоявшимся, выверенным. А поскольку к постоянным квартирантам привыкли, то и внимания на него не обращали. Уйди он сейчас, никто и не заметил бы. А если бы заметил, то не поинтересовался, куда и зачем он уходит.

Одна лишь Марина, убирая со стола, время от времени поглядывала на него и тут же опускала голову, улыбаясь чему-то своему, загадочно и неуловимо.

К вечеру в квартире вновь повторился гудеж.

Лизавета Марковна сходила на рынок, где не только продала свои буханки, но и всесторонне растратила очередную Демкину подачку.

Снова на столе появились сургучная головка белой, мутноватый самогон и пиво, задымилась вареная картошка, политая подсолнечным маслом, залоснилась голубая тихоокеанская селедочка с форсистым сизым лучком.

Пили, ели, потели.

— Жи-и-изнь! — восхищенно постанывал от приятной тяжести в желудке и неумеренного избытка чувств поддавший Чугун.

Сейчас он вновь был королем. Ибо все это роскошное изобилие, весь этот изысканный радужный стол принадлежал ему. И он, не скупясь и радуясь своей добротой, широко угощал, похваляясь богатством и щедростью.

— Й-эх, маманя, Лидоня, душа поет, простора просит! — куражился он. — Так бы вот на века, до скончания судьбы, ни об чем не задумываясь и нигде не споткнувшись!

— Эх форсун хватил — на века! — ехидно вякнула Лизавета. — Да ты в своем гаманце пошуруди, на много ли осталось? Сегодня, завтра гуляешь, а потом опять бежи, шуруй, шею подставляй! Или в армию чеши, тебя на фронте, знать, ждут не дождутся.

— Не уважаете, мамаша, нарывааетесь, — нехорошо прищурился Диомид. — Я, можно сказать, человек пострадавший, белобилетный, а вы меня моей болью корите. Не по понятиям это, не по-товарищески.

— Так я ж не в обиду, а как к слову пришлось, — усмехнулась Пиявка. — Человек предполагает, а жизнь располагает. Вот если бы рупь неразменный найти, тогда конечно. Тогда весь век на банкетке лежи и витай в облаках и амурностях. А так — извини, подвинься. Да и война кругом...

— Война... — Демка раздраженно вытер обрывком газеты лоснящиеся губы. — Меня война не касается. Да и вас она не очень зацепила. Одна Лидуха мается. Сменки, пересменки, рабочий режим... А ты, бабка, как была свободной, так и осталась. Что тебе война? Что тебе моя биография? Ты ж на всем наживаешься. И все мало, мало... Вот потребую с тебя отчет за мое растроченное, так ты тут и споганишься. Потому как грешна!

— Да ты що, ты що, — зачастила Лизавета, сделав оскорбленную мину. — Да щоб мне век Привоза не видать! Безбожник ты! Вот приняла квартиранта... И ведь зарекалась, креветка, так нет... Рубля с тебя больше не возьму, окромя как за проживание.

— Возьмешь, — насмешливо процедил Диомид. — Хотя с зятка за квартиру тянуть — паскудство.

— Да какой ты зятек? — возопила старуха. — Я вас умоляю! До первой засыпки! Погоришь на каком ридикюле, и все!

— Каркай больше! — Демка с досадой швырнул вилку на стол. — А ведь я не о том... Ты мне песню не порть! А что завтра будет, увидим. Может, я еще сто лет на воле прокантуюсь, а ты... Э-эх!

Не жалею, не зову, не плачу...
 Все пройдет, как с белых яблонь дым.
 Увядаьем розовым охваченный,
 Я не буду больше молодым... —

сипловатым, но довольно приятным голосом, с хрипотцой и надрывом пропел он. Затем долгим немигающим взглядом уставился на Игоря. — Ну что, шкет, пообвык?



Игорь произвольно съезжился от какого-то внутреннего неудобства и нервно кивнул.

— Тады лады! Тады посидим, покушаем, а там и делом займемся. Надо тебя малость натаскать. А как фартовый куш сломим, по новой гульнем. Тебе фортепьяно купим, мне гитару... И-и-эх!..

Собака лаяла,
 Меня кусаила.
 А я не знаила,
 Куда деваила.
 Собака лаяла
 На дядю фраера...
 Та-ра-ри-ра-ри,
 Тара-ра-ри-ра-ра-ра...

Разведя руки в стороны, Демка, поначалу медленно, а потом все быстрее перебирая ногами, ловко пошел по комнате.

— У-ух, мамаша, и на что ты меня породила! — сокрушенно мотая башкой, выкрикнул он.

И вдруг ударил мелкой рассыпистой дробью, закружился, заводясь и краснея от воровской нежданно нахлынувшей тоски, и от выпитой водки, и от этого неожиданного безумного танца.

Враспыл, враздрызг, вразмет били каблуки.

Тонко повизгивала и ахала за столом порозовевшая Лидия. Даже Лизавета посмирнела лицом.

А Демка, оборвав пуговицы на кителе, рвал на груди рубаху, словно душило его что-то невыносимо тяжкое и горькое.

Топнув в последний раз, он рванулся к столу и, схватив недопитую бутылку «свекляка», осушил прямо из горлышка. Затем плюхнулся на стул и, уронив голову на плечо Лидии, закрыл глаза.

И Лидия, видимо, проникшись его состоянием, гладила его по спине маленькой шершавой ладошкой, жалостливо приговаривая:

— Ничего, ничего... Успокойся, Демок...

От этого незатейливого, искреннего утешения Чугун печально напыжился и всхлипнул. То ли представил себя обиженным мальцом, уткнувшимся в колени бабушки, то ли еще кем-то. Только будто треснуло внутри чугунное Чугуново сердце, и рванулись на свет избыточно копимые слезы и страсти.

Видеть рассопливившегося поддавшего мужика было противно.

Игорь сидел, не зная, куда глаза девать. Благодетель, конечно, благодетель этот псих, только ни жалости, ни расположения к нему у мальчишки не было. И не потому, что сам в достатке наплакался за эти месяцы и к чужим слезам привык. Просто давила тупая искусственная театральность и тот надрыв, с которым Демка подавал себя, выпрашивая сострадание.

Эту явную фальшь уловила и Марина. Презрительно хмыкнув, она взяла Игоря за руку.

— Пойдем отсюда. Пусть они тут без нас кочевряжатся.

Ребята вышли из дома и расположились во дворе на циновке, в тени развесистой пышной смоковницы.

Игорь прислонился к стволу ее и засмотрелся в небо, золотящееся сквозь резные заросли листьев. Марина, оправив на коленях платице, проследила за взглядом мальчишки.

— Иногда мне хочется превратиться в птицу и улететь неведомо куда, — вздохнула она.

— Мне тоже, — кивнул Игорь. — Только на самолете. Я, когда вырасту, истребителем стану!

— Истребителем! Да ты сначала от воришек отделайся, а потом мечтай, — в ее голосе послышалось раздражение. — Ведь они тебя карманником сделают. Мать и этот твой... Я подслушала, как они договаривались.

— Да-а? — Игоря передернуло от отвращения. — Значит, все-таки воры, — задумчиво пробормотал он. — Ну что ж, я так и подозревал. Вот только ты меня смущала.

— Я? — Марина широко раскрыла глаза. — Почему именно я?

— Ну-у, мне показалось, что ты не такая, как они.

— А я и есть не такая. Да ведь и ты не такой. Я это сразу поняла. Но только они могут заставить.

— Как? — яростно встопорчился Игорь. — А если я не хочу?

— А тебя и спрашивать не будет. Заставят, и все!

— Кто? Мать твоя?

— При чем тут мать? — Марина взмахнула рукой, отгоняя назойливого комара. — При чем тут мать? — повторила она. — Во-о-оры! Ты знаешь, их сколько? И все между собой связаны. А противиться станешь, искалечат или убьют.

— Но за что? За что?

— Да мало ли, — вздохнула девушка. — Воровской хлеб ел — не отработал. В воровскую тайну проник... теперь запросто продать сможешь. А так... кражей повяжут, под статью подведут и... никуда уже не денешься. Замаранный! Иди доказывай потом, что ты — это ты!

— Но это же... это... Ну, мы еще посмотрим, — напряженно нахотился Игорь. — Нет такого закона, чтобы заставлять! Не имеют права!

— Дурак ты, — беззлобно сказала она. — У них свои права и законы. Тебе сколько лет?

— Четырнадцать, — на всякий случай он прибавил себе еще полгода, стараясь выглядеть взрослее и солиднее.

— И мне четырнадцать, — вздохнула она. — Так в наши годы Гайдар уже полком командовал.

— В шестнадцать, — поправил ее Игорь.

— Пусть в шестнадцать, — согласилась она. — Всего два года разницы. Но ведь он командир, а ты...

— Что «ты»? Что «ты»? Начала, так договаривай.

— А что договаривать? — Она выпрямилась, сухая и строгая. — Глупый ты еще, зеленый. Куда ветер подует, туда и полетишь.

— Ну а ты больно умная, — обиделся он. — Что-то по тебе не видно.

— А ты поговори со мной, тогда и разберемся. Я, может, уже в седьмой перешла. Только в школу никак не соберусь. Но теперь решила: все! Семилетку закончу и — в техникум! А там, если получится, то и в институт. Потому что нагляделась на своих. У маханши четыре класса, у Лизетты вообще коридор... Вот и крутятся. Одна барыга, а вторая пособница. Раньше, правда, официанткой работала, а потом...

Марина устало провела рукой по волосам и, немного помолчав, подытожила:

— Уходить тебе надо отсюда, пока не поздно. Ты отца приехал искать, так ищи! А с деньгами я помогу. Мне один хмырь в свое время немало их насовал...

Она осеклась, вспомнив свое болевое, черное. Рыжеватые легкие волосы упали на лицо, закрыв глаза. Она откинула их нетерпеливым движением и деланно засмеялась.

— Видишь, сколько я тебе наговорила? Это потому, что ты мне нравишься. Хочешь, я тебя поцелую? Хочешь?

— Чего?

Игорь изумленно уставился на нее.

— Того! — беспшашно выпалила она. — Тебе девчонкой надо было родиться. Какой из тебя мужчина? Какой?

— Такой! — неожиданно дерзко ответил он.

И, схватив ее за плечи, притянул к себе и неумело ткнулся губами и носом в горячую нежную щеку.

— О-о! — резко отстранившись от него, протянула она. — Это уже что-то... Только разве так целуются? Давай я тебя научу!

Ее сладкие пухлые губы осторожно коснулись его губ, постепенно засасывая, затягивая их все глубже и глубже.

Игорь задохнулся от неожиданности, засопел, теряя дыхание, и в этот момент неожиданная боль пронзила его. Он дернулся, пытаясь вырваться из девичьих объятий, и обеими руками вцепился в тянущую его за ухо старушечью руку.

— Ах ты, паразит! — верещала Лизавета Марковна, беспощадно раскачивая его из стороны в сторону. — Говорила я тебе, гаденыш, предупреждала!

— Пустите! Пустите!.. Отпустите же! — погибая от стыда и обиды, кричал Игорь, видя перед собой непримиримые глаза Марины, требующие от него подвига.

— От я тебе уши оторву и горелку оттяпаю! — голосила старуха. — От горшка два вершка, а туда же... Кровать недоношенный! Июда! Эй, Лидка! Лидия! Бежи сюда!

Терять было нечего. Выставляться на всеобщий позор парнишка не мог. Не дожидаясь, пока на зов Лизаветы выйдут Демка и Лидия, он, зверея от боли и ненависти, изо всех сил ударил старуху по рукам.

Марковна охнула, ударившись плечом о ствол дерева, и поползла по нему, горемычно закатывая глаза.

— Уби-и-или! — неожиданно прорезавшимся басом затрубила она. — Замучали-и!

На сей раз из дома наконец-то выползли Диомид и Лидия.

— Кто убил? Кого терзают? — тяжело ворочая языком и хватаясь за дверной косяк, подала голос Лидия.

— Меня-а! Меня! — взвизгнула Лизавета. — От этый байстрюк! Этый фулюган! Щоб его разорвало!

— Да ладно врать, — неохотно поднимаясь с циновки, сказала Марина. — Сама виновата. Не будешь лапы распускать!

Она наклонилась, подняла с земли большую переспелую инжирину и неожиданно засунула ее бабушке в рот.

— Жри и замолкни! А если еще раз вмешаешься в мои дела, я тебя кипятком обварю, как клопиху. Ясно?

— Ха-ха-ха! — залилась смехом Лидия. — Вот это девка!

Старуха мученически поглядела на дочь, с отвращением выплюнула плод и, видимо поверив в суровые угрозы внучки, торопливо закивала головой.

— Вот и ладно, — сказала Марина. — А теперь иди отсюда. Нам с Игорем поговорить надо.

— Погоди, — оборвал ее Демка. — У нас с ним сейчас другие дела.

Назююкался он крепко, глаза были пустые, дикие, но все еще держался, кобенился, пытаясь утвердить свой подорванный слезами авторитет.

— Иди сюда, малыш! Сейчас учиться будем... музыке!

Нетвердо ступая и покачиваясь, он сам подошел к Игорю и доверительно обнял его.

— Сейчас ты все свои фортепяны и виланчели вспомнишь.

— Музыке? — удивился Игорь. — Какой?

— Э-э! — лукаво погрозил ему пальцем Демка. — Это не та музыка... Ты про те свои концерты забудь. Твои пальцы для другого созданы. И как я тебе научу, так и будешь «играть». Смотри! Вот тут у меня гроши! — Демка вытащил из кармана кителя несколько купюр и помахал ими перед носом мальчика. — Твое дело — украсть их у меня так, чтобы я не почувствовал. А как ты это сделаешь, меня не интересует. Сечешь?

— Нет. — Игорь исподлобья смотрел на него. — Как это — украсть? Что я, вор?

— Х-хе! — глупо хихикнул Демка и обвел глазами честную компанию, приглашая всех потешиться над этим дурачком. — Вы только гляньте на него! Он не вор! Конечно, не вор! До вора тебе еще плыть да плыть! Ты пока еще сявка, малявка ничтожная. Но я тебя научу! Вот карман... вот деньги. Давай, шевели пальчиками, работай! Ну, чего застыл? Шо-стакович!

— Не буду я делать этого, — тихо, но решительно произнес Игорь.

— Че-ево? — наклонился к нему Чугун. — Повтори, я не понял.

Игорь опустил голову.

— Не буду... И вы меня не заставьте.

— Да-а? — изображая восторг и изумление, засмеялся Диомид. — Ну, ты меня насмешил. Это почему же ты не будешь? Тебе профессию дают, в люди выводят, а ты рыло воротишь... интеллигент! А что другое

ты можешь предложить мне за мою доброту? «Спасибо, дядя Дема, что кормил, поил»? Так мне на твое «спасибо» — накласть! Ты мне тыщи верни, какие я на тебя потратил! Давай, долг возвращай! Ну?

Демка помотал головой, разгоняя наваливающийся хмель, и примирительно улыбнулся.

— Ну ладно, пошутили и будет. У тебя характер, у меня тоже... это хорошо. А сейчас давай учиться. Вот деньги, вот карман... Тащи!

Он оттолкнул Игоря от себя и прислонился к дереву, изображая подгулявшего мужика.

— Вот ты подходишь... А я тебя вроде не вижу. Вроде я фраер забуревший, а ты щипач... Ну, чего застыл? Я жду!

Игорь отчаянно взглянул на застывшую в отдалении Марину, на ехидно ухмыляющуюся Лизавету Марковну и страдальчески закусил губу.

Конечно, можно было отвязаться от этого пьяного дурака, подыграть ему, утешить, обмануть, а потом, когда он отступится, сбежать куда глаза глядят.

Но уступить ему — значило превратиться в подонка. Пусть всего лишь на мгновение, на миг... на глазах не только этой старухи, но и Марины, которая не простит ему его трусости и срамоты.

Демка ждал. Терпение его истощалось. Хмель и злоба кружили голову. Однако он сдерживал себя, понимая, что, если пацан не подчинится, вся его сияющая и радостная затея развеется прахом.

— Ну-у? — угрожающе протянул он. — Будешь учиться?

— Нет!

— Бу-у-удешь! — прохрипел Чугун. — Не можешь, так научим, не хочешь — заставим!

Он отошел от дерева, сделал шаг вперед и неожиданно ткнул мальчишку кулаком в лицо.

Игорь охнул и зажмурился. Боли он не почувствовал, слишком велико было нервное напряжение.

— Будешь! — заорал Демка и новым ударом свалил его с ног. — Будешь! Будешь! Бу-у-удешь! — рычал он, сатанея от обиды и непокорства этого строптивного зверька.

— Так его! Так! — радостно взвизгнула Лизавета. — Поучи его, Демушка, нехай помучится!

— Да ты чего желаешь, ду-ура? — закричала Марина и бросилась к Чугуну.

— А-а, Мариночка! — приятно удивился Диомид. — Ты что, жалеешь сучонка?

Марина не ответила, а, встав на колени перед Игорем, принялась вытирать платком его окровавленное лицо.

Мальчишку трясло. Дрожали руки, ноги, губы...

— Успокойся, успокойся, — жалостливо шептала она. — Ты такой молодец! Я горжусь тобой...

— Да-а?

Игорь попытался улыбнуться, но лицо исковеркала лишь жалкая плаксивая гримаса.

— Вот ты — человек, Мариночка, — торжественно провозгласил Диомид. — Что захочешь — все исполнится. Поговори с ним, козлом, наставь на путь истинный. А ты, гундос мелкий, если меня не хочешь, ее послушай. Она пацанка умная, дурного не скажет.

— Да откуда вы знаете? — взбеленилась Марина. — Может, я как раз против вас его и настраиваю! Ненавижу вас всех!

— Че-е-ево? — втянул в себя воздух Чугун. — Против урки натываешь? На вора в законе прешь? Да я же и тебя, паскуду... Раздавлю и мозгов не оставлю!

Теряя над собой контроль, он занес кулак над Мариной.

— Де-ема-а! — жалко закричала Лидия и повисла у него на руке. — Ты зачем? Ты чего позволяешь?

— Отвали!

Демка ткнул подружку под ложечку, и Лидия резко скорчилась, захлебнулась и стала хватать воздух широко открытым ртом.

— Порешу! — продолжал орать Чугун. — У-уделаю!

— Ну так бей, бей! — вскочила Марина и выпрямилась во весь рост. — Бей! Круши! Чего ты...

— Не-е-ет! — отчаянно закричал Игорь и обнял руками тяжелый сапог вора. — Не-ет! Дядя Дема, остановитесь! Ну, остановитесь же!

— А-а-а, — Демка удовлетворенно хмыкнул и опустил кулак. — Осознал, гаденыш?

— Осознал, осознал... — Игорь закивал головой и, отвернувшись, сплюнул набежавшую кровавую слюну.

— Ну, хрен с тобой... — Демка приподнял его за подбородок и пытливо заглянул в глаза. — Ты со мной по-хорошему, и я так могу. Только запомни, я шутить не умею! Пошустришь, пошныряешь, набьешь себе руку... а потом мы с тобой сберкассу или банк подломим! На сорок миллионов! Всех ментов в расход, и фартово... классно...

Он покачнулся и икнул.

— Да, да, да... — Игорь с трудом поднялся на ноги и потащил Демку к дому. — И фартово, и классно...

— Идиот! — закричала Марина и закрыла лицо руками.

— Кто идиот? Я-а?

— Да нет, это она мне...

Игорь упирался изо всех сил, таща отяжелевшего урку. С каким наслаждением он швырнул бы его на камни крыльца.

— Тады лады, — бестолково прищурившись, восхитился Чугун. — Мы с тобой не фраера. А этих... шмар... Бабы — они бабы и есть. С ними только день можно по-мирному, а потом — лупить! Эй, Лидоня, хватит придуриваться, пошли спать!

Отпихнув Игоря, он приподнял с земли еще не отошедшую от шока Лидию и, рискуя повалиться вместе с ней, поволок ее в дом.

— Не пойду! — воспротивилась она. — Зверь! Бандюга! Сейчас же съедешь с постоя!



— В-вот! — Демка поднес к ее носу удачно сложенный кукиш. — В-видала? Я теперь тут хозяин! И все вы у меня в долгу! Идем, пока прошу по-доброму... Ну-у?

Лидия беспомощно посмотрела на мать, на дочь. Те стояли, оцепенев, не зная, что делать.

— Ну-у? — злобно повторил Демка. — Иди-и!

Дверь со стуком захлопнулась.

Лизавета завывала.

— И с чего я такая несчастная? И на что я только позарилась? Побежу к участковому, нехай гада посадят!

— Посадят, как же, — Марина метнула на нее недобрый взгляд. — Подбираешь всякую погань, а потом скулишь. Саму тебя посадить надо за все твои пакости. У-у!

Она прислонилась к стволу смоковницы и прикрыла глаза.

Игорь осторожно потер пылающее вспухшее ухо, затем бока и ноги, по которым прошлись подкованные Демкины сапоги.

— Не надо, Мариночка....

Она не пошевелилась.

Он присел рядом с ней на корточки и сказал внятно и обдуманно:

— Ну вот... А ты говоришь: уходи! Куда же я теперь от вас уйду?

— Да ты в своем уме? — возмутилась она. — Я, может, впервые в людей... в тебя... поверила. А ты... на попятную... уже сдаешься... Вместе твоего отца искать будем! И сегодня же уйдем отсюда... сейчас же! Я только вещи свои возьму и деньги. Ты согласен? Согласен?

Она сильно встряхнула его, онемевшего от любви и нежности.

Он кивнул. Сердце билось счастливо и часто...

3.

Ах, ребята, ребята всех военных памятных лет! Все они, эти годы, как прежде — в душе: болевыми зарубками, рваными шрамами, кровоточащей памятью. И все чаще и чаще возвращается прошлое, не даруя покоя, не давая забыть...

Где ты, детство? Ау-у! Вновь ты смотришь из бездонных глубин беспощадными голодными глазами, словно спрашивая, оценивая, напоминая: «А помнишь? Не забыл? Во что веришь? Что предал? Кто помог тебе? Кого сам уберег от невзгод?»

Черные распутия проселков... Города, полустанки, базары... И молоденькая сердобольная цыганка, жалостливо разглядывающая на твоей исхудавшей ладони линию жизни:

— Ой, долга-а, ой, трудна-а-а...

И безногий шарманщик, торгующий самодельными билетиками счастья, которые вытаскивает из тесного ящичка бескрылый скворец.

«До скончания века суждено тебе быть человеком!»

Что ж, спасибо, судьба!

«Суждено тебе быть... Суждено тебе быть...»

И опять занимается в памяти сорок второй, по которому, взявшись за руки, бредут мои герои, безнадзорные Ромео и Джульетта Великой Отечественной.

Мне бы с ними, за ними... Но у них все свое — и судьба, и дороги. И только боль и вера общие — на все поколение. Потому что так — легче. Потому что *так* выпало нам на роду.

Ах, война, война, война,
Что ты натворила...

...Задыхаясь от пыли, Игорь и Марина брели по вечернему городу. Ноги их гудели от усталости, заплетались, горели. А куда они шли? Где мечтали отдохнуть? Все пешком да пешком, мимо парков и скверов, двorcов и халуп, к железнодорожному вокзалу — вечной Мекке бездомных и страждущих.

Привокзальная площадь кишела народом. Не сумевшие пробиться в заполненные до отказа залы люди обреченно устраивались, кто где смог. На гранитных ступенях лестницы, на обочинах тротуаров, у газетных киосков, у окрестных домов. Спали, ели, слонялись бесцельно, сталкиваясь в толчее друг с другом, расходились и вновь возвращались на круги своя, что-то ища и не находя, надеясь на что-то и что-то теряя на этом, может быть, самом главном в те дни перевалочном пункте страны.

Иногда сквозь похожие на речные водовороты человеческие завихрения продирались, безудержно гудя, грузовики или проплывал строй угрюмых солдат в новеньком, необтерханном обмундировании, с вещмешками и скатками на плечах — в эшелоны, в эшелоны, на фронт.

Горлодерный махорочный дым растекался над площадью. То смеялись, то плакали дети. Изнуренные милиционеры и переодетые в штатское агенты угро сновали в толпе, выслеживая воров, наркоманов и прочую дичь. Кого только не было здесь, в этом грозном и жалком содоме, среди сотен усталых людей, безропотно несущих каждый свой крест.

— Не могу больше, — прошептала Марина и опустила на край тротуара. — Давай посидим, а то я просто свалюсь.

— Но ведь здесь нас затопчут.

— А-а! — Она слабо пошевелила пальцами. — Обойдут! Садись, чего ты...

Игорь помялся в нерешительности.

— Знаешь, тут чайхана есть. Может, туда пойдем?

— Далеко? — Она вскинула на него покорные и тихие глаза.

— Да нет, рядом. Там спокойно должно быть. Если только ее не закрыли.

— А-а, возле ДК железнодорожников! Знаю я эту бодягу, — поморщилась она. — Была там однажды. Ну да ладно, не все ли равно...

В чайхане, действительно, было тихо. Здесь работал комендантский патруль. Двое красноармейцев и усатый не улыбочивый старшина про-

веряли документы посетителей. В основном это были местные старики, однако там и тут мелькали сравнительно молодые, призывного возраста лица.

Пахло дымом, подгоревшим мясом, пережаренным луком и потом. Но все это нахально и властно перебивал крутой и терпкий запах чумовой конопли.

Старшина подозрительно пошевелил ноздрями и подозвал к себе чайханщика.

— Анаша?

— Нет, нет, — обольстительно заюлил чайханщик, расплываясь в улыбке. Однако глаза его были настроженны и злы. — Какой анаша? Откуда он у нас?

— Ты что, меня за дурака принимаешь?

По иконному, худому лицу старшины пробежала короткая судорога.

Чайханщик вздрогнул и невольно отшатнулся.

— Я же тут, в Азии, родился и вырос! Шакиров, — обратился старшина к низкорослому бледному красноармейцу, на котором широкая и длинная не по росту гимнастерка висела, как мешок на колу. — Анаша?

— Так точно, — подтвердил красноармеец. — Кашгарская!

— Ну-у? — Старшина свирепо окатил чайханщика железным огнем синих глаз. — Шакиров — химик. Он это все специально изучал. А ты, ты... Такая беда вокруг, горе, нужда, а ты народ травишь! Совесть у тебя есть?

— Не я, не я, начальник, — мягко ударил себя в грудь обвиняемый. — Эй, люди, скажите и вы! — обратился он за помощью к посетителям. — Действительно, был тут один, начинал курить, но мы его выгоняли! Люди это скажут. Ведь так? — ухватил он за чапан сидящего неподалеку бородатого бабая в тюбетейке, обмотанной старой чалмой.

— Так, так, — утомленно закивал бородач, глядя на бойцов осоловевшими от анаши глазами. — Тот ушел! Убегаль! Мы его отсюда гоняли. Анаша — йок! Плёхо!

— Плёхо, плёхо, — обрадовано зачастил чайханщик. — И у нас ее йок... нет. Нет!

— Да брешут они все, товарищ старшина, — заметил второй красноармеец, поправляя висящий на плече карабин. — Тут у каждого за пазухой пошуруди, башей¹ пять обнаружишь. Все они курильщики, взгляните на лица... Милицию надо вызывать!

— Э-э, зачем милиция? Какой милиция? — возмутился чайханщик, хлопнув себя руками по бедрам. — Милиция и так тут каждый день. Опять придет — обыск будет, скандал, шурум-бурум... А ты лучше садись. Гостем будешь. Кушай! Пей! Не надо милиция... Эй, кызбола! По-давай!

Из-за пестрой ситцевой занавески, отделяющей помещение от кухни, выскочил румяный раскормленный мальчишка с подносом, на котором

¹ Баш — одна доза анаши.

дымились, вероятно приготовленные заранее, блюдо с пловом и большой расписной чайник с тремя пиалами.

Бойцы слотнули набежавшую слюну и выжидательно уставились на командира. Старшина покосился на них, всей душой понимая их голодную маету, но урона чести и достоинству Красной армии не допустил.

— Отставить! — хрипло скомандовал он, пытаясь не смотреть на поднос. И вновь потемневшими, свинцовыми от гнева очами ударил в чайханщика, будто из двух стволов. — Подкупить хочешь, сука? Так мы не продаемся. И благодари, что недосуг сейчас тобой заниматься. Но мы вернемся, мы еще зайдём. И не дай бог засыплешься...

Он резко развернулся на каблуках своих запыленных кирзачей и поспешно зашагал к выходу.

Солдаты направились за ним.

Чайханщик с отвращением посмотрел на их топорщащиеся гимнастерки, на худые ноги в громадных ботинках и обмотках и плюнул вслед.

— У-у-у, тошбурон!¹ Чтоб вас всех одна мина убила!

Он неожиданно икнул и дал подзатыльник своему молодому помощнику.

— Пошел прочь!

Затем, вскинув руки к ушам, из которых заметно высывались густые волосы, зашептал быстро-быстро:

— Лохавло валокуввато...²

Важные старики одобрительно закивали и, оглаживая ухоженные бороды, коллективно вознесли хвалу Аллаху.

— Иншааллах! Омин...³

Инцидент был исчерпан, но хозяин все не мог успокоиться. И тут он увидел стоящих у порога Марину и Игоря. Предполагая в них очередных попрошаек, ежедневно докучавших ему, он затряс кулаками.

— Па-ашли вон отсюда! Ничего у меня нет! Никому не даю! Карабчук⁴ московский, чего стоишь? Брысь!

Игорь на всякий случай попятился назад.

«Долбанет еще, гад! Откуда он узнал, что я москвич?»

Такого гостеприимства он не ожидал. Ему казалось, что чайханщик запомнил его. Вон как распинался и подобострастничал в прошлый раз!

Но Марина, всякое повидавшая на своем веку, осадила хозяина. Вынув из кармана свернутую в трубочку пачку денег, она чуть не ткнула их в нос кашевару.

— Ты чего раскричался? Остынь! И подай нам плову и чаю!

Забубнившая и зашумевшая после ухода патруля чайхана вновь притихла в немом изумлении. Таких дерзких девчонок здесь еще не видели.

Уй, какие времена пошли! Разве могла раньше женщина сунуться сюда, в обитель мужчин? Да ее бы, как собаку, закидали камнями!

¹ Каменный буран (узб.) — ругательство.

² О боже, возьми меня под свою защиту (Коран).

³ Да будет так!

⁴ Воришка.



Мусульманки до сих пор блюдут закон, понимая, что им дозволено шариатом, а что нет. А эти — «московские», заполонившие Ташкент, лезут всюду, требуют, грозят, и попробуй откажи им в чем-то, чего-то не дай!

Война — время жестокое, и суровый сталинский закон на их стороне.

— Ну, Иргаш, чего ты застыл? — донесся из глубины помещения чей-то насмешливый голос. — Разве так гостей встречают?

— Да, да, домулло¹, — встrepенулcя чайханщик, уловив в этом голосе некий тайный приказ. Глаза его заискрились ненатуральным радушием. Губы сладко разомкнулись. — Да, да, да, — подобострастно заворковал он. — Деньги есть — всегда гостем будешь! Садись сюда! Вах-вах, какой кызымка²! И болайка³ яхши... У-ух!

— Яхши, да не про тебя, — сдвинула брови Марина. — Много вас развелось! Садись, Игорек, — подтолкнула она мальчишку к помосту. Затем выхватила из пачки несколько бумажек, а остальные сунула в карман, заколов его для верности булавкой. — Лепешек, плову и чаю, — повторила она. — Да смотри, без примесей!

Лицо чайханщика исказилось от притворного недоумения.

— Какой примесь? Об чем говоришь? — притворно ужаснулся он.

Но Марина держалась стойко.

— Я сказала, — процедила она сквозь зубы, — а ты — думай! Самурая, надеюсь, знаешь? И Михрютку, и Черта, и Николу Нерубленого... Так?

Глаза Иргаша поплыли в сторону, закосили, забегали.

— Какой самурай? Какой черт? В первый раз слышу!

Но было видно, что знает всех поименно. Знает и побаивается. А следовательно, должен бояться и эту босячку, нагло и бесцеремонно напомнившую ему о них.

— Э-эй, малядой! — крикнул он и захлопал в ладоши.

Краснощекий мальчишка тут же вывалился на зов, что-то шкодливо доглатывая на ходу и вытирая пухлые ладошки о засаленный красный жилет.

— Обслужи гостей. Да быстро, быстро!

Чайханщик игриво ухватил помощника за нежную щеку и, покачивая плечами, словно сбрасывая с них невидимый груз, направился в дальний угол, откуда перед этим донесся до него скрипучий насмешливый голос.

Краснощекий работал ловко и прилежно. Через пару минут, горделиво виляя бедрами, он поставил перед ребятами миски с пловом и два чайника.

Марина недоверчиво взяла пальцами щепотку риса, понюхала, положила на язык. Затем плеснула в пиалу чая и медленно отпила, смакуя, словно дегустатор.

¹ Почтительное обращение к уважаемому человеку.

² Девочка.

³ Мальчик.

— Ну что ж, вроде чисто. Так, кызбола? — медленно, со значением произнесла она. — Как зовут тебя? Маша? Даша? Гюзель? Смотри, если что подсыпал, придут люди — зарежут! Да!

Толстый служака покраснел под ее пристальным взглядом, потоптался на месте и, ничего не ответив, растерянно исчез.

— Ну, ты даешь, — восхитился Игорь. — Это ж надо... как театр.

Марина придвинула к себе дымящийся плов.

— Я привыкла. Тут ведь всякому научат. Иногда я пугаюсь, что мне уже тысяча лет... А ты — ешь. Умеешь руками?

— А куда деваться, если ложек не дают?

Горячий рис обжигал пальцы, сыпался на колени, на кошму, но Игорь стойко переносил неудобства.

— Слушай, а о каких примесях ты говорила?

— А-а! — она вновь налила себе чаю. — Подсыпают в еду всякую гадость. Наркотики, в общем... а потом... Ну, сам понимаешь...

— Да-а? — Игорь возмущенно заерзал на месте. — Вот гады! И что, управы на них нет?

Марина пожала плечами.

— Какая управа, когда все везде куплено? Ты думаешь, милиция не знает про этот притон? Тут ворье собирается, спекулянты... нечисть всякая. Ну, нагрянут с обыском, заметут клиентов, а хозяева — баре!

Она осторожно скосила глаза в угол, где сидел чайханщик с приятелями, и повторила:

— Хозяева остаются! И опять все по новой...

Игорь сидел как на иголках, жадно впитывая неизвестную доселе информацию.

— А кызбола... это кто?

Марина посмотрела на него как на младенца.

— И этого не знаешь?

Она помолчала, раздумывая: говорить, не говорить. И наконец, жалея мальчишку, промямлила вяло:

— Да так. Помощник чайханщика. Чего ж тут не понять?

Однако Игорь уловил в ее ответе недобрую тайну и сделал для себя вывод беспощадный и точный.

«Тут всему научат», — мысленно повторил он слова Марины. И только сейчас почувствовал, как устал и перенапрягся за эти дни.

Марина сидела, прислонившись к стене, и монотонно покачивалась в такт какому-то внутреннему ритму.

Из угла, где сидел чайханщик, заструился дурманящий аромат конопли. Осоловелый бабай, что так яростно клял анашу, сладко дрых на кошме, приоткрыв беззубый рот. Тонкая струйка слюны сползала ему на халат.

Приближалась ночь. Нужно было думать о ночлеге.

Игорь погладил безвольно лежащую на колене руку девушки.

— Мариночка...

Марина с трудом приоткрыла глаза.

— Надо уходить. Надо где-то приткнуться...

— Да, да... — Она энергично потрясла головой, сбрасывая с себя сонливость. — А куда ж мы пойдём? Домой?

— Нет! — Игорь был готов ко всему, но только не к этому. — Я туда не ходок. Мне отца искать надо.

— Так ведь и я с тобой... — Она с шумом отодвинула от себя посуду и чайник. — Хозяин!

Иргаш появился мгновенно, будто только и ждал ее призыва.

— Все хорошо? — поинтересовался он. — Всем довольны?

— Довольны, — отчужденно отрезала Марина. — Сколько с нас? Получи!

Чайханщик заговорщицки наклонился к ней.

— Эээ, такой девчушка, такой бола¹... Куда пайдошь на ночь глядя? Дом есть? Мама есть? Не-е-ет! Начивать хочишь? Пажялуста! Мы постель даем, михмонхана² даем... Оставайся, да? Люди вас приглашают, знакомиться будут. Большие деньги заплатят... ну-у?

Он еще ниже склонился над ней, пытаясь погладить.

Она резко оттолкнула его руку, вскочила и направилась к выходу.

— Да пошел ты! Ишь, чего захотел... Пидоры проклятые! Айда, Игорь! А ты, басмач, смотри, на воровской нож нарвешься!

Чайханщик мгновенно позеленел от злости.

— Э-эй, девка, зачем обижаешь? Пшак³ и на тебя найти можно. Так... немножко в бок — и нет кызымки! А когда дело сделают, никакой Самурай не поможет. А? Сейчас джигитов зову, они из вас шурпу сделают! Рахимджон! Ташпулат!

Марина чуть не лбом выбила скрипучую дверь. Игорь мчался за ней.

После душевной чайной дышалось легко и свободно. Неподалеку на путях пыхтел паровоз, лязгали сцепки вагонов. Под мостом бурлила река. И неугомонно, влекуще шумел рядом бессонный вокзал. Однако пробиться в него ребятам не удалось.

Игорь поежился. Вечерний воздух становился прохладным.

— Может, в вагон заберемся? — предложил он. — Правда, там милиция постоянно шурует. Не успеешь удрать — заберут в отделение, затем приемник, детдом или колонтай⁴... А нам туда никак нельзя.

— Тогда уйдем подальше, — Марина перекинула из руки в руку свою потрепанную сумку. — Что мы, дурни какие, чтобы в петлю лезть?

Обогнув привокзальный сквер, ребята через пролом в стене возле санпропускника выбрались на территорию станции. Десятки пассажирских и товарных вагонов стояли в тупиках и на запасных путях, бесконечно расходящихся в разные стороны. Тускло светились светофоры, медленно покачивались фонари обходчиков.

¹ Мальчик.

² Кров, приют, комната для гостей.

³ Нож.

⁴ Колония.

Ребята прошли километра два, а конца составам, казалось, не было. Время от времени проплывали воинские эшелоны с танками и орудиями под брезентом на платформах.

Небольшая заброшенная сторожка, приютившаяся возле забора, привлекла внимание путешественников. Дверь в нее была полуоткрыта. Игорь подкрался на цыпочках и заглянул внутрь. Здесь было пусто. На полу валялись какие-то тряпки, обрывки газет, несколько кирпичей. Видимо, кто-то не раз ночевал здесь. А сегодня не пришел, и по этой причине сторожка свободна и законно принадлежит тем, кто на нее набрел.

— Терем-теремок, кто в тереме живет?

Марина брезгливо вышвырнула за дверь разбросанные тряпки, достала из сумки короткую бязевую простыню и расстелила ее на полу.

— Ложись!

Подождав, пока Игорь уляжется, она плотно прикрыла дверь и, положив под голову сумку, устроилась рядом, тесно прижавшись к нему.

— Так будет теплее.

Он замер, боясь пошевелиться, чувствуя на своем лице ее дыхание, теплый трепет груди, тихое подрагивание рук. Все было неожиданно и непривычно, но мысли были возвышенны и чисты.

— Да ты расслабься, не дрожи, — прошептала Марина, уловив его волнение и все обращая в шутку. — Я тебя не укушу, не бойся.

И тут же, будто в бездну бездонную, тинную, провалилась в сон.

А Игорь не спал. Монотонный свет луны пробивался сквозь замызанное стекло, и какие-то полосы пробежали по стене — вероятно, то отбрасывали тени ветви дерева, растущего возле забора.

Ночь была полна жизни. Все так же стучали и гудели поезда, свистели и перекликались сцепщики. Кто-то, тихо напевая, проскрипел по гравии возле сторожки.

Напрягая зрение, Игорь всматривался в спокойное лицо Марины, убеждая себя, что навек полюбил эту девушку. Что ждет ее и его в этой жизни? Каким будет их завтрашний день?

Мысли возникали серьезные, взрослые. И он не удивлялся этому, потому что давно ощущал себя умудренным и старым. Вон ведь и Марина призналась: «Иногда я пугаюсь, что мне уже тысяча лет...» Хотя по сравнению с ней он, конечно, щенок.

Разве смог бы он так же независимо вести себя со старшими? Не то воспитание, не та среда. Однако он понимал, что в этой жизни за него никто не заступится и надо выстоять, выдержать, вынести все самому, не уронив и не потеряв себя. Как это сделать? Озлобиться на весь мир, принимая в штыки каждую попытку взрослого чужого участия? Не веря добротам, потому что сами «добрые» взрослые зачастую рвутся сломать, растоптать, исковеркать зависимое от них детство?

Лицо Марины постепенно удалялось от него, становясь расплывчатым, неясным. Игорь пытался вернуть ему резкость, но усталость брала свое: веки слипались, уши закладывало. И вот он уже стремительно несется куда-то вдаль. И золотистые любимые глаза мамы возникают перед

ним, зовут, смеются, щурятся привычно и близоруко, оттененные такими длинными, такими густыми, чуть подведенными ресницами...

...Марина очнулась от непонятной страшной тяжести, навалившейся на нее. Еще не сознавая, что это, она с напряжением вырывала себя из сна. И вдруг поняла, рванулась, пытаясь освободиться из чьих-то цепких рук, шарящих у нее под платьем. Широко раскрыв глаза, она увидела над собой перекошенное усатое лицо, учуяла запах гнилого водочного перегара и закричала от ужаса и беспомощности.

Насильник торопливо зажал ее рот ладонью и тут же взвыл, отдернув прокушенную чуть не до кости руку.

Игорь, безмятежно спящий сном праведника, услышал шум и проснулся. В занимающемся тусклом полусвете он увидел навалившегося на Марину мужчину в железнодорожной тужурке и, наливаясь злобой, обидой, ревностью, изо всех сил ударил острыми сложенными кулаками по лохматой крепкой башке.

Мужчина очумело повернулся к нему, свирепо выкатив белки глаз, и злое оскалился.

— У-уйди, гаденьш, убью-у-у!

Игорь кубарем откатился в сторону и бросился к двери.

— Кричи, Игорь, кричи! — сипела Марина. — Зови на помощь... А-а-а!

— А-а! — попытался крикнуть Игорь, но клочущий спазм неожиданно стиснул горло. — А-а! — снова сдавленно пискнул он.

— Убью! — рычал насильник. — Убью-у-у!

Послышался резкий треск разрываемого платья.

— А-а-а!

И тогда Игорь схватил кирпич...

Мужчина охнул и, схватившись за голову, опрокинулся на спину, отпуская Марину.

— Ы-ых, — захрипел он.

Игоря колотило от волнения и ненависти. Однако поднять второй кирпич у него не хватило духу.

А мужик уже вставал. Все лицо его было в крови. Шатаясь из стороны в сторону на подкашивающихся раскоряченных ногах, он выпрямился.

— Убью-у-у!

Это было так страшно, что Игорь оцепенел. Он прерывисто вскрикнул и наивно заслонился рукой от надвигающейся на него горы.

Но Марина опередила обоих.

— Не убьешь! — тонко вскрикнула она и, изловчившись, изо всех сил ударила подонка ногою в пах...

Было уже почти светло. Задыхаясь, ребята мчались по путям, не разбирая дороги. Они то ныряли под вагоны, то перескакивали через тормозные площадки, удаляясь от страшного места. Какой-то боец военизированной охраны засвистел, затопал, приказывая остановиться. Но куда там!

А эшелоны все шли и шли. И рельсы все так же прогибались и гудели. И колеса устало переминались на стыках, то замедляя, то учащая свой бег. Тяжелое медное солнце выкатывалось из-за корпусов паровозостроительного завода, освещая каждую былинку, бумажку, камешек на этой пропитанной мазутом и углем и оттого так мягко пружинящей под ногами железнодорожной земле.

Утро было прекрасным и румяным, как яблоко. Особенно здесь, вдали от центра, среди вольно раскинувшихся поющих садов. Казалось, все птицы мира слетелись сюда, и не было им дела ни до великой войны, ни до страстей и забот этого великого города.

Осень. Прозрачное утро.
Небо как будто в тумане... —

выводил за ближним забором чей-то патефон, и эта довоенная щемящая мелодия, напоминая о прошлом, бередила души.

Территория станции была далеко, однако все шумы ее доносились и сюда. К тому же ветер, меняя направление, то и дело приносил запах дыма и мазута, забывая на мгновение медовый аромат айвы и яблонь.

Желтые, оранжевые и красные плоды грешно и свято полыхали на тяжелых ветках. И именно это потрясло воображение. Потому что в голодную военную пору каждое из этих яблок могло кого-то утешить, а может быть, и спасти.

Марина и Игорь сидели на траве, возле огромной баррикады из бревен, некогда бывших могучими, в два обхвата, соснами и осинами. Заготовленные, вероятно, для нужд бумажного комбината, они лежали здесь давно. И на их потрескавшихся от жары и дождей комлях различались неясные цифры — сортовая маркировка то ли государственных далеких леспромхозов, то ли еще более государственных таежных лагерей.

— Что наделал, урод, что наделал, — шептала Марина, оглядывая себя.

Ее серое легкое платье было разодрано от плеча до подола. На левом запястье к локтю тянулась кровавая ссадина, волосы были всклокочены, а шея измазана угольной пылью и грязью.

— Что наделал, собака, — повторила она и, достав из кармана круглое зеркальце, погляделась в него и заплакала.

Игорь вздыхал рядом, боясь смотреть на нее, сожалея о том, что не вышел ни ростом, ни возрастом. Да, будь ему восемнадцать, разве посмел бы тот фашист напасть на Марину? А так он не увидел в мальчишке ни защитника, ни соперника, словно бы его и не было рядом, словно представлялся он пустым местом, пылью, тряпкой на замызганном черном полу.

Пальцы мальчика до сих пор ощущали тяжесть кирпича. Правильно ли он поступил? Достойно ли? И жив ли тот жлоб?

Кто он был? Вор, бандит, наркоман или подлый пьянчуга, неожиданно обретший возможность безнаказанно изнасиловать, избить, заду-

шить? Неужели ничто не дрогнуло в его душе, когда он увидел, что перед ним почти дети?

— Мы, наверное, убили его, — мрачно сказал Игорь, холодея от собственной мысли.

— Туда ему и дорога, — мстительно отозвалась Марина.

И тут же опомнилась, поняла страшный смысл этих слов и беспомощно разжала пальцы, из которых покатилося, ослепительно сверкая на солнце, веселое зеркальце.

— Да нет, не может быть, — пробормотала она. — Ведь он поднимался... он такое мог с нами сделать! А то, что я ему угодила... так это не смертельно, это пройдет. И надеюсь, запомнится.

Игорь закрыл глаза. Недавно пережитое вновь возникло перед ним. Этот хрип, этот рев, эта кровь... Тошнота подкатила к горлу. Нервы не выдерживали, и внезапно, не в силах бороться с дурнотой, он вскочил и бросился за бревна...

Марина сидела не шевелясь, ни словом, ни действием не пытаясь ему помочь.

Игорь отполз в сторону и, не в состоянии ни кричать, ни плакать, ткнулся лицом в траву.

— Это от памяти, — убежденно сказала Марина. — Ты попробуй не думать. Все уже прошло. Забыто...

— Не-ет, — простонал он.

— Забыто! — упрямо повторила она. — И нечего слюни распускать. Не было ничего... так, дурной сон. Мало ли что нам снится иногда? Меня одно время змеи одолевали. Только глаза закрою, а они уже здесь. Извиваются, шипят. Я кричу, а голоса нет... Лизетта говорила, что это от застоя крови, дескать, в неудобной позе лежишь. Так вот и у нас... просто головы затекли. Тем более что ты кирпич вместо подушки выбрал. Уж лучше бы на кулаке...

Она слабо улыбнулась.

Игорь перевел дыхание. Марина права. Нужно отойти, остыть, оторваться от этого кошмара. Вон ведь в бомбежку было еще страшнее! А тот бандюга жив, с ним все в порядке. Забыть его, забыть его... забыть!

— Водички бы, — пробормотал он, сухим языком облизывая сухие шершавые губы.

— Так я сейчас, — вскочила Марина. — Хотя во что набрать? Ни кружки, ни банки... А может, яблочка хочешь?

Она огляделась по сторонам и, подкравшись к обнесенному колючей проволокой забору, торопливо сорвала несколько свисающих над тропинкой осенних плодов.

За забором яростно и зловеще забрехала собака. Неприятный женский голос визгливо вырвался из-за кустов.

— Взз, взз, Горлан! Ку-уси-и!

— Ешь! — Марина протянула Игорю яблоки. — Они помогут. А я пока переоденусь.

Схватив сумку, она ушла за бревна и спустя некоторое время вышла оттуда преображенная.

— Вот... нашла подходящее. Только слишком измятое. А серенькое пришлось выбросить. Ну, ты как?

— Да ничего... — Игорь оживал. Может, и вправду все приснилось ему? Может, действительно, не было ничего? Одно воображение? И вообще, сколько можно страдать и киснуть? Стыдно ведь перед девчонкой! — Нормально! — улыбнулся он. — А ты... ты такая красивая! Глаз не отвести!

— Правда? — счастливо задохнулась она. — Или ты мне комплиментируешь?

— Правда, — подтвердил он. — Хочешь, я тебе стихи почитаю?

— Хочу.

Игорь приподнялся на локтях и, полуприкрыв глаза, прочел:

Я встретил вас — и все былое
 В отжившем сердце ожило;
 Я вспомнил время золотое —
 И сердцу стало так тепло...

Стихи рвались из души, и ему казалось, что они сочинены лично им в эту самую минуту и только ими, только так он может выразить сейчас поклонение и восторг.

Марина смотрела на него своими просветленными озерными глазами, и бог знает, что творилось в ее сердце.

— Кто это? — наконец спросила она.

— Тютчев... Папин самый любимый. Он всегда эти стихи маме читал.

— Тютчев, — мечтательно вздохнула Марина. — А я и не знала, что есть такой поэт. Ты, наверное, много стихов знаешь?

— Да порядочно, — признался он, радуясь ее благодарному интересу и пониманию. — Одно время папа заставлял меня заучивать по стихотворению в день. Ну, я и читал все подряд. У нас богатая библиотека была.

— Счастливчик, — позавидовала она. — Родиться в такой семье! А у меня даже друзей настоящих не было. Так, одни одноклассники. Они меня презирают, я их. Правда, была одна, Леночка, вроде мы подходили друг дружке. Но только я к ней в гости хожу, а к себе не приглашаю. Стыдно! Там же вечно пьянки, драки, шалман... Книжку в руки возьмешь, тут же кто-то пристанет: «Иди туда, принеси то... Что, учёной заделалась?» Ты думаешь, мне их куски в горло лезли? Это я перед тобой выпендривалась, проверить хотела...

Она подняла с земли оброненное зеркальце, погляделась и бросила его в сумку. Затем, приподняв юбку, чтобы не испачкать, уселась на большое, нагретое солнцем бревно.

— А Есенина ты знаешь?

— Конечно.



— Вот здорово! У нас дома есть альбомы. Знаешь, такие самодельные. Их из лагерей привозят. Так в них и Есенин, и про любовь, и про тюрьму... Я читала и плакала. А потом себе такой же завела.

Она задумалась, подперев щеку ладошкой, и вдруг запела тонким жалостливым голоском:

Пусто кладбище убогое.
Только лишь солнце взойдет,
Крошка — малютка безногая
Между могилек ползет...

— Нет, эта слишком трагическая. Я всегда от нее реву. Лучше вот эта...

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой...

Слышал эту песню?

— Слышал. — Игорь расстегнул пуговицу на рубаше и вытащил из-за пазухи забравшегося туда муравья. — Вот паршивец, куда залез! У нас в детдоме и в приемнике о чем только не пели. И про дочь рыбака, и про сына прокурора, и про Мурку, и про...

— Знаю, знаю, — перебила его она. — У меня они тоже записаны. А какие песни тебе больше нравятся?

— Какие... — Игорь сорвал травинку, бесцельно повертел ее в руке. — Те, что родители пели. Они как начнут в два голоса! «Дивлюсь я на небо...» Или «Вниз по Волге-реке»... А еще «Катюшу», «Винтовку», «Дан приказ — ему на запад», «Три танкиста»... Когда к нам гости приходили, все просили их спеть. Мама за пианино садилась, папа брал гитару... Меня с Полинкой в другую комнату отправляли. Поинка засыпала, а я...

Слезы навернулись у него на глаза. Он отвернулся, чтобы Марина не заметила их, и преувеличенно прилежно стал отряхивать шаровары.

— Солнце-то уже где!

Марина, прикрыв глаза ладошкой, взглянула на небо.

— Ну и что?

— А то. Идти надо. Сейчас уже часов девять. А нам еще искать и искать.

— Умыться бы, — жалобно сказала она. — Ну, куда я такая пойду? До первого милиционера!

— До первой колонки, — успокоил ее Игорь. — Там умоемся и напьемся. Это же не степь, а город. Есть где-то колодец или водопровод. Вставай! — Он поднял с земли ее сумку и протянул руку. — Прошу, ваше высочество!

— Слушаюсь и повинуюсь!

Она вскочила и грациозно склонилась перед ним. Глаза ее смеялись.

— Куда прикажете идти?

— Прямо! — сказал он. — Вон там дорога, переезд... И где-то рядом трамвай звенит. Слышишь?..

4.

Тяжело груженный санитарный автобус, трудно преодолевая подъем, вкатился на территорию военного госпиталя. И пока прихрамывающий солдат-привратник отрешенно провожал его апостольским взглядом, Игорь и Марина шустро юркнули через пустующую проходную и помчались к центральному зданию, краснокирпичному, с высоченным крыльцом дореволюционного изготовления.

На просторном, мощенном булыжником дворе стояло несколько крытых ЗИСов и полуторок, разворачивались и скрипели пароконные фуры с красными крестами на высоких шатких бортах. Пожилые служители в застиранных до серости коротких халатах тащили куда-то носилки с ранеными, а может, даже с мертвыми. Тут же, на виду у всех, долговязый сутулящийся военврач распекал за что-то провинившуюся медсестру.

— Нас бы не заметил, — озабоченно прошептал Игорь и, прибавив шагу, потащил Марину за ближайший грузовик, из-под которого торчали, подергиваясь, чьи-то ноги в солдатских ботинках.

Неподалеку от грузовика, разомленно пригревшись на солнце, трое выздоравливающих курили и посмеивались над раскрасневшейся медсестрой.

— Во собачит Дылда, во дает! — возбужденно размахивал руками белобрысый лопухий солдатик, с абрикосовыми, видимо, еще не знающими бритвы щеками. — Прощай, Татьяна! Быть тебе в наряде на кухне!

— Ничего! — засмеялся его сосед, крутобровый кавказец с аккуратно подкрученными сабельными усиками над чувственным ртом. — От нэ нэ убудет. На кухне или на губе отсидит и опять за нас возьмется. Как застанет Охлопкина с санитаркой Вэрой, так снова устроит варфоломэевскую ночь. На Охлопкина рапорт, а Вэрочку в морг... на исправлэние!

— Ха-ха-ха! — завертелся от радости белобрысый. — Так Веруня там сразу же закиснет. Она от живой раны в обморок падает, а уж среди усопших...

— Да будет вам, — одернул весельчаков коренастый стриженный мужичок, неумело засовывая в карман халата пустой левый рукав. — Тоже нашли тему. Э-эх, жеребцы, передовая по вас плачет!

— А ты, Кузьмич, нас нэ очень кори, — нахмурился кавказец. — Мы, может, с той пэрэдовой уже нэ вернемся. Тебя-то подчистую спишут, а нам еще стрэлять и стрэлять.

— Да ну вас, — дернул обрубком плеча Кузьмич, отчего рукав снова выполз из кармана и повис вдоль туловища. — Ты, Леван, мне не завидуй. Была б моя воля, я тех фрицев одной рукой давил бы, зубами грыз! А так... куда идти, если все мои там... под немцем. Да и живы ли еще?.. Дай сюда!

Он почти вырвал из пальцев белобрысого самокрутку и торопливо затянулся несколько раз подряд.

— Ты че, ты че? — вздумал оскорбиться лопухий и тут увидел ребят. — О! Гляди, разведка. Тимуровцы! Или артисты... А ну, гони сюда, пацанва! Вы кто такие?

— Мы?

Игорь осторожно выглянул из-за полуторки, опасаясь сердитого доктора. Но того уже не было.

— Мы? — Он осмелел и подошел к раненым. — Мы — наши. А вообще, отца ищем.

— Отца? — с интересом разглядывая Марину, заиграл бровями кавказец. — А он кто? Военврач? Служит тут?

— Нет, он раненый. Как и вы, — вздохнул Игорь. — Только не знаем, в каком госпитале. Вот ходим, интересуемся. Вы не скажете, у кого здесь можно спросить?

— А вы, часом, не шпионы? — глупо хихикнул белобрысый. И осекся под свирепым взглядом Левана: — Да нет, нет, я пошутил. Я же вижу — тимуровцы!

— Шути, но знай мэру, — предупредил его Леван. И снова заулыбался, несомненно, желая понравиться девушке с глазами такими глубокими и чистыми, как озеро Рица. — Спросить можно только у мэня. Я всех тут знаю. Трэтий месяц лэчусь. Кто он, ваш папа? Рядовой? Сержант? Да, кстати, как вас зовут?

Он умильно уставился на Марину, трепеща, как натянутый лук.

— Меня? — сухо усмехнулась девушка, мельком оглядев его с ног до головы. Ну что за твари эти мужики! Лишь завидят какую-нибудь юбку, так сразу и тают. Врезать бы ему сейчас, да положение обязывает быть сдержанной. — Меня зовут Мариной, — ответила она. — А тот, кого мы ищем, полковник. Полковник Воронов.

— Кто, кто? — изумился кавказец. — Полко-о-овник?! Так у нас полковники нэ лежат. Вам надо в офицерский госпиталь. Кстати, моя фамилия Чаправа. Я абхазец. Слыхали? Очэнь известная фамилия. Все газеты только ей и заполнены.

— Да-а? — наивно обрадовался Игорь. — Значит, вы герой? А какой подвиг совершили?

— Э-э-э, много чэго, — неожиданно стушевался Леван. — Последний раз четыре танка подбил. Трах-бах-бах! И все горят, как солома... А можэт, вы жэлаете, чтобы я подробно рассказал вам об этом? Наедине? — обратился он к Марине.

— Спасибо, — вежливо отказалась девушка. — Как-нибудь в следующий раз.

— А когда он будэт — слэдующий? — возопил абхазец. — Гдэ мнэ вас найти? Можэт, адресочек оставите?

— Слушай, Леван, не морочь детям голову! — Однорукий с досадой отбросил опалившую пальцы самокрутку и мотнул пустым рукавом. — Что ты пристал как банный лист? У них своя беда!

— Так я жэ сэрьезно! — воскликнул Чаправа. — Такая дэвушка. Луч свэта в тэмном царстве! Для нее гимны сочинять надо и оды петь! А ты...

— Да погоди, — нервно оборвал его Кузьмич. — Вы, ребята, в регистратуру зайдите. Вон в ту дверь, где приемный покой. Может, там вам объяснят. А нет, так Зою Николаевну спросим. Товарищ военврач! — почтительно окликнул он проходящую мимо миловидную стройную женщину в наброшенном на плечи халатике, под которым виднелась гимнастерка, перетянутая командирским ремнем с портупейей. — Врачиха наша, — доверительно шепнул он ребятам и вытянулся по стойке «смирно».

Белобрысый и Чаправа посерьезнели.

— Разрешите обратиться, товарищ военврач третьего ранга?

— Обращайтесь, — женщина приветливо улыбнулась и удивленно посмотрела на ребят. — Подростки? Откуда? Ваши, что ли, Мальков?

— Никак нет, — переступил с ноги на ногу Кузьмич. — Если б мои... Отца они ищут! Да, видать, не по адресу пришли.

— Отец у них полковник, а у нас только солдаты и сержанты, — бойко выпалил лопоухий.

— Офицерский госпиталь... — сказала женщина. — М-м-м, даже не знаю, что сказать.

— Понимаю, — опустил голову Игорь. — Военная тайна!

— Ах ты мой дорогой! — грустно усмехнулась врач. — Все-то вы понимаете, не в пример некоторым... — Она выразительно покосилась на белобрысого. — Вам медико-санитарное управление нужно найти, — продолжала она. По ее лицу было видно, что она искренне желает помочь ребятам. Но то ли военное время и воинская присяга, то ли присутствие раненых сдерживали чисто женский порыв. — Знаете что, обратитесь-ка в военную комендатуру! Там все знают. И, думаю, помогут. А пока желаю успеха. До свидания!

Она ласково погладила Игоря по голове и ушла.

— Жэлезная жэнщина! — щелкнул пальцами Леван. — Прямо-таки царица Тамар!

— И о ней вы тоже готовы гимны слагать? — усмехнулась Марина.

— А как жэ! — возбудился кавказец. — Обо всэх! О нэй! О вас! Дажэ о Вэрочке, которую я отобью сэгодня у Охлопкина! Если вы, конечно, не дадите мнэ свой адрэс.

— Не дам, — нежно улыбнулась Марина. — У меня жених ревнивый.

— Кавказец? Как и я? — молодецки повел плечами Леван.

— Нет, русский. Только хвастаться своими подвигами не любит.

Раненые захохотали. Чаправа вспыхнул.

— Так вы жэ мэня нэ так поняли! Мариночка! Я тэпэрь ночи спать нэ буду, вспоминая вас!

— Ничего, товарищ герой. Утешитесь с Верочкой, если только Охлопкин вам это позволит. До свидания, дяденьки. Выздоровливайте!

— Мнэ? Нэ позволит Охлопкин? Да я... — запоздало возмутился кавказец.

Но ребята его уже не слышали.

...Вожатая трамвая была вдохновенна и счастлива. И вагон, эта громадная железная махина, казалось, пел и ликовал вместе с нею. Люди, толпившиеся в салоне, то кучно валились друг на друга, то разлетались в разные стороны при крутых поворотах и торможениях.

В том, что трамвай пел, ни у кого из пассажиров не было сомнения. Однако он еще и танцевал в каком-то небывалом электрическом ритме. И если бы кто-то внимательно прислушался к его звенящим пассажирам, то непременно уловил бы в них отголоски «Сказок Венского леса» или нечто похожее.

Этот затянувшийся «вальс» вывел из себя молодую элегантную женщину, сжатую со всех сторон разгоряченными и влажными телами. Особо досаждал ей узколицый морщинистый человек в офицерском кителе с двумя нашивками за ранения. Не глядя на женщину, он тем не менее как-то странно прилипал к ней даже тогда, когда трамвай стоял на месте. Рука его беспокойно дергалась вдоль туловища, и женщине казалось, что она вот-вот неприятно и жарко коснется ее бедра.

— Товарищ! — наконец не выдержала она. — Ну что вы меня все время толкаете? Дайте хоть на секунду вздохнуть! Безобразие какое!

Мужчина равнодушно посмотрел на нее и отвернулся.

— Извините...

— Не извиню. Вон места сколько, а вы все ко мне да ко мне.

Сунув под мышку серебристую парчовую сумочку, женщина, возмущенно работая локтями, стала проталкиваться к выходу.

— И что это с вожатой случилось? С ума она сошла, что ли?

— Да праздник у нее сегодня. Праздник! — громогласно объявил пожилой узбек в зеленом «сталинском» френче и такой же фуражке. — Сын вчера объявился! Сначала без вести пропал, а теперь вот — живой! Как тут не плясать?

Вагон доброжелательно загудел.

— Ну, если так, то конечно...

— Тут не то что плясать, тут на той — на пир звать всех надо!

— Счастливая!

— Еще бы! Потерять, не надеяться и вдруг снова найти!

— Слышишь? — прошептала Марина, намертво притиснутая к Игорю на задней площадке вагона. — Нашелся! Как и твой отец. Господи, да если бы со мной такое случилось, я бы трамвай свой к солнцу подняла! И летела, летела бы!

— Ну да. Тебе дай волю, ты нас всех в небеса занесешь, — засмеялся Игорь. — Марина Раскова!

— Нет, — она огорченно тряхнула головой. — Я слишком земная. И все это мечты, мечты... Гимны, оды... глупость какая! — поморщилась она, видимо, вспомнив недавние излияния раненого кавказца. И, кокетливо оправляя воротник отутюженной «матроски», добавила, без всякой

связи с предыдущим: — Ты не представляешь, какое это счастье — ощущать себя чистой!

— Представляю, — улыбнулся Игорь. — С баней нам повезло. Иначе ворвались бы в госпиталь, как... не знаю кто. Да и в комендатуре с нами разговаривать бы не стали. И тем более объяснять, где этот офицерский госпиталь.

Он приятно пожмурился, заново переживая обряд утреннего купания в бане, так удачно встретившейся им на пути. Хорошо, что была «прожарка» и вещички продезинфицировали «на предмет уничтожения случайных насекомых». Хорошо, что заботливая пожилая банщица предложила Марине уютжок, и девушка смогла привести себя в порядок.

Да, теперь они вполне могли сойти за «тимуровцев» или «артистов».

— А вот это моя школа, — неожиданно сказала Марина, прижимаясь лицом к стеклу. — Видишь, — она взяла Игоря за руку, — вон там, на втором этаже, три окна с краю... Это наш класс.

— Да? — Игорь с интересом оглядел трехэтажное белое здание, мимо которого проносился трамвай. — Красивая. Вся в цветах и деревьях.

— А вот если по этой дороге идти, выйдешь прямо к нашему дому, — вздохнула Марина.

— Тоскуешь? — Игорь заглянул ей в глаза.

Она неопределенно поежилась.

— Как тебе сказать... Вроде нет. Просто интересно, как они там без меня? Волнуются? Ищут? Знаешь, это как в детстве. Я хочу умереть, но только понарошку. Чтобы видеть, как все будут плакать надо мной, жалеть... А я лежу и все вижу, и все понимаю... да-а...

Она замолчала.

— Может, все-таки сойдешь? — спросил он, по-своему истолковав ее молчание.

— Да иди ты! — рассердилась она. — У меня теперь одна цель. И раз я начала новую жизнь, так ее и продолжу. А может, ты испугался? Может, я мешаю тебе?

— Испугался, — честно признался он. — Что ты сейчас уйдешь, а я... я...

— Глупенький! — Она еще теснее прижалась к нему. — Я теперь от тебя никуда... А-а-а! — внезапно застонала она и прикрыла рот ладошкой, чтобы не закричать.

Игорь поднял голову и обернулся. Перед ними стоял «военный» в кителе без погон, с двумя нашивками за ранения.

— Катаетесь, сучата, — глухо констатировал он, с неприязнью разглядывая ребят. — Тоже мне парочка — Абрам да Сарочка... Х-хе!

Он взял Игоря двумя пальцами за подбородок и легонько сдвинул.

— А ты, козелик, забыл, что мне должен? Но теперь не убежишь. А если что... — Он ухмыльнулся. — Соображаешь?

Игорь молчал.

— Соображаешь? — зловец повторил Чугун.

— Оставьте его, Демочка, — жалобно попросила Марина. — Он отца нашел! Понимаете? А если что-то должен, так я заплачу.

— Ты-ы? — округлил глаза Диомид. — С тебя, киска, я получу натурой. А вот хмыренек пусть уплатит сам. Иначе папа его вновь осиротеет.

Игорь в бешенстве посмотрел на обидчика. Боже, как он ненавидел сейчас эту крысиную морду! Нужно было закричать, попросить помощи у людей. Какое-то мгновение он раздумывал, и этого мгновения хватило, чтобы Демка понял его решимость.

Вагон качнуло на повороте. Чугун покачнулся, но устоял на ногах. Затем воровато выхватил из кармана опасную бритву, раскрыл ее и поставил к горлу Игоря.

— Если этой штуковиной полоснуть по мордам, то врачи не помогут. А когда по глазюкам, тогда вообще хана... Ну, как?

Игорь тяжело вздохнул. Странное спокойствие обреченного овладело им.

Качались за окном дома, деревья, люди, качались небо и земля, шаткий пол уходил из-под ног...

«Только бы Марина не закричала, — подумал Игорь. — Только бы не закричала...»

Марина, казалось, прочла это заклинание в его глазах.

Насладившись эффектом, Демка бережно сложил свой «золинген».

— Так-то лучше. А теперь пошли...

Он схватил мальчишку за локоть и потащил в глубь вагона. Марина, как привязанная, рванулась за ними.

А трамвай продолжал свое необычное движение. Пассажиры входили и выходили. И каждому входящему тут же становилось известно, что к вагоновожатой возвращается сын, который пропал без вести в начале войны, а теперь вот нашелся.

И у людей смягчались лица и теплели глаза. И никто из них не злился, пусть и сжатый со всех сторон. Потому что хоть в тесноте, но не в обиде. Потому что все чаще и чаще находят пропавшие без вести, и это вселяет надежду в других. Потому что такого необыкновенного трамвайного вальса не представлял в своей жизни ни один из этих людей.

— ...Сейчас возьмешь пропуль и свалишь на выход, — наклонившись к Игорю, прошептал Чугун.

— Что? — не понял парнишка. — Какой «пропуль»?

Демка позеленел от бешенства.

— Чего орешь? Фраеренок позорный! Заложить меня хочешь?

Сжав кулак, он больно ударил Игоря в левый бок.

— Объясняю популярно. Все, что я тебе передам, бери и мотай с марки, то есть с трамвая. Усек?

Игорь беспомощно оглянулся на Марину. Она тянулась к ним, продираясь сквозь толпу.

— Да не вздумай зажилить, — предупредил Демка. — Ты рванешь, а подружка останется. И уж я ее на куски раздеру!

Равнодушно отвернув голову в сторону, он прилип на секунду к молодой усталой женщине с увесистой сумкой в руке.

Трамвай остановился. Народ с задней площадки поднапер, с передней потек к выходу, и в этот миг Демка сунул в руки Игорю увесистый сверток.

— Вали!

Марина тихо ахнула.

Игорь растерянно поднял руку, разглядывая лежащий в ней... кошелек.

— Да рви когти! — иступленно лягнул его Чугун и сам полез через толпу на переднюю площадку.

Игорь, ошеломленно хлопая ресницами, повернулся к Марине.

— Что делать?

И тотчас сумасшедший женский крик взорвал весь вагон.

— А-а-а! Украла! Карточки, деньги... документы-ы!

Игорь съезжился, сгорбился с искаженным от муки лицом. Пальцы нервно сжались, и не было никакой возможности их расцепить.

— А-а-а! — кричала женщина.

Глаза ее вылезали из орбит, и она шарила этими выпученными, наливающимися кровью глазами по лицам окружающих, пытаясь угадать, кто из них обрекает ее на голод и лишения. Вытянув руку со скрюченными худыми пальцами, готовая вцепиться в каждого, кого заподозрит в пропаже, женщина увидела перекошенное лицо Игоря и инстинктивно рванулась к нему. Еще мгновение, еще шаг, и она разорвет, разнесет, уничтожит его.

Игорь покрылся мурашками и не почувствовал, как Марина с силой вырвала у него кошелек и протянула его женщине.

Однако та, не поняв ее намерения, закричала еще громче.

— Держите! Держите ее!

Про Игоря она тут же забыла. Толпа смахнула его с пути, оттерла в сторону.

— А-а-а!

Ужасный женский крик долетел наконец до слуха вагоновожатой, и она остановила трамвай.

Добродушного настроения у людей как не бывало. Несколько мужских и женских рук вцепились в Марину, выволакивая ее из вагона.

— Воровка!

— Стерьва-а!

— Бей ее! Учи-и-и!

— Милицию, милицию вызовите!

Марина стояла в кругу мгновенно одичавших, озверевших людей, прикрываясь руками от обрушившихся на нее ударов. Кто-то жестоко тянул ее за волосы. Кто-то трусливо и подло пинал ногой.

Вывалившийся вместе со всеми на улицу Игорь с криком продирался сквозь толпу.

— Оставьте ее! Не трогайте! Она не виновата!

— А-а! — завизжал какой-то ушлый ловкач и, ухватив его за шиворот, втокнул в круг. — С ею был! Одна блатная шайка!

— Да, да, — подтвердила потерпевшая, еще не успев отойти от пережитого, и оттого то улыбаясь, то всхлипывая. — Я его тоже видела. О том и в милиции скажу.

— Да не брали мы! — истерично закричал Игорь. — Мы не воры! Я вам все объясню...

— В милиции объяснишь! — хихикнул схвативший его ловкач. — Ежели не вор, чего за нее заступаешься?

— Да вы поймите, нам подсунили это! Жулик один! В офицерском ките! Я не хотел, а он силой... Это все неожиданно случилось!

— Не воровали мы, — жалко выдохнула разбитыми губами Марина.

— Как же, как же, рассказывай! — изгалялся ушлый дурак.

— Ой! — хлопнула себя по бедру потерпевшая. — Точно... был офицер! Все ко мне прижимался. Где он тут? Позовите!

— Ищи ветра в поле! — хохотнул ловкач. — Так он тебя и дожидается. Я же говорю, одна компания. Банда!

— Точно, точно, — продолжала бормотать женщина. — Он ко мне, я от него... Он ко мне, я от него. И в глаза не глядит. А потом вдруг пошел. И меня как током ударило. Хватилась, а кошелька нет! А там все... деньги, карточки, паспорт... Ой, помрем же с детьми, издохнем без помощи!.. Только я на него не подумала. Командир вроде... раненый... А тут вижу: девка с кошельком. Видать, спрятать не успела. Я за ней! И точно... она!..

5.

В отделении милиции было непривычно тихо. То ли оттого, что находилось оно вдали от центра, то ли потому, что был обеденный час. Несколько посетителей сидели в конце коридора, возле паспортного стола и кабинета следователя. А здесь, в дежурке, коротали время молодой лейтенант и седоусый, похожий на Буденного, милицейский сержант.

На серых, давно не крашенных стенах висели довоенные выцветшие инструкции. Два широких окна были забраны решетками, а на подоконниках зеленел пяток кактусов в проржавевших консервных банках. Дополняли убранство комнаты двухтумбовый канцелярский стол, массивный железный сейф за перегородкой, изрезанная непонятно кем и чем деревянная скамья в углу и засиженный мухами поясной портрет наркома НКВД Берии.

Преисполненные торжественного гражданского негодования, несколько человек во главе с ловкачом чуть не волоком втащили сюда ребят и поставили у перегородки.

— Вот! Карманщиков поймали!

Лейтенант поднял лицо, на котором светилось багровое пятно недавнего ожога, и устало придвинул к себе чистый лист бумаги.

— Кто? Где? Когда? Как? — отрывисто изрек он, глядя на вошедших.

— Ну так я их подсек! — зачастил ловкач, самозванно присвоив себе главную роль. — У-у-у, ворюга! — замахнулся он на Игоря.

— Прекратить! — властно крикнул лейтенант. — Вы где находитесь? И кто вам дал право распускать руки?

— Да ведь как же? Иначе нельзя, — убежденно заквакал обвинитель. — Люди бьют... Потому как у всех накопилось... Життя от их нет! От поганцев!

— В этом мы разберемся. Ну а кто потерпевший?

— Дак вот же! — обернулся ловкач и осекся. — Эй, а где ж та баба? Неужто сбегла? Ну, стерва!.. Минуточку, я ее сейчас догоню!

В комнате воцарилось молчание. Наконец дверь распахнулась, и мужичонка ввел за руку смущенную потерпевшую.

— Ишь, едрить ее в фуфырь, убечь хотела! Дескать, теперя это роли не играет. Кошелек на месте, и у ей самой дети... А я так понимаю, что ворье надо губить! Изводить по мере возможности!

Лейтенант с неприязнью посмотрел на него.

— Сядьте и помолчите, гражданин. Когда понадобится, вас спросят. Что вы можете рассказать о происшествии? — обратился он к женщине.

— Да что, — замялась та. — Кошелек украли... А потом вот нашли. У этой девушки. Только украла она его или нет, сказать не могу. Не видела. Да и они, — кивнула она на ребят, — отрицают.

— Ну что же, так и запишем, — сказал лейтенант и прилежно заскрипел пером. — Паспорточек ваш дайте для фиксирования... Ага... так... Батрыкина Ирина Ивановна... Спасибо. — Он вернул паспорт женщине и обратился к Марине: — Судя по показаниям потерпевшей, кошелек оказался у вас. Признаетесь ли вы в совершенном преступлении?

— Оказался, — заплакала девушка. — Только я не брала его, нет!

— Товарищ лейтенант, — умоляюще сложил на груди руки Игорь. — Разрешите, я объясню... Мы не виноваты! Мы отца моего разыскивали, в офицерский госпиталь ехали, а тут...

— Рассказывай! — ухмыльнулся ловкач, явно жаждущий крови.

— Прошу не перебивать! — оборвал его лейтенант. — Продолжай, юноша.

— Так вот... мы к отцу моему ехали. Нам в военной комендатуре адрес госпиталя дали. Да и вы меня помните! Я на днях к вам заходил, просил помочь.

— Да, да, да, — с трудом улыбнулся лейтенант и непроизвольно погладил обожженную и, видимо, ноющую щеку. — Я гляжу, лицо вроде знакомое. Был ты у нас, припоминаю. Только куда потом пропал? Отец его по всему городу ищет, с ног сбился. Полковник... э-э... Воронов! Если не ошибаюсь.

Лейтенант открыл ящик стола, достал оттуда потрепанную папку и стал торопливо перебирать подколотые бумажки.

— Во-от! — наконец произнес он. — Твое заявление... «прошу оказать помощь в розыске моего отца полковника Воронова Романа Дмитриевича, находящегося, согласно извещению НКО СССР, на излечении в одном из ташкентских городских госпиталей». Твоя рука? Ты писал?

— Я! — обрадовано подтвердил Игорь, даже не заглядывая в бумагу. — Под вашу диктовку! — Счастливо улыбаясь, он повернулся к Марине: — Папа нашелся! Он нас выручит!

Лейтенант помрачнел. Затем снова придвинул к себе протоколы с показаниями потерпевшей и свидетелей. Молча перечитал их, сокрушенно покачивая головой.

— Так что же все-таки произошло? — снова обратился он к Игорю. — Расскажи подробней.

Сбиваясь, перескакивая с пятого на десятое, Игорь поведал о своих злоключениях за эти дни. Присутствующие, особенно ушлый «законник», слушали с недоверием.

Марина, закрыв лицо руками, плакала, сидя на скамейке.

— А я верю этим ребятам! — неожиданно подал голос седоусый сержант. — Верю, Алимджон! У меня нюх на честных людей, понимаешь? — Он непримиримо посмотрел на ерзающего от нетерпения главного обвинителя. — Я Фрунзе знал, с басмачами дрался, самого курбаши Дауда в плен брал! И немножко разбираюсь в людях... кхы-кхы!

Лейтенант в знак согласия ободряюще кивнул головой.

— Да что мне — больше всех нужно? — оскорбился ловкач. — Я для общества стараюсь — и я же виноват!

Лейтенант пропустил его выпад мимо ушей и задумчиво повертел в руках ручку.

— Ну и где нам искать этого Диомида? Как ты думаешь? — спросил он Игоря.

— Я не знаю, — растерялся подросток. — Может быть, у них? — посмотрел он на Марину.

— Не думаю. Вероятнее всего, он там больше не появится, хотя мы засаду зашлем. А вот как с вами поступить, не ведаю. Может, что-то нам потерпевшая присоветует?

— А что я? — сокрушено вздохнула женщина. — Мне чужая беда не в радость, своей хватает. Я ж уйти хотела, а этот, — покосилась она на ловкача, — силой приволок. Вы начальство, вы власть — как решите, так и будет.

— Вот же люди! — отчаянно оскалился ушлый. — Да если бы не я, фиг бы ты вернула свой кошель!

— Знаете что, товарищи, пойдете-ка отсюда, — примирительно сказал один из свидетелей, смуглый стройный парень явно призывного возраста. — Потерпевшая права — милиция разберется.

— Ну что ж, — неохотно согласился «законник». — Адреса наши записаны, паспорта налицо...

— Налицо, налицо, — лейтенант даже не взглянул в его сторону. — Если понадобится, вас вызовут. А пока можете быть свободны.

— До свидания!

— До свиданья...

— Ну а вы пока останетесь у нас до полного выяснения, — сказал лейтенант, подождав, пока за ушедшими не закроется дверь. — Так что не обессудьте.

— Товарищ лейтенант, — чуть не плача, обратился к нему Игорь. — А как же папа? Вы хоть сообщите ему, что я нашелся!

— Сообщи, Алимджон, — поддержал Игоря сержант. — Пусть приедет.

— Это можно, — согласился лейтенант. — Телефон госпитальный у нас имеется. А ты, Ташпулат-ака, дорогой товарищ Усманов, сходи на базарчик, купи чего-нибудь.

— С удовольствием! — поднялся со своего табурета милиционер, разминая затекшие ноги. — Э-э... только как же они?

Он лукаво посмотрел на ребят.

— А они со мной посидят, — усмехнулся дежурный. — Ты камеры закрыл? Там у нас порядок?

— А как же, — успокоил его Усманов. — «Черный ворон» приедет, всех и отправим... Давай деньги! Пойду.

Сержант вышел.

Алимджон побарабанил пальцами по столу.

— Та-ак... и чем же мы должны заняться? А! — вспомнил он. — Позвонить в госпиталь! Сейчас... сейчас... где же у меня телефон?.. Тут нет... и тут нет... Наверное, у начальника.

Он протянул руку к сейфу, проверяя, закрыт ли он, а затем поднялся и, хромая, пошел к выходу из дежурки.

— Что с вами, товарищ лейтенант? — сочувственно поинтересовался Игорь. — Бандиты?

— Да нет, — лейтенант как-то странно дернул обожженной щекой. — Война! Я ведь тоже недавно из госпиталя. Из танкистов списали и направили сюда... на подкрепление, — невесело усмехнулся он. — Значит, так... вы посидите, а я скоро вернусь.

Оставшись одни, ребята переглянулись. Стоило им вскочить, открыть двери, и они оказались бы на свободе. Даже если бы седоусый Усманов поджидал их на улице, а лейтенант за дверью, они ушли бы, удрали. И никто ни за что не догнал бы их! Но куда и зачем бежать, если в этот миг, может быть, решается твоя судьба?

Лейтенант возвратился минут через десять. Довольная улыбка пробежала по его губам.

— Жди! — заговорщицки подмигнул он Игорю. — Скоро приедет!

И тут подросток сломался. Вся боль, обида, горечь, скопившиеся в нем за последние дни, прорвались наружу, и не было ни сил, ни желания сдерживать слезы.

— Ну что ты, Игорек, что ты, — припала к нему Марина, уже не думая о себе, не чувствуя ни своего разбитого лица, ни собственных слез.

Появившийся на пороге Усманов с завернутыми в платок лепешками и виноградом горестно покачал головой.

— Что такое? Опять беда?

— Это от радости, — тихо сказал лейтенант. — Пусть... для облегчения...

— Прямо Фархад и Ширин, — вздохнул Ташпулат-ака. — Отпустить их надо, Алимджон. Сейчас покушают — и пусть идут.

— Кого это отпускать? Куда отпускать? — неожиданно раздался строгий начальственный голос, и в дежурке появился невысокий, гладко выбритый капитан в аккуратно отутюженном обмундировании. — Этих? А кто они такие?

— Да так, — замылся лейтенант, видимо, зная нрав своего начальника, и попытался убрать со стола листки протоколов.

Однако капитан уже по-хозяйски прошел за перегородку и, усевшись за стол, потянул листки к себе.

— Так-с, — быстро пробежав глазами записи, процедил он. — Карманная кража... прихвачены на месте... А вы — отпустить! Хороши, ничего не скажешь.

— Да не виноваты они, я во всем разобрался, — сказал лейтенант. — Этот мальчик у нас был недавно, разыскивал отца. А тут трагическое стечение обстоятельств. Понимаете, Виталий Ефимович, под удар их подставили. Залетный какой-то по кличке Чугун. Я уже ориентировку на него в горотдел передал. Будем искать.

— Искать, — недовольно проскрипел капитан. — А где его найдешь? Может, он уже за пределами города! А дело на нас висеть будет — нераскрытое. Так что не дури, оформляй по всем правилам и — вперед!

— Да не виноваты мы, товарищ капитан! — взмолился Игорь. — Ну хотите, я и вам все расскажу? Все как было...

— Суду расскажешь! — Капитан презрительно взглянул на него. — И не товарищ я тебе, а гражданин. Гражданин начальник! Понятно?

Игорь кивнул. Марина снова заплакала.

Капитан аккуратно сложил в стопку листки протоколов.

— Ты, Закиров, здесь недавно работаешь, у тебя еще военные представления. А я всю жизнь в органах и знаю, что почем. Эти сиротки такого нашлапают, что только слушай!

— Да что же, вы мне не верите? — вспыхнул лейтенант, мысленно коря себя за то, что не отпустил ребят раньше. — Я во всем разобрался!

— Верю, верю, Закиров, — снисходительно успокоил его капитан. — Только этим бумажкам — тоже! Запомни это, Закиров. Протокол у нас главная вещь! По нему нас судят — и ответственность нашу, и старание. И чем больше задержаний, тем лучше. Значит, стоим на страже, значит, бдим! А ты — отпустить... Нельзя так. О-о, а это еще что? — неожиданно подтянулся он, глядя в окно. — Легковушка какая-то. Не иначе начальство...

Выскочив из-за стола, он прилежно расправил складки гимнастерки и застыл, явно приготовившись к рапорту.

Дверь отворилась. На пороге стоял высокий бледный полковник с двумя орденами Боевого Красного Знамени на груди.

— Па-а-апа-а! — отчаянно закричал Игорь. — Папа!

Вскочив со скамьи, он бросился к вошедшему и повис у него на плечах.

— Гарька... Игорешка... сынок, — шептал полковник, целуя мокрое и соленое от слез лицо сына. — Гарька, милый, нашелся!

Марина сидела, неестественно выпрямившись, глядя на отца и сына так, словно была не в силах поверить в чудо. Ташпулат-ака растроганно сморкался в платок. Лейтенант стоял возле барьера, побелевшими от напряжения пальцами вцепившись в кромку стола.

— Сы-ын, — сдавленно произнес полковник и, отстранив от себя Игоря на расстояние вытянутой руки, принялся его рассматривать. — Исхудал, износился... господи... Но главное — живой... Игорь!

Игорь нерешительно протянул руку и коснулся отцовского виска.

— А ты совсем седой.

Полковник смущенно хмыкнул, нервно дернул головой и, распрямившись, поднес руку к козырьку фуражки, представляясь присутствующим:

— Прошу извинить... Полковник Воронов.

Он вынул из кармана служебное удостоверение и протянул его старшему по званию — капитану.

— Спасибо за помощь, товарищи!

Капитан поджал губы и, возвращая удостоверение, указал на лейтенанта.

— Благодарите лейтенанта Закирова. Он тут у нас главный благодетель.

Что-то нехорошее послышалось в его тоне, и это насторожило полковника. Он выпустил из своей руки руку сына и выразительно уставился на капитана.

— Не понял...

— А чего понимать? — прищурился капитан. — Как ни прискорбно, но ваш сын вместе с этой девицей задержан за карманную кражу!

— Неправда! — закричал Игорь. — Не верь ему, папа! Не верь!

— Ну, как же... — Капитан заложил руки за спину и прошелся по комнате. — Есть свидетели, есть потерпевшая. Никуда от этого не денешься.

— Не верь, папа, не верь! — почти рыдал Игорь. — Все не так! Нам подкинули! Меня хотели сделать вором, а Марина спасла меня! Она все на себя приняла, чтобы я с тобой встретился. Мы ведь ехали к тебе! А тот гад... с опасной бритвой... Он нас грозился порезать! А потом украл кошелек и сунул его мне, чтобы я стал покорным... Но мы не брали! Марина его возвращала женщине, но на нее уже накинулись, и мы не успели. Поверь!

— Я верю тебе, сын, — сказал полковник. — Я знаю тебя.

Он тяжело опустился на скамью рядом с Мариной. Затем положил руку ей на плечо и долго вглядывался в немигающие молящие глаза.

— Спасибо, девочка, — он нежно погладил ее по голове. — Спасибо!

— Не за что, — беспamięтно прошептала Марина, не находя иных слов.

— Так что же будем делать, капитан? — после недолго молчания спросил полковник.

— Как что? — сдвинул брови начальник. — Закон есть закон. И не нам его нарушать.

— Но ведь, судя по всему, ребята не виноваты.

— Не могу знать. У меня протоколы, у меня показания. Я обязан дать им ход.

— Но если потерпевшая откажется от обвинения? Если она отзовет свое заявление?

— Пожалуйста. Пусть берет. Но тогда мы ее привлечем за ложные показания.

— Черт возьми, казуистика какая-то, — чертыхнулся полковник. — Но ведь это же подростки... дети еще. У вас-то самого дети есть?

— Есть, товарищ комдив. Я ведь тоже отец и все понимаю. Однако если моя дочь совершит нечто предосудительное, я ее лично, вот этой рукой... Так что не играйте на моих чувствах, не надо.

— Сейчас война, — Воронов подошел и встал перед капитаном, невольно глядя на него сверху вниз. — Идет борьба за жизнь и свободу, за счастье наших детей. Мы должны спасать их... любимыми способами, всеми средствами. Милосердие — вот что сейчас требуется от нас с вами. Им и так досталось за эти страшные месяцы. А вы что предлагаете? Губить!

— Я исполняю свой долг! — гордо выпрямился капитан и даже приподнялся на цыпочки.

Как большинство низкорослых людей, он физически не терпел всех, кто был выше его ростом, званием, положением. И этот самоуверенный орденосный полковник вызывал у него раздражение. Хотелось уколоть, уязвить, унижить его. Но, к сожалению, субординация не позволяла.

— Исполняю свой долг, — веско повторил он. — Как и вы свой — воинский. А потому попрошу не мешать правосудию.

— До правосудия еще не дошло, — вспыхнул Воронов. — И правосудие не в беззаконности! Я сейчас же отправлюсь в горком партии... в цека! И добьюсь справедливости! Но, не доходя до крайностей, прошу решить вопрос полюбовно. Освободите ребят. Под мою ответственность.

Капитан молчал.

— Виталий Ефимович, — заговорил Закиров. — Давайте решим. Ведь я больше чем уверен...

— Если был уверен, не надо было брать показания, — бросил ему капитан. — А вам, товарищ комдив, не стоит пугать меня горкомом. Если что, я до самого товарища Берии дойду!

Он благоговейно повернулся к портрету. Большая зеленая муха сползла в это время с левого глаза наркома, и всем показалось, что Лаврентий Павлович подмигнул своему капитану.

Полковник сжал кулаки. Вот такие, как этот, выбивали из него показания в тридцать девятом. Выбивали за Испанию, за Халхин-Гол... Спасибо генералу Жукову, который вступился, а затем забрал в свой округ. Где бы гнил сейчас комдив Воронов, если бы тогда победили костоломы? Да они не унялись и до сих пор. И те особисты, что держали под постоянным надзором его дивизию, и вот эти, мелкие тыловики, окопавшиеся здесь и ведущие ту же линию на измор и уничтожение. Чувствуя, как от подкатившей к горлу ненависти слабеет сердце, полковник, отчетливо выговаривая каждое слово, выпалил в лицо капитану:

— Ну что же, давай дойдем. Ты до Берии, а я до Сталина!

В его словах прозвучала такая вера в свою правоту, что капитан невольно скис.

«Не иначе как где-то наверху поддержку имеет», — подумал он и тут же уловил натренированным ухом чужой недобрый шепоток:

— ...Всего два месяца у нас служит, а сколько душ погубил. Плохой человек!

Капитан оглянулся на голос, и Ташпулат-ака твердо встретил его взгляд.

«Ладно! — мстительно решил капитан. — Мы с тобой разберемся. Мне плевать, что ты заслуженный нацкадр. И Закирова, мямлю, надо гнать поскорее. А полковник этот еще поплачет. Сегодня же в наркомат бумага уйдет!..»

— Что ж, — примирительно произнес он, стараясь не выказывать истинных чувств. — Ситуация сложная. И решим мы ее так... Вы, товарищ полковник, забираете сына. А девчонку забираю я. И можете быть уверены, что она во всем признается.

— Да, это вы умеете, — горько согласился комдив. — Только я за ней вернусь. И не один... Пойдем, сынок!

— Нет!

Игорь неотрывно смотрел на Марину, а она на него.

— Идем! Нельзя терять ни минуты.

— Нет! — Игорь помотал головой. — Я не могу. Это предательство. Она ни в чем не виновата!

— Игорь! — Марина нервно хрустнула пальцами. — Ты должен идти. Я прошу тебя! Я тебе верю!

Игорь рванулся к ней, но капитан решительно заступил ему дорогу.

— Не положено! — И, полуобернувшись к Закирову, приказал: — В камеру ее!

— Игорь! — закричала Марина. — Я верю вам! Верю! Вы вернетесь! Вернетесь! Только поскорее!

Верила ли она? Несомненно. Игорю, его отцу, лейтенанту Закирову, милому усатому Ташпулату-аке. Но сейчас пока оставалась во власти этого оскорбленного, взбешенного капитана, и никто не мог предсказать ее ближайшей судьбы.

— Ты иди, Игорь! Иди с папой! А я буду вас ждать. Я всегда буду тебя ждать! Что бы ни случилось, ты слышишь? Я вас всех никогда не забуду! Не за-бу-ду-у!

— Папа-а! Да что же это такое? — закричал Игорь и выбежал на улицу, вслед за отцом.

Роман Дмитриевич торопливо распахнул дверцу черной «эмки».

— Садись, сынок. Мы вернемся.

— ...Не за-бу-ду-у! — донеслось из незакрытой двери милиции.

Шофер нажал на газ. Машина тронулась. И пока она ползла, шла, летела по ташкентским извилистым улицам, все звенел в ушах Игоря, все крепчал, нарастая, этот горестный отчаянный крик...

Люк ГРЮВЕС

ПОХИЩЕНИЕ ЛАНДШАФТА

Люк Грювес (Liuk Griwesz) родился в 1953 г. в Кортрейке (Западная Фландрия). Окончил Лёвенский католический университет по специальности «филолог-германист». В 1976 г. переехал в Хасселт (Восточная Фландрия), где и живет по сей день. До 1995 г., почти 20 лет, работал в системе образования, преподавал нидерландский язык. Потом полностью посвятил себя литературе. Автор более трех десятков книг поэзии (некоторые были переведены и изданы на французском, испанском, немецком, норвежском языках и на языке африкаанс) и прозы. Дебютная книга стихов «Стихи пылесоса» («Stofzuigergedichten») вышла в свет в 1973 г. Первая книга прозы, в соавторстве с Эриком Верпале, «С глазу на глаз. Сиамский дневник» («Onder vier ogen. Siamees dagboek») была издана в 1992 г. Его стихи включены в три важнейшие антологии нидерландской поэзии (Йозефа Дело, Геррита Комрея и Илия Леонарда Пфейфера). Лауреат многих литературных премий.

Стихи Люка Грювеса трагичны и ироничны одновременно. Трагедия заставляет задаваться вопросами, а ирония позволяет выйти за рамки привычного видения и тем самым приблизиться к ответу. Или же задать новый вопрос, что, возможно, даже важнее. Это пробуждение поиска, движения в сторону открытия мира, а значит, в сторону самой жизни. У знаменитого фламандского поэта Хермана Де Конинка (1944—1997) есть высказывание о том, что хорошая поэзия скорее задает вопросы, чем на них отвечает. Мне кажется, это относится и к поэзии Грювеса.

Как говорит сам поэт, он пишет о хрупкости и недолговечности всего живого. Его герои — это негерои: люди, которым свойственны и слабость, и неустроенность, и, прежде всего, ранимость и бренность. Казалось бы, самые обычные люди. Но у Грювеса — и в этом его удивительный талант — они необычны в своей обычности. А если поэт и посмеивается порою над человеческой нелепостью, ограниченностью, то нет в его словах осуждения, но только печаль и сопереживание.

Предлагаемые вашему вниманию стихи взяты из последней книги Люка Грювеса «Колыбель» («Bakemat», 2018).

Анастасия АНДРЕЕВА

Виолетта

Когда-нибудь она уйдет из головы.
Сперва стряхнет лебяжьи покрывала,
так что в моей душе начнет кружиться пух,
потом рывком во мне откроет окна,

и там, в углу, ее одежда соскользнет.
Лишь шляпка будет все еще на высоте.
А дальше, в полдень, Виолетта упорхнет.
Помашет чем-нибудь воздушным на прощанье

и станет дальней и безмолвной точкой,
и крыльев взмах утратит всякий звук.
Всю следующую ночь ее не будет.
Была ли прежде она столь обнажена?

Ведь в этот раз осталась даже без себя.
Но простыни мои пока хранят
легчайший аромат ванили и фиалок.
И я боюсь, боюсь, что больше никогда...

Похищение ландшафта

Сперва тот старый дуб, что украшал пейзаж,
принадлежавший живописцам и поэтам, —
его вплоть до корней себе присвоил.
Потом почти оттаявшую пашню —
пока она из виду не пропала,

довольно долго всем принадлежала.
Теперь же было точно так, как раньше.
Виделся лимонно-желтый трактор
и канареечное солнце. Они мне
сразу приглянулись. Как жаль, что в голове

для них обоих не хватало места.
Но подвернулся подходящий склад,
ландшафт мой умещался там прелестно.
И я все похищал до той поры,
пока весь мир не стал моим. И даже ты.

Конкурс самоубийств

1.

Один знакомый мой уже три раза
себя пытался обезглавить. Сперва
ножом, потом бензопилой. Недавно
он, с гордо поднятою головой,

под Porsche бросился на Е-34.
Был снежный день, старанья кончились
ничем. Так он прославился, как тот,
кто не способен был себя угробить.

И вся деревня, до окраин дальних,
его превозносила до небес
за эту твердолобую возню
и полную профнепригодность к смерти.

2.

А были те, что не могли на самом деле:
сгнила веревка, выстрел был неловкий,
дом недостаточно высок, не прибыл поезд
в нужный срок. К тому же кто-нибудь любезный

сердцу был необычно мил, совсем не к месту.
А были те, кто просто не тренировался,
кто день за днем, за часом час мечтал лишь
об одном, о расставании сплошном,

и это самый лучший способ оставаться.
Они, как чокнутые, поцелуи в воздух шлют
тем, кто давно пропал из поля зрения,
настолько спутав с вечностью мгновение.

Одежда

Все, что я когда-либо носил:
вельветовые брюки, шерстяные кофты,
пальто и шляпы, галстуки, носки, —
потертый гардероб воспоминаний.

Так же как обувь, прежде всего тапки,
 которые рассчитаны на то,
 что, если к долгожительству стремишься,
 скорее будешь шаркать, чем бежать.

Я побывал и там, и тут. И всюду
 карманники уж были тут как тут.
 В каких нарядах только я не пропадал.
 Бывало даже, только я разденусь,

отдав себя в распоряжение ночи, и ухо
 наострю, чтобы не прозевать рассвет,
 то и не вспомню, что носил все время это.
 Но разве в сущности своей мы не наги?

Я знаю, нигде убежища нам не найти.
 И никакое небо не поможет. Под кожей
 собственной укрыться мы не можем,
 и думаем, одежда нас спасет.

О нет, убежища в помине нет.

Замысел

Сначала ничего она не замышляла.
 Мешали трели зябликов и соловьев,
 и чьи-то вздохи, и галдеж, и тарарам,
 и больше всего визг, впивающийся в уши,

который пуце тишины был одинок.
 И вот возник мотив. Напев, напуганный
 мелодией своей. Затем раздался чей-то
 кашель, а дальше молчаливость снегопадов.

Не сразу обошлось без фальши,
 не сразу вышло так, как надо, —
 лишь вокализ неловко робкий,

как муки первого свиданья.
 Но голос, обретая силу,
 поэзии смог силу дать.

Дева

Поглаживаю ласково живот, там
мой божок живет. Как он пинается
нещадно, ни толики ко мне любви.
Я не плохая, нет, и я о нем забочусь,
нужно сберечь его любой ценою,

следить, чтобы он вел себя спокойно
и ненароком не ушибся там, во мне.
Как с этим справиться? Не знаю.
И как потом такой ребенок сможет
спасти хотя бы одного, как обещал,

когда ему едва по силам из вульвы
выползти наружу, потом шлепок-другой
по попе нужен, чтоб с визгом доказал: живу.
Известно, он благословен, но маложизнен.
Сегодня, кстати, у меня отгул. Жара

ужасная. Я, с круглым животом и в летнем
платье, еще не зная ни греха, ни схваток,
сизжу, разнежась, в этом захолустье.
И мне сейчас уж точно не до родов.
Помада на губах, приспущены очки

на кончик носа, в ушах блестят веждицы
в ноль карат — мне бы сейчас на вечеринку.
Что здесь такого? Но, видишь ли,
он скоро явится, без приглашения.
И требовать начнет любви и молока.



Игорь КОРНИЕНКО

ДАВАЙ ВЗОРВЕМ ВСЬ ЭТОТ СВЕТ!
(Письма с вулкана)

Р о м а н *

Последние семь минут с Авророй

Через неделю после официального объявления о банкротстве и закрытии телекомпании сотовый Ивана Николаевича загорелся номером, обозначенным в телефонной книге как «рабоTV».

Офис-менеджер Олеся радостно объявила:

— Иван Николаевич, вы должны забрать свою коробку с бумагами сегодня, завтра я уйду с концами, а в компании поменяют замки. И вас тут разыскивает девушка, явно поэтесса, я пообещала, что сегодня к двенадцати вы будете. Так что она подойдет.

— Значит, подойду, — как можно веселей ответил Иван, давно смирившийся с участью безработного.

— Я включаю чайник, допьем уже это кофе директора наконец, не оставлять же чужакам, я за ним на другой конец города моталась.

— Тогда тем более приду, бегу уже.

Пунктуальность превыше всего, и ничто Ивану не помешает быть вовремя, ни соседка с красным ртом, ни автобус, курсирующий до города как попало, но согласно расписанию, ни лукавый с рогами.

И в час, когда стрелки часов указывают строго в небо, Иван открывает дверь бывшей редакции.

Приемную не узнать: среди стремянок, банок краски, эмульсии, перевернутых стульев и непонятной мебели, на единственной уцелевшей редакционной тумбочке — чайник, заляпанный зеленой краской, и банка кофе.

— Новая метла по-новому метет, — возникла Олеся в непривычном для нее наряде: коротких, слишком коротких шортах и майке с улыбающейся Мэрилин Монро, — тут будет агентство недвижимости очередное.

Она грустно вздохнула, поставила на тумбу две вымытые до блеска кружки.

— Вас, я слышала, в «Вечерней среде» ждут? — спросила и сама ответила: — Зарплата у них копеечная, лучше уж никак, чем так, — хихикнула.

* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2020, № 7, 8.



— Я пока отдохну, напишу, есть идея романа, не буду загадывать.

— Так не загадывайте, — снова хихикнула Олеся, — я вам, как всегда, ложку кофе, ложку сахара...

Бывшая офис-менеджер резко замолчала, с ложкой и банкой сахара, невесть откуда появившейся в руках. Иван подумал, не без перчинки испуга, что она вновь увидела за его спиной призрака, обернулся.

Девушка в белом сарафане легко могла бы сойти за призрака, если бы не живые с блеском черные глаза, здоровый румянец щек и легкий блеск розового бальзама на губах. В приемной запахло цветами.

Девушка-призрак улыбнулась.

— Я только передать, — протянула сверток в знакомой светло-коричневой плотной бумаге.

— А может, с нами выпьете кофе? — голос у Ивана взволнованно дребезжит. — Олеся за ним на другой конец города моталась.

— Да, у нас как раз три кружки во всем этом бедламе уцелели, — пришла на помощь бывшая сослуживица, — сейчас принесу.

Гостья поблагодарила мягким голосом, культурно отказалась:

— Давайте лучше подожду вас снаружи.

— Нет, нет, я все. — Залпом влил в себя кружку горячего кофе, желудок загорелся огнем, глаза слезами, Иван выдохнул: — Ух, я готов.

— Коробку не забудьте, Иван Николаевич, — вздохнула жалостливо Олеся, пожала плечами и незаметно подмигнула Ивану, — созвонимся.

Обнялись бывшие сотрудники бывшей компании. Иван с коробкой в руках, Олеся с кружкой кофе.

На улице незнакомка сказала:

— Скомканно вы так попрощались из-за меня, извините.

— Работа такая же скомканная была. Вы лучше положите сверток сверху на коробку, чтоб не мешал.

Она оценивающе рассмотрела ношу Ивана:

— А не тяжело? Я покурить хочу...

— Давайте бросайте, — подставил открытую коробку, наполовину забитую папками с рукописями стихов и канцелярскими безделушками.

— Это от мамы, презент вам, так она просила передать. — Сверток лег поверх бумаг. — Сказала, после вашей программы у нее вдвое увеличилась выручка и что детство про запас — самый лучший подарок. И что вы все поймете.

Прикурила, элегантно выдохнула дым в сторону, улыбнулась:

— Я Аврора, дочь «Ткани у Мани».

Иван кивал — заведенной игрушкой, песиком с головой на пружине, он и ощущал себя так необъяснимо покорно, глупо, воздушно...

Прикажет: прыгай! — он прыгнет. Лаять! — залает. Лежать! Ползти! Служить!

Аврора молчала, тогда Иван сказал:

— Богиня утренней зари, прекрасное имя.

Хихикнула девушка.

— Никакой романтики и никаких римских богинь. Отец назвал в честь крейсера «Аврора», — улыбалась открыто, притягательно, — мечта у него была всей жизни — увидеть «Аврору». Но...

— А меня на самом деле Игорем назвали родители. Только потом, когда открыли свидетельство о рождении... А там никакого Игоря и в помине. Так я стал Иваном.

— Шутите?

— Семейная легенда, честное пионерское. — Иван попытался отдать салют, коробка опасно подпрыгнула, Аврора поддержала одной рукой коробку, другой отдала салют: верю.

Забили куранты на площади, пробили двенадцать раз.

Иван с Авророй засмеялись в один голос.

— Кто-то отстаёт от жизни. — Аврора незаметно избавилась от бычка сигареты.

— А кто-то спешит, — сказал Иван. — Вы, надеюсь, не торопитесь?

Заминка повисла в солнечном полдне, эхо последнего боя часов ещё блуждало потерянно в подворотнях дворов, обреченно затихая.

— Так, городские часы отстают на семь минут, — сверилась с часами на левой руке Аврора, — значит, я могу свалить все на город, скажу, что живу по главным городским курантам, и тогда у нас есть семь минут.

Загорелось внутри Ивана, будто снова влил в себя горячий кофе.

— Семь минут — это же целая жизнь! — Он не скрывал удовольствия от такого решения девушки в белом.

А ведь она очень даже похожа на ту знакомую незнакомку с платформы восьмого пути.

— Значит, она твоя погибель. Твоя смерть, — так ясно прозвучал голос изнутри, что Иван обернулся, ожидая встретиться со своим внутренним «я» лицом к лицу. — Поздравляю, ты познакомился со своей Смертью.

За спиной июльское солнце слепит окнами пятиэтажек, лето в разгаре. А у него всего семь минут, уже шесть, чтобы...

— Чтобы стать ещё ближе к смерти!

— Что бы, — вслух и громко, — что бы вы сделали, если бы это были последние семь минут вашей жизни?

Вопрос Аврору несколько не удивил, не застал врасплох, ответила не задумываясь:

— Выкурила ещё одну сигарету.

Коротко и ясно. Ивана ответ обезоружил.

— Надо же, как вы легко с последними минутами жизни. Завидую. Я даже и не знаю, что бы я сделал.

— Делайте то, что первым приходит в голову.

— Хороший совет, только знала бы она, что происходит у тебя в голове, — вмешался голос, — давай, скажи ей, что ты сейчас думаешь, обрадуй девушку, назови её Смертью.

Первое, что пришло в голову Ивана, было:

— Признаюсь кому-нибудь в любви.

Радуга промелькнула в черных глазах Авроры, или это фантазия Ивана, девушка засмеялась, мягко, осторожно, невинно:

— Первому попавшемуся признаетесь?..

Коробка в руках подпрыгнула.

— Ну а что тут такого? Первому попавшемуся.



Аврора закурила:

— Давайте попробуем.

Время торопило шажками секундной стрелки.

Иван осмотрелся. На центральной площади ни души. Скамейки вокруг памятника Ленину заняло одно раскаленное солнце.

— У нас еще пять минут, — успокоила, — пять минут как целая жизнь.

«Нас» в ее голосе — прохладой на обожженное нутро.

Голос, похожий на материнский (или это голос Авроры?), шепчет: «Давай же, ну, смелей».

На циферблате отстающих на семь минут городских часов спешит невидимая секундная стрелка.

Минута жизни потрачена впустую. А со стороны дороги первый попавшийся прохожий, чумазый бомж, пьяно тащит ноги и мешок на веревке...

— Аврора, — Иван, чтобы совсем не потеряться в черноте ее глаз и не начать заикаться, смотрит на родинку над губой, — разрешите мне признаться вам. Открыть сердце. Душу. Зная вас всего-то пару минут, я вдруг впервые в жизни понял, что не хочу больше ничего от жизни! Достаточно вас. Вашего присутствия, улыбки, смеха, вашего голоса...

Взгляды встретились. Сигаретный дым застыл между ними прозрачным орнаментом, нежно-голубым узором, время остановилось, напрялось. Волнение росло, поднималось из недр вулкана к горлу под давлением воздушного чувства нереальности. Вкус кипящей магмы во рту... Иван испугался, вдруг Аврора увидит этот огненный ад, когда он произнесет следующее слово, поэтому продолжил, слегка приоткрывая губы:

— Мне кажется, это и называется любовью. С первого взгляда. С первого слова. С первой общей улыбки... Вздоха, смеха...

Аврора смотрела прищурившись, солнце светило ей в глаза, но она не отводила взгляд, лишь быстро моргала. Сигарета снова растворилась в воздухе вместе с дымом. Но время все еще стояло не шелохнувшись, облака повисли тяжелыми сугробами, ветер стих, две птицы — черные галочки на листе неба. Бомжа с мешком отстающее время чудесным образом отодвинуло на несколько минут назад.

Иван произнес то, что вернуло времени ход, оживило.

— Я люблю вас! — сказал мужчина с коробкой девушке в белом, и центральная площадь города выдохнула — сигналами машин на шоссе, спешащими, безразличными ко всему прохожими, забившими вновь курантами.

Двое подняли глаза на часы, считали удары. Часы пробили двенадцать.

— Вот те раз, — сказала Аврора.

— Это значит, что у нас есть еще семь минут, — твердо решил Иван.

Бомж появился, грозя черным прокопченным кулаком повелителю городского времени.

— Путина на вас нет! Сталина! Третий раз двенадцать отстукивают. Совсем одичали! Я до магазина сегодня когда-нибудь дойду?! — Загremели, поддакивая, пустые банки в мешке. — Обед скоро, трубы горят, а у этих все, как в Москве, через жопу!

Улыбнулись Аврора и Иван одинаковыми улыбками.

— Давайте я вас на автобус провожу, — предложила она и пошла, не дожидаясь ответа, к солнцу и автобусной остановке.

Иван догнал:

— Знаете, на какой маршрут мне?..

Улыбка в ответ:

— Мне ваша секретарь сказала, что вы из Кирпичного добираетесь.

Коробка подскакивала, подарок то и дело норовил выскочить.

— Не опоздаете? Семь минут?..

— Свалю все на куранты, Путина на них нет, — засмеялась.

Вулкан разбухал от нерешительности и неопределенности, сдавил легкие, стало трудно дышать, пот на висках обжег, все, что мог Иван, это молча идти следом за девушкой.

«Ты хоть замычи!» — приказал голос разума, Иван выдавил:

— Автобус один в час ходит. Совсем поселок забросили.

Змейка пота скатилась по правому виску за шиворот.

— Да, я пару раз была у вас там, в школе и в детском саду, с любительским театром.

Спасением брызнул фонтан огненных искр и вопросов:

— Так вы актриса?! А я, честно, так и подумал. И то, как вы на окна Дворца культуры поглядывали... У вас там театр? В ДК работаете? Почему тогда я вас раньше не встречал?

Подошли к пешеходному переходу, а когда переходили дорогу, Аврора легонько взяла его под локоть, заботливо, по-матерински.

— Ослепленные работой были. Я вас видела, не часто, но в театральном кафе мы как-то пересекались, помню, вы тогда заказали сто грамм водки и бутерброд с красной икрой.

Самое сильное чувство вулкана — ревность.

Иван ревновал к тому времени, когда мог бы с ней познакомиться, ревновал к упущенным возможностям, к прошлому. Злился на себя, и на то, что сейчас ничего не изменить, — злился.

Злость и ревность — вот чем извергся вулкан.

Она сейчас посадит его на автобус, уйдет на репетицию, а он уже ревнует ее к театру, труппе, к коллегам-актерам, к режиссеру, кто у них там режиссер? Мужчина? Женщина?..

К пьесе, что она играет, ревнует. К автору пьесы, черт бы его побрал!

— Давайте я напишу пьесу для вас, вашего театра, — предложил неуверенно.

Жара и внутреннее пекло лишили разума, испепелили мысли.

Словно ожидавшая этого предложения, Аврора ответила:

— Нам нужно минимум актеров и чтобы действие повторялось, как в «Дне сурка». «День сурка» знаете же фильм?

— Один из любимых, — соврал Иван с легкостью. Он смутно помнил подробности американской комедии, но помнил точно: история о неудачнике, лузере, застрявшем в одном дне и вынужденном, по воле рока, переживать этот заурядный день вновь и вновь.



Не ахти условия, но сейчас Иван был готов на всё, только бы эти последние семь минут длились и продлевались снова, и снова, и снова.

— И желательно к августу, чтобы начать репетировать. — Стеснительно опустила глаза, добавила: — Не подумайте, что это все ради пьесы.

На остановке только они вдвоем и солнце, беспощадное своей открытостью.

— Даже если и так, я радуюсь такой возможности, как раз нужно заполнить кучу свободного времени.

— А со стороны кажется, будто я все спланировала, эдакая манипуляторша в коротеньком сарафане. — Достала сигарету, но не прикурила.

— Мне это необходимо сейчас, чтобы мною манипулировали, да и не только сейчас, а вообще всегда... Мужчина без женщины, им манипулирующей, теряет свое предназначение. Мужское начало в нем истончается, он, как лодка без капитана, дрейфует, куда ветер и течение понесут. Так что манипулируйте мной, Аврора.

Аврора кивнула, закрыла собой солнце.

— Запоминайте. Восемь, девятьсот четырнадцать, девять, один, один, запоминаете?... Девяносто два, сорок.

Автобус вырулил к остановке, в тот же момент часы на городской площади начали бой.

— Восемь, девятьсот четырнадцать, девять, один, один, девяносто два, сорок, — повторил Иван, — запомнил.

Часы били. Автобус остановился напротив пары. Аврора тронула его за руку, поправила коробку:

— Похоже, мы застряли в этом полдне.

— Бесконечно-последние семь минут. — Иван попытался пожать её руку, получилось неуклюже, коробка мешала, Аврора взяла его правую ладонь холодными пальцами, сжала:

— Наш вечный полдень.

Он не успел ничего ответить. Она сказала:

— Поспешите, пока часы не добьют двенадцатый удар.

— А то что?..

— Наступит реальность.

Городские куранты ударили в десятый раз.

— Сегодня же начну писать и позвоню, как закончу, — забрался в салон Иван, — до встречи! — крикнул через плечо.

— До встречи.

Двенадцатый, Иван бросает коробку на сиденье, смотрит в окно, а за окном пустая остановка — и эхо последнего удара.

Чебуреки

«Любовь» — опасное слово. Стоит его впустить в себя, позволить вплестись в контекст мыслей — пиши пропало. Любовь спутает мысли, обесценит другие слова. Вынудит. Подчинит. Перепишет на свой лад: планы, привычный распорядок, желания, сны, мечты.

— Любовью сыт не будешь! — перерубила цепочку мыслей Тамара. — Чебуреки — вот это другое дело. А любовь? Оставьте сопливым малолеткам эту ахинею. Плавали, знаем.

На кухне, несмотря на день, горит свет. Красный плафон в форме сердца. В квартире преобладают два цвета — цвет крови и розовый цвет безрассудства, легкомыслия, непостоянства.

Коробка с рабочими бумагами и подарком — в прихожей, куда соседка затащила Ивана Николаевича буквально силой. Теперь он за кухонным столом перед кружкой дышащего горячим паром черного чая.

— Есть зеленый, — предложила Тамара и тут же, не давая вы-брать: — Но не мужской это чай, хоть убейте. Черный, чифир, это по-мужски. Это я понимаю. И чтобы кипятик и никаких разбавлений водой или, упаси боже, молоком.

Дуть на обжигающий напиток, догадался сосед, тоже не мужское за-нятие, использование блюда — позор и смерти подобный поступок.

Чебуреки шипят и надуваются на двух сковородах, утопленные в кипящем масле. Тамара набитой рукой переворачивает налитые жаром и соком солнечные половинки, не обращая внимания на щиплющие, обжи-гающие брызги.

— Ум съедите от моих чебурек, — хвастается.

На ней привычно яркий, в этот раз под радугу, халат и неизменная кровавая помада.

— От любви так не забалдеете, как от чебуречков по бабушкиному рецепту.

— Ага, — дует незаметно на чай Иван, — угу.

— Мать не умела готовить совсем, отец меня научил, и чебуреки по-этому я про себя отцовскими, папкиными называю. Ох, и любил же он их. Говорил: лучше всех деликатесов на свете — Шварц-чебуреки.

Любовь к чебурекам тоже любовь, и быть может, сильнее любой другой любви на земле — мысль растянула губы в улыбке. Иван спрятал улыбку в ладонь, кашлянул.

— Что, не верите? — отозвалась Тамара. — Сейчас убедитесь.

На маленький квадрат стола царственно, в самый центр, водружена глубокая тарелка с говорящими, шкворчащими чебуреками.

Соседка с придыханием прокомментировала:

— Не хлеб, чебурек — всему голова. И тесто, и мясо. Энергия и сила. Вы берите, Иван Николаич, не стесняйтесь. Сейчас ум съедите, только смотрите, чтоб сок не вытек.

Вилка с салфетками нет в поле зрения, не по-мужски, значит, огнен-ные полусолнца нужно есть руками и ни капли сока мимо рта.

Все верно — любовь должна прожигать насквозь, причинять боль, мучить, ранить... Пылающий жаром, истекающий соком, румяно-поджа-ристый чебурек — чем не символ любви?!

Тамара у плиты дирижирует «сырыми пирожками».

— Настоящие мужчины соблазняются отнюдь не женскими форма-ми, открою я секрет вам, Иван Николаич, а уж я в настоящих мужиках разбираюсь, как любая настоящая женщина, — обернулась, подмигнула соседу, вернулась к сковородкам. — Один путь ведет к сердцу мужчины,

и этот путь всем известен, а что соблазнит желудок лучше чебурека? Правильно, еще один чебурек, а лучше еще два чебурека.

Оглушительно засмеялась соседка, хрюкнула, всхлинула, закашляла.

Иван воспользовался ее замешательством, взял пирожок, подул, откусил. Сладкий запах мяса с приправами заставил откусить еще кусок, да побольше. Тут Тамара права, чебурек — объединение. Мужчина откусил, сок обжег небо и язык, вкус затмил боль, Иван прожевал, выдохнул:

— Уф. Действительно, ум съешь.

— Вот она, любовь, — подняла руки к потолку в благодарственном жесте небесам, — с первого взгляда, с первого раза, укуса любовь. А вы говорите... — Тамара фыркнула. — Любовь против моих чебуреков не устоит, проиграет битву.

Иван Николаевич жевал, искоса поглядывая на коробку в коридоре.

Любовь-чебурек, любовь, завернутая в плотную коричневую бумагу, прячущаяся в коробке любовь, любовь, играющая на сцене, ожидающая своего поезда на восьмом пути любовь...

На свете место всякой любви.

Внутренний вулкан — тоже проявление любви.

«Проявление любви» — словосочетание зажглось белым светом, обожгло сознание и внутренности чебуречным тестом.

— Про явление любви, — пробурчал, пережевывая мясо со словами.

— Что? Влюбились?..

Вопрос всколыхнул, вулканическим выбросом Ивана подбросило на стуле.

— О чем вы?! — пряча глаза в блюде с чебуреками, будто застали с личным.

— Влюбились, говорю, уже в мои чебуречки?

Щемящая тоска сломала веселое лицо Ивана, нахлынула жалостью к себе, и голос из кратера картаво подлил масла в огонь:

— Эх ты, по тебе даже и не скажешь, что влюблен и что счастливей всех на свете. Обычное среднестатистическое лицо, никакого внутренне-го сияния и сверкающей ауры. Брови домиком, глаза навылупку, лысина лишь блестит, и то — от лампочки.

Перечить голосу — неблагоприятное дело, и в чем-то он прав, чувства на дне, и даже ему самому порой сложно определить, что у него на лице, на уме, на сердце.

Нечитаемый, закрытый, мутный — это про него.

— Какой-то вы несговорчивый, Иван Николаич, — присела соседка за стол, со второй горой чебуреков. — Никак ум отъели?

Доел первый пирожок Иван, прожевал, запил горячим черным чаем, все по мужскому сценарию, специально для соседки с красным ртом, и властно, по-мужски пробасил:

— Съел ум и не подавился! Вам за такую вкуснятину памятник ставить надо!

Отмахнулась кухонным полотенцем хозяйка, еще ярче запылали губы и щеки.

— Да ну вас, скажете тоже. Хотя знаете, — понизила голос до уровня интима, зашептала, — был у меня мужчина, кавалер...

Постелила полотенце на колени, распрямляла, поглаживая, мечтательно рассказывала.

— Звали Наум, черноглазый, и волос черный, жесткий, как леска. Любил меня, значит, Наум, безумно, и ему единственному я позволяла так себя называть, — закатила глаза Тамара, выдохнула томно: — «Мой чебуречек», так втайне от всех звал он меня.

На кухне стало тихо, минута молчания — как дань той прошлой любви Тамары Шварц. Иван понимающе, соболезнуя, вздохнул, перевел взгляд от чебуреков к коробке, что так близко и так далеко в эти минуты. «Что ты вообще здесь делаешь?» — спросил себя.

Ответ пришел с противоположной стороны стола:

— Ничего не бывает просто так... Встречи мимоходом, сказанные невпопад слова, клички, оговорки... Мелочи жизни — из них и состоит жизнь.

Женщина взяла чебурек, откусила большой кусок, проглотила, всхлипнула, и оставшаяся половина исчезла в красной пропасти. Иван ожидал, что соседка смачно отрыгнет или подавится, но Тамара с легкой улыбкой сказала:

— Надо признать, что жизнь в прошлом была куда лучше сегодняшней жизни.

Все, что произнес Иван, это:

— Ого.

— Ого будет, если вы осилите хотя бы три чебурека, — парировала соседка, — не бойтесь, не потолстеете. Я вон всю жизнь на них, и, как видите, ни намек на ожирение. Подозревала, правда, даже, что у меня внутри живет кто-то, ест вместо меня все. Сколько рентгенов и УЗИ сделала, мама не горюй... И говорить не хочется.

Но Тамара продолжала, говорила:

— Думала, что сиамский близнец это во мне, снилось часто, что он как из фильма про Чужого. Выбирается из меня... Не он это, если точнее, а она, девочка. Еще одна Шварц.

Монотонный голос соседки усыпил, или разыгралась фантазия — не успел Иван откусить от второго чебурека кусочек, моргнул, а перед ним сидит уже огромный, до потолка, полумесяц — чебурек с красным ртом и подгоревшими, черными пузырями вместо глаз.

— Невероятно, но факт, — возмущается гигантский пирожок, брызжа маслом, — я ощущала близняшку в себе, как она ворочается, как ест вместо меня, испражняется как, ощущала. Эдакий монстр внутри. Вечная беременность, паразит. Врачи же не обнаруживали ничего, ни опухоли никакой, ни кисты, стали склонять меня провериться у психиатра, мол, это психическое, и лечить надо голову, а не сканировать брюшную полость.

Иван, не зная, как реагировать на исповедальный поток Чебурека-Тамары, откусил еще кусок.

— Но я-то знаю, что не дура никакая и на голову не больная. Решила тогда во что бы то ни стало избавиться от той, что внутри, своим способом. Развела марганцовку с водой, две трехлитровые банки, выпила в обнимку с тазиком, потом еще шесть литров через себя пропустила, развела еще — и на тринадцатом литре выплеснула из себя *это*.



Выпустила пар из раны-рта Чебурек-Тамара.

— Не за столом, конечно, все это будет сказано, но раз уж заговорили... Так вот, близнец, улитка без панциря, плюхнулась в таз и вдоха не сделала, тут же умерла. А меня как подменили: мысли, чувства, аппетит — все переменялось, и к чебурекам лет пять не притрагивалась, видеть их даже не могла — тошнило. От всего, что нравилось прежде, тошнило и рвало. От ромашек и Набокова, Ободзинского и «Красной Москвы», петрушки и молока... Поменялись вкусы, видение жизни, смысл жизни поменялся. Думаю, это и к лучшему, я стала самой собой. Мыслится мне, Иван Николаевич, что все живут с подобными близнецами-паразитами — и поэтому не своей жизнью, раздвоенной жизнью, половинчатой. И так умирают, не вкусив цвет, запах, вкус настоящей, своей жизни, понимаете же, о чем я?..

— Угу, — Иван доел второй чебурек.

— Так вот, надо избавляться от этих внутренних установок, паразитов. Выдавливает их из себя любыми способами, той же марганцовкой. Спросите, куда подевала близняшку? Думаете, схоронила? Нет, нет и еще раз нет, Иван Николаич, схоронила, да не в земле, схоронила для истории, чтобы было чем доказать свою историю с близнецом.

Чебурек-Тамара согнулась над столом, поднялась, оставив жирный след на подвесном потолке, чуть не сбила люстру, прошла в коридор, свернула в зал, исчезнув из поля зрения Ивана.

— Вот те на, — прошептал сосед, отхлебнул чай, отодвинув от себя подальше тарелку с чебуреками.

— Я заспиртовала свою паразитку, — появилась Тамара в человеческом облики, в радужном халате и еще более яркой помаде, с двухлитровой банкой в руках.

Кроваво-черное содержимое банки эспрессом вернуло в прошлое, в дом дяди Саввы Караула. Баночка с запахом вечности, с ее помощью призраки становились видимыми, нужно лишь знать, куда опростать банку...

Конец лета, впереди волнующий десятый класс, еще не взрослые, но уже не дети, и перед самым первым сентября известие — пожар на окраине поселка.

Юное сердце кольнуло — дядя Савва. Ярко в памяти, будто вчера, обещание не оставлять Радужа, самого настоящего живого призрака, одного, и Ваня бежит на другой конец поселка с баночкой черной мази, ее он стащил из бабушкиного шкафа и вернет назад на место, если не пригодится. А если пригодится... Тогда честно признается и расскажет о сыне-призраке дяди Караула.

Опасения оправдались. Почему-то всегда все самые нехорошие и страшные предположения Ивана оправдываются. Сбываются. Дом номер тринадцать сгорел наполовину. Цела калитка, в которую он вновь протиснулся с трудом, листья вишен желто-коричневые, но не от приближения осени, от пожара, больше не дождит и не капает сверху. Пахнет гарью, обжигает нос едким пеплом, воздух рябит копотью, и страшно входить в черный скелет прихожей и дальше в гостиную с проваленной крышей.

Причиной возгорания стал обогреватель, называемый дядей Саввой калорифером, Ваня видит: загорается очередная повешенная сушиться сырая тряпка, падает горящим факелом на пол, загораются старые доски, а дядя Караул спит в кресле, крепко спит, и огонь становится хозяином дома...

Уцелела комната Радужа, коробка с секретом, вот и обгорелая полоска желтой занавески, за ней — не тронутый красным петухом дверной проем, пустая кровать, простыни в кляксах сажи, на подушке глубокая вмятина, какая бывает, если долго лежать не двигаясь.

Табуретка у изголовья, тумбочка со склянками, мир призрака совсем не пострадал от пламени, лишь оплавились пластиковые бутылки и рамки фотографий. А на снимках семья: дядя Савва с женой и улыбающийся, еще видимый сын Радуж.

Вошел в полумрак комнаты Ваня, сел на табурет, осторожно, на краешек, не издавая ни звука, не дыша. Прислушался: останки дома агонизируют, цепляются за жизнь, трещат доски крыши, крошится кирпич стен...

— Радуж? — шепотом позвал мальчик на табурете. — Радуж, это Ваня, Иван, помнишь, я приходил по лету?..

Не отрывая взгляда от вмятины на подушке, не дожидаясь ответа, громче:

— Ты же здесь? С тобой ничего не случилось? Кажется, я слышу, как ты дышишь. Ты бы, может, подал мне какой знак, а то я чувствую себя придурком, чесслово, разговариваю с пустой кроватью.

Подождал, сосчитал про себя до десяти. В комнату пробрался луч солнца, осветил кусок цветастых обоев, залетела стрекоза, закружила под потолком у пустого, без лампочки, патрона, вот и все перемены.

— Обещал твоему папе, что не оставляю тебя одного, вот и пришел. Нельзя быть одному, ни человеку, ни... ну, ни призраку.

Иван говорил без остановки, рассказывал про лето, спрашивал о пожаре, а решившись, собравшись духом, спросил:

— Можно мне намазать тебя чудо-средством, чтобы убедиться, что ты тут?

Показалось, ямка на подушке изменила контур.

— Это значит — можно? Молчание — знак согласия. — Хихикнул, открутил крышку с баночки, запахло морем, Ваня встал. — Я чуть-чуть, всего кусочек. — Потянулась черная слеза к углублению в подушке...

— Ты что здесь делаешь? Тут нельзя находиться! Опасно! — испугал голос участкового за спиной.

— Ау, Иван Николаич, об чем задумались? — вернула звонким вопросом к чебурекам на кухню соседка Тамара. — Взгляните вот лучше.

Бабахнула банкой с близнецом об стол, нечто темное, похожее на перезревший огурец, покружилось в мутном бульоне и замертво опустилось на дно.

— Собственной персоной, — представила, — Людой назвала сестричку-паразитку, Люда-людоедка. Честно, мне когда тоскливо и одиночество горой давит, я с ней разговариваю. Как сейчас, ставлю на стол и разговариваю.

Чавкнула банка пластмассовой крышкой, забулькало содержимое пузырями...

— Во-во, а она так мне отвечает, — убрала под стол неразговорчивую собеседницу Тамара, — это на свет такая реакция, я ее в темноте держу, для сохранности, — объяснила, взяла чебурек, откусила.

— В мире столько необъяснимого, — искренне сказал Иван, — и оно совсем рядом, в обиходе, быту, сам сталкиваюсь и поражаюсь, жизнь полна чудес, надо только повнимательней присмотреться. Разуть глаза, как говорила моя бабушка.

— Ха, а у нас в семье говорили: возьми глаза в зубы, — женщина проглотила чебурек, хлопнула в ладоши: — Еще по кружке и чебуреку?..

— Ох, я наелся, спасибо, Тамара. Мне правда надо уже приступить к работе, заказ появился.

Снова хлопок в ладоши, оглушительно-пугающий.

— Что ж сразу не сказали-то, Иван Николаич, я бы вам настоячки налила, отметили бы это дело, заказ ваш. Эх вы...

Пожал плечами сосед:

— Да вот.

— Оставим, значит, на следующий раз, повод будет зайти, а то вы же без повода просто не зайдете. Ну, чебуреков с собой вам не дам, чтоб только у меня такой вкуснятиной объедались.

Улыбнулся Иван, сказал «договорились» и «спасибо», на прощанье заглянул под стол, жидкость в банке посветлела, огурец-близняшка покоился на дне.

Коробку обнял, прижал так, что хрустнуло в позвоночнике.

Тамара открыла дверь, пропустила соседа на лестничную площадку.

— А вам разве не бывает скучно, Иван Николаич? Одному не одиноко разве?

Иван отметил, что привык к кровавой помаде, странным вопросам и хлопкам в ладоши.

— Бывает, — встряхнул коробку, подумал о фигурах в темноте, девушке в белом и личном вулкане, — я научился с этим справляться.

— Держите кого-то в банке, в темноте?.. Чебуреки точно ведь не стряпаете?..

Улыбка была ответом.

Уже в своей маленькой прихожей, все еще обнимая коробку, вернулся в последний день пятнадцатого лета. Вспомнил, как отчитал участковый, устроив лекцию по технике безопасности, как нехотя выбрался из сгоревшего дома дяди Саввы, а оглянувшись, увидел, что успевшая упасть капля повисла в воздухе черной кляксой, потекла слезой по невидимой поверхности (щеке?) на подушку...

— Радуж! — крикнул Ваня. — Я вернусь!

Участковый потянул за руку.

— Ага, во сне, — проворчал, — и в мечтах.

Утром первого сентября дом сровняли с землей. Строгий милиционер оказался прав, с Радужем Иван встретился этой же ночью во сне.

Сдержанное обещание

(Вместо дополнения)

Канкан, или Задача со знаком бесконечности

Пьеса

ДАНО:

Он и Она — влюбленная пара лет тридцати.

Глашатай — сосед сверху. Его не видно, слышен лишь голос — прокуренный, с хрипотцой. Во время разговора с Глашатаем в дверях спальни появляется длинное лезвие косы на деревянном черенке. (Глашатай по желанию режиссера может быть виден зрителю, тогда он должен выглядеть как обычный сосед-пенсионер в спортивном трико и домашних тапочках, с косой, как у карикатурной Смерти.)

Голос за дверью.

Голос матери.

УСЛОВИЕ:

7:58

Спальная комната. Кровать, зеркала. На прикроватной тумбе — подсвечник, графин с водой, пепельница, электронные часы — прямоугольная массивная коробка с большим циферблатом, на котором красным горят цифры. В открытом окне синий вечер. Огни. Звезды. Полная луна. На подоконнике клетка с канарейкой. И старый музыкальный центр, в котором играет пластинка. Занавески плавно раскачивает теплый ветер. Он, в распахнутом халате, курит у окна. Она, в легком пеньюаре, полулежа на белых простынях, курит через мундштук.

Он. Хочу. Хочу, чтобы это повторялось снова и снова. И снова... День за днем. Изю дня в день. Бесконечно. (*Пускает кольцо дыма.*) Все отдам. (*Кольцо.*) Самое главное. (*Еще одно кольцо.*) Самое важное отдам. (*Еще кольцо.*) Только задержаться в этом мгновении вечности с тобой.

Она (*смеется*). Уточни, в каком именно мгновении? Вот прямо в этом? (*Показывает на электронный циферблат часов.*) 7:59 на часах?.. Или, может, на пять минут раньше, когда был в постели?

Он. Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!

Она. Берегись своих желаний. В такие моменты дьявол рядом. После этих слов же Мефистофель по уговору должен забрать душу Фауста в ад? (*Изящно играя мундштуком в пальцах вытянутой руки, она громко, с выражением читает строки из «Фауста» Гете.*)





Едва я миг отдельный возвеличу,
Вскричав: «Мгновение, повремени!» —
Все кончено, и я твоя добыча,
И мне спасенья нет из западни.
Тогда вступает в силу наша сделка,
Тогда ты волен, — я закабален.
Тогда пусть станет часовая стрелка,
По мне раздастся похоронный звон.

Звонит неожиданно резко и громко будильник. На часах 8:00. Она вскрикивает, не замечает, как из мундштука выскакивает сигарета. Прячется с головой под простыню. Ногой сбивает часы с тумбочки. Часы падают, останавливаются. Пластинка неприятно взвизгивает, замолкает. Под окном бабахает салют.

Он (*кричит и бросается на постель*). Сигарета! Черт!

Подушка вспыхивает, но он успевает вылить на нее графин воды.

Она (*испуганно появляется из укрытия*). Мы уже в аду? Мы что, горим?!

Снова раздается трель, Она вскрикивает. В этот раз звенит дверной звонок. Яростно, тревожно.

Он (*запахиваясь в халат, недовольно ворчит*). Безумие какое-то. Я всего лишь попросил у неба мгновение счастья.

Она (*демонстративно затыкая нос*). Паленым мясом пахнет, не замечаешь?..

Он исчезает за дверью в коридоре. Слышно, как открывается входная дверь. Гостя не видно. Слышен только голос. В дверь спальни во время разговора периодически заглядывает лезвие косы. Она не замечает этого. Прибирается на кровати, выглядывает в окно, играет с канарейкой...

Глашатай. Я ваш сосед. Сверху. Глашатай. Фамилия такая. До вас не могли дозвониться. Это из больницы. У меня плохие новости. Ваша мать. Вы понимаете, о чем я?! Ее сердце. У нее ведь было больное сердце, поэтому она была в больнице?.. Сердце остановилось. Ровно в восемь ноль-ноль.

Он (*едва слышно*). Нет. Невозможно.

Глашатай. Время берет свое. Небо забирает самых любимых. Самое главное. Самое важное.

Он (*громко*). Это какая-то ошибка!

Глашатай. Как пожелаете. Глашатай моя фамилия. Я над вами живу. Сердце вашей матушки остановилось в восемь ноль-ноль, вам звонили, не дозвонились, позвонили мне, сообщили, чтобы я сообщил. Вот я и сообщаю. Ровно в восемь ноль-ноль сердце вашей матери остановилось. Вам звонили из больницы, не смогли дозвониться, дозвонились до меня, попросили спуститься и передать вам, что сегодня ровно в восемь...

Он (*кричит*). Хватит!

Слышно, как Глашатай повторяет одно и то же, как заведенный, пока не хлопает дверь. В спальню вбегает Он, зажимая голову руками.

Он (*кричит*). Стоп! Стоп! Назад! Хочу все назад! Хочу!..

Она поднимает часы. Показывает ему. На часах застыла красным перевернутая восьмерка: ∞. Пластинка начинает играть сначала.
Свет гаснет.

РЕШЕНИЕ:

Первый способ

7:58

Та же комната, та же мизансцена.

Он. Хочу. Хочу, чтобы это повторялось снова и снова. И снова... День за днем. Изю дня в день. Бесконечно. (*Пускает кольцо дыма.*) Все отдам. (*Кольцо.*) Самое главное. (*Еще одно кольцо.*) Самое важное отдам. (*Еще кольцо.*) Только задержаться в этом мгновении вечности с тобой.

Он резко замолкает. Тушит нервно сигарету в пепельнице. Смотрит на нее. По сторонам. Смотрит в окно. Хлопает себя по голому телу.
Трогает за голову...

Он. Что это?..

Она. Ты сейчас попросишь мгновенье остановиться?..

Он. А ты скажешь, чтобы я остерегался таких желаний, потому что дьявол рядом, и прочитаешь отрывок из Фауста?..

Она (*испуганно*). Точно.

Он. Точно. Это ведь уже было?!

Он и Она (*вместе, почти кричат*). Сейчас зазвенит будильник!

Будильник на тумбочке звонит. Она вскрикивает, роняет мундштук с сигаретой, а когда прячется под простыню, сбивает ногой часы. Музыкальный центр замолкает. За окном раздается взрыв фейерверка.

Он. Сигарета! Черт!

Включается пожарная сирена. Он хватается графин с водой и выливает весь на загоревшуюся подушку.

Она (*из-под простыни*). Мы точно в аду! Это все с нами уже было! Было (*всхлипывает*) несколько минут назад. Боже.

Он (*ставит графин на тумбу*). Бред!

Громко, истерично трещит дверной звонок.

Она (*выбираясь из постели*). Не будем открывать. Пусть хоть что-то пойдет не так.

Он (*запахивая халат*). Нет. Надо открыть. Вдруг что-то изменилось, и мама жива.

Она (*слезливо*). Она, может, и не умерала?! Это может быть ошибка, розыгрыш?..

Он (*выходя из спальни*). Скорей включи мой телефон.

Слышно, как открывается входная дверь. В спальню заглядывает лезвие косы. Она находит телефон под кроватью.

Глашатай. Я ваш сосед. Сверху. Глашатай. Фамилия такая. До вас не могли дозвониться.

Он (*громко, раздраженно*). Все понятно. Говорите конкретно. Что-то с матерью?!

Глашатай. Ваша мать... Ее сердце... Сердце остановилось. Ровно в восемь ноль-ноль.

Громким выстрелом захлопывается дверь. Он вбегает в спальню.

Он. Мой телефон! Нашла?..

Она (*протягивает ему сотовый*). Восемь пропущенных вызовов.

Он (*забирает телефон*). Черт! Черт! Черт!

Она протягивает ему электронные часы. На часах перевернутая восьмерка: ∞.

Она. Это бесконечность.

Он. Мама. Я не сказал ей самого главного... Нет. Это преступление.

Она (*замахиваясь на него часами*). Это ты преступник! Ты во всем виноват! Ты со своими желаниями!

Он (*пытается ее обнять*). Но, но... Птичка. Мы все исправим. Я все исправлю.

Она поддается. Они обнимаются.

Он. Безвыходных ситуаций не бывает.

Она (*роняет часы на пол*). Получается, мы никогда не умрем?

Скрежет пластинки, и музыка играет снова. Сначала. Все сначала. Свет гаснет.

Второй способ

7:58

Та же комната, та же мизансцена.

Он (*выбрасывая сигарету в окно*). Так, у нас времени в обрез. Пять минут, может, чуть больше.

Она (*зло*). Давай пожелай еще раз, чтобы это мгновение продолжалось вечно.

Он. Я хотел как лучше... Я пожертвовал всем.

Она (*затягиваясь сигаретой*). Всем — это ты про мать?!

Он (*тихо, еле слышно*). Давай лучше думать, как из этого выбраться.

И неожиданно резко, в один прыжок подсакивает к ней, хватая, встряхивает, кричит в лицо.

Он. Да, мать! Мать!

Она (*не замечая, как сигарета выскакивает из мундштука, визжит*). Прекрати! Ты делаешь мне больно!

Звонит будильник. 8:00. Музыкальный центр не играет.

Он (*отпуская ее*). Прости, прости... Мы, мы не должны так себя вести.

Она (*вскакивает на кровати, кричит*). Ай! Меня что-то укусило! Ужалило!

Поднимает подол пеньюара, демонстрируя ногу с красным ожогом.

Он (*целуя ожог*). Сигарета.

Будильник вновь начинает звонить. Она стряхивает с постели сигарету с мундштуком. Он отключает звонок будильника.

Он. Часы? Встали, что ли?..

За окном взрывается фейерверк.

Она. Скажи, что это не по-настоящему все. Что мы спим. Скажи.

Он (*задумчиво*). Мы можем на это влиять. Значит, сможем и выбраться...

Она. Ты о чем?..

Он. Ожог. Если бы не он, загорелась бы подушка и включилась сигна...

Звонок в дверь.

Она (*подсакивает к нему, обнимает*). Не открывай! В этот раз не откроем ему. Давай. Посмотрим, что будет.

Он (*кивает, соглашаясь, целует в переносицу*). Любовь все побеждает.

Звонок чередуется с громким стуком в дверь. Слышны обрывки слов
Глашатая.

Глашатай. Самое... самое главное... из больницы... ваша мать... у нее ведь было... сердце... восемь ноль-ноль.

Он. Я не могу позволить этому случиться.

Она. Думаешь, ее можно спасти?..

Глашатай. ...Время... небо забирает... самое... остановилось... ноль-ноль... матери...

Он (*орет*). Заткнись ты уже, наконец! Заткнись!

Последний стук — и тишина, слышны звуки улицы — сигналы машин, шелест листьев. Канарейка чирикает в клетке.

Она. Ожог. Ты сказал: ожог... Получается, что мы смертны! Так и умрем, проживая одно и то же?!

Он. Не умрем. Подожди. (*Размыкая объятия.*) Черт, телефон ты включила?

Она. В тот раз я включала.

Он. В тот раз?

Она. Да, в прошлый раз я включила твой телефон. Восемь пропущенных звонков.

Он. Черт. А где он сейчас?

Она. Под кроватью тогда был.

Он (*залезая под кровать*). Есть.

Слышна музыка включившегося телефона.

Он (*из-под кровати*). Восемь. Чертова восьмерка.

Она берет в руки часы. На часах ∞. Пластинка оживает. Скрежет иглы, и музыка играет вновь.

Она (*закрывает лицо руками, читает сквозь всхлипывания*).

Едва я миг отдельный возвеличу,
Вскричав: «Мгновение, повремени!» —
Все кончено, и я твоя добыча,
И мне спасенья нет из западни.

Он (*все так же из-под кровати*). Мама, ответь.

Свет гаснет. В темноте слышен металлический голос: «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети».

Третий способ

7:58

Та же комната, та же мизансцена.

Он (*выбрасывая сигарету в окно*). Ожог. Покажи ногу.

Она (*вытаскивает из мундштука сигарету, тушит в пепельнице*). Сейчас. (*Встает рядом с ним. Оголяет ногу. Ожог на месте.*) Едва заметный, правда.

Он. Так, понятно.

Завязывает халат, забирается под кровать.

Она. Что? Что понятно?

Из-под кровати слышны позывные «Нокии».

Он. Что выход есть.

Он поднимается, прижимая телефон к уху. Часы на тумбочке показывают 8:00. Раздается робкий звонок. Она выключает будильник.

Он (раздраженно). Да что у них там со связью?! Мама никогда не выключает телефон! Никогда!

Пластинка останавливается.

Она. Может быть, тебе пожелать, чтобы ничего этого не было?.. А?.. Пожелать, чтобы мы никогда не познакомились? Может, это хоть как-нибудь изменит...

Он не слушает ее. Подходит к клетке. Птичка мечется. Открывает дверцу. Канарейка не хочет вылетать на волю. Тогда он засовывает руку в клетку, ловит птицу и вышвыривает ее в окно. Канарейка исчезает в темном небе, тут же небо окрашивают разноцветные брызги салюта.

Она. Зачем? Это нам как-то поможет?

Он (поворачивается к ней). Посмотрим. Будем надеяться...

Она. А давай просто возьмем и уйдем.

Он (набирая номер телефона). Нет. Я думал об этом. И куда мы сможем за пять минут дойти? Спустимся, выйдем во двор — и что потом? Через пару минут снова окажемся здесь.

Она. Тогда и канарейка, твою мать, будет в клетке через...

Звонок в дверь.

Он (подносит сотовый к уху). Регистратура. Алло?! Мне надо узнать о состоянии пациента. Палата 17. Да, кардиология. Все верно. Что?..

Звонки и стук в дверь становятся настойчивее. Он отходит к окну, зажимает ухо ладонью, кричит.

Он (в телефон). Я вас не расслышал! Что? Повторите.

Она берет с тумбочки электронные часы, выходит из спальни. Слышно, как щелкает замок и открывается дверь. Голос Глашатая обрывается громким ударом. Возня, удары, стоны...

Он (убирая в сторону телефон). Солнце! Птичка! Что там?
Глашатай (кричит). Кто-нибудь! Помогите!

Глухие удары. Захлебывающийся кашель.



Она (*едва слышно, задыхаясь*). Попробуй (*удар*) еще только (*удар*) сюда (*удар*) прийти (*удар*), ублюдок. Попробуй только снова...

Он выбегает из спальни. На всю громкость начинает играть музыка.

Свет гаснет.

Четвертый способ

7:58

Та же комната, та же мизансцена.

Она (*садится на край кровати, мундштук осторожно пристраивает на углу тумбы*). Руки. Посмотри на мои руки. (*Протягивает руки к мужчине.*)

Он (*тушит сигарету в пепельнице, садится перед ней на колени*). Птичка моя.

Берет ее руки в свои, костяшки ее пальцев покрыты ссадинами.

Он. Что ты там наделала?

Она. Я видела сон. Это было во сне, не взаправду...

Он целует ее каждый пальчик, каждую ранку.

Она (*плачет*). Я не могла это... Неправда. Не могла... Это сон...
Ад...

Он (*целует*). Нет. Это в другой реальности, в другом измерении. В ином. Это иное время.

Она (*вынимая свои руки из его ладоней, встает с кровати*). Птичка. Птичка в клетке.

Он (*поднимается следом за ней*). Что? Канарейка?

Она (*подходит к клетке*). Мы тоже как эта птичка. В клетке. Мы не выберемся. Смотри, клетка не заперта, а птичка...

Он (*обнимая ее сзади*). А птичка?..

Он и Она молча смотрят на мертвую канарейку. Звонит будильник.

Она (*кричит, стараясь перекричать трель будильника*). Но почему?! Почему тогда эти чертовы часы идут, звонят?! Птичка мертва, а часы целы и невредимы?! Почему?!

Пластинка останавливается. Она срывает ее и разбивает об пол.

Она. И музыка одна и та же! (*Хватает часы и разбивает следом.*) И птичка. (*Толкает клетку за окно.*) Кто следующий?..

Он (*хлопает в ладоши*). Bravo.

Она. Может, мне следом за птичкой в окно сигануть?!

За окном распускаются цветы салюта.



Он (*улыбаясь*). Давай сначала решим с мамой.

Она. С мамой? Ах с мамой... Почему тогда ты не пожелал навечно остаться с ней? А?!

Он. Что ты опять начинаешь...

Она. А то, что мы здесь застряли, в этом аду. Маме ты уже не можешь. Помоги нам!

Он (*громко*). Она должна жить! И будет! Если мы правильно все сделаем. Решим. Выберемся мы и мама...

В дверь звонят.

Голос за дверью. Полиция. Откройте.

Он (*делая ей знак — пальцем к губам*). Тсс...

Она (*шепотом*). Это тот же голос. Никакая ни полиция. Это Глашатай.

Голос за дверью. Соседи жалуются на шум из вашей квартиры.

Он (*заглядывает под кровать, находит телефон*). Что-то поменялось...

Голос за дверью. Тут для вас еще сообщение.

Он (*набирая номер*). Давай же, мама, ответь, молю.

Она. В аду все не без греха, ведь так?..

Он (*в трубку*). Алло! Мама! Мамочка!

Голос за дверью. Вам просили передать, что сегодня в восемь ноль-ноль...

Она. Здесь все в чем-то виноваты. Все преступники. Это неопровержимо. В аду все одинаковы.

Он (*кричит*). Мама, это ты?! Плохо слышно?! Але! Ма?!

Голос за дверью. Вам звонили...

Она. Ад — это то, что не исправить...

Он. Мама! Алло!

Голоса сливаются в один гул, который перерастает в вой сирены воздушной тревоги. Свет гаснет. В темноте еще долго звучит сирена вперемешку с человеческими голосами.

Пятый способ

7:58

Та же комната, та же мизансцена. Он и Она молча курят. На часах сменились цифры: 7:59.

Она. Выключи будильник.

Он подходит к тумбочке. Тушит сигарету в пепельнице, тянется к часам.

Она. Хотя нет. Не надо. Пусть все будет, как будет. Черт с ним. Иди ко мне.

Отдает ему мундштук. Распахивает перед ним постель.

Она. Ложись. Давай просто положим. Не думая ни о чем. Обними меня.

Он забирается к ней, и Она укрывает их с головой.

Она. Сильней прижми. Раздави.

Он. Мы найдем ответ. Найдем решение. Выход...

Она. Тсс. Ни слова больше. Поцелуй, и давай так уснем. А когда проснемся... Когда проснемся, свежие и новые, то без труда сможем найти выход. Из ада ведь тоже есть способ выбраться. Всякие Орфеи, вспомни...

Он. Тсс...

Она. Крепче...

Звонит будильник. Замолкает музыка. Гремят фейерверки за окном. Из-под простыни не доносится ни звука, одно спокойное дыхание — волной белой ткани... Звонят в дверь, стучат. Кричат. В спальне все без изменений. Лишь дыхание стало тише, спокойней... Словно влюбленные исчезли под простыней. Ушли в иной мир. Мир без тревожных новостей, звонков... Преступлений... На часах — знак бесконечности, и пластинка вновь заиграла. Свет гаснет.

Шестой способ

7:58

Та же комната, та же мизансцена.

Он (*тушит сигарету*). Мне приснилось, что мы умерли. Сгорели. У тебя сигарета выпала из мундштука, похоже, так. А мы спали в объятьях друг друга, и пламя... Как-то очень быстро огонь стал нами. Завыла пожарная сирена... Мы... Я видел, как сосед сверху... Тот, который...

Она. Глашатай.

Он. Да, Глашатай, он был с пожарными и с полицией. Может, он их и вызвал, не знаю.

Она (*поперхнулась дымом, кашляет, обмахиваясь*). Ты хочешь сказать, что мы здесь застряли, а иначе бы проснулись мертвыми?..

Он. Я хочу сказать. Если мы не погибли, значит, мы для чего-то еще нужны. Верно?.. Поэтому мы тут. И мы живы... И нам надо просто...

Она. А если мы все-таки не живы?.. Если сгорели в этой постели в обнимку? А это и есть тот свет и наш ад? А? Ты так не думаешь?..

Он. Нет. То есть... Не думаю.

Он нажимает на кнопку будильника.

Она. Это случилось в восемь ноль-ноль ровно? Ведь так?

Он (*пожимает плечами, кутаясь в халат*). Так, наверное. Судя по всем этим повторениям... Знакам...

Она. Мы занимались любовью, играла эта долбаная музыка, я помню, помню, как курила и как мы снова...

На часах ∞, пластинка больше не играет. В клетке напевает канарейка.

Она. Мы снова занялись любовью, а потом ты курил у окна и пожелал, чтобы...

Взрыв салюта за окном. Она только сейчас замечает, что на руках нет и следа от ран. Показывает ему руки.

Она. И ожога нет. Пропал.

Он (*берет ее ладони*). Время. Здесь что-то со временем не так... По-другому... Другое время...

Она. Нам, наверное, надо заново повторить в точности тот момент. Да, точно. Давай, скажи, как ты хочешь, чтобы этот момент повторялся снова и снова... День за днем, изо дня в день...

Он. Да, да, все отдам, самое важное, самое главное, только... Только задержаться в этом мгновении вечности с тобой.

Она (*одобрительно кивая*). В каком именно мгновении? Вот прямо в этом?

Показывает на электронный циферблат. Красным стоп-сигналом на часах знак бесконечности: ∞.

Он (*едва слышно*). Остановись, мгновенье...

Она. Едва я миг отдельный возвеличу...

Звонок в дверь.

Он. Нет, это не решение, но мы что-то сделали правильно...

Еще звонок.

Она. Я пойду открою. Так будет правильно.

Накидывает на пеньюар халат, подвязывается, выходит.

Он. Я с тобой.

В пустой спальне засвистела канарейка, пластинка беззвучно, медленно начала вращаться.

Звук открываемой двери.

Глашатай. Я ваш сосед. Сверху. Глашатай. Фамилия такая. Вы вдвоем... Вот и хорошо. Двое сильнее, чем один. И любовь вдвое крепче. А она творит чудеса, любовь эта... (*Смеется.*)

В спальню из двери заглядывает длинное лезвие косы. Звучит тихая музыка. Свет гаснет.

Седьмой способ

7:58

Та же комната, та же мизансцена.

Она (*выпуская струйку табачного дыма*). А мне снилась твоя мама.

Он улыбается, кивает в ожидании продолжения.

Она. Почему ты ни разу не сказал, что мы так похожи?..

Он (*пожимает плечами*). Она заболела, и я не хотел... Не знал как...

Она. Боялся, что не понравлюсь ей или что будет ревновать?..

Он. Даже не знаю. Я думал, вот она поправится — и я вас познакомлю. Большое сердце все-таки...

Она (*пуская кольцо дыма в его сторону*). Расслабься. Я понравилась твоей маме.

Он, теперь уже недоумевая, кивает.

Она. Я пришла к ней в больницу, принесла цветы. Ей нравятся ромашки, она терпеть не может розы. Сказала, что будет рада такой невестке. Я приготовила бульон по бабушкиному рецепту, с травами, так вот, твоя мама...

Он (*перебивая*). Да, да, я до сих пор не знаю, что она добавляет в супы, но...

Она. Женишься, скажу...

Будильник зазвонил вовремя.

Он (*не обращая на звонок внимания*). Мы же поклялись... Да хоть сейчас.

Она (*вытаскивает сигарету из мундштука, тушит в пепельнице*). Свадьба в аду. (*Смеется.*) Зато не как у всех.

Он (*тушит сигарету*). Плюсы во всем, даже в минусах.

Она. И в аду есть свои плюсы.

Они смеются, Он садится рядом, обнимает ее. За окном небо окрашивается разноцветными лентами фейерверка.

Она. Да, мама просила тебе напомнить про ваш последний салют.

В спальне стало тихо. Остались два дыхания.

Он. Наш последний салют?..

Она. Вспоминай давай. Это же не просто так... Она для чего-то это сказала. Мама хотела, чтобы ты вспомнил.

Он. Я помню... Было это уже в старших классах. Отец еще был живой... Мы ходили смотреть на новогодний салют в новогоднюю ночь. Да,

точно. Все так и было. Это был последний салют, который мы смотрели вместе. Это был последний раз, когда все мы были вместе... Потом все как-то распалось...

Она. Та-а-ак... И почему, ты думаешь, мама захотела, чтобы ты это вспомнил?..

Он (*пожимая плечами*). У меня осталась свеча... Бенгальский огонь. Он никак не хотел зажигаться ни на улице, ни в доме...

Она. И?..

Он. Мама тогда сказала, чтобы оставил его, этот огонь, на будущее. Чтобы когда будет темно и не будет выхода, я зажег его...

Они смотрят друг на друга. Друг в друга. В дверь звонят.

Он. Получается, мама хотела, чтобы я нашел...

Она (*вставая*). Ищи огонь. Я открою и скажу, что все хорошо и мы справимся...

Он. Огонь. Сейчас, сейчас вспомню, он у меня где-то здесь... Столько лет прошло.

Она уходит, открывает дверь, доносятся неясные звуки разговора. В дверном проеме появляется лезвие косы. Он, в распахнутом халате, мечется по спальне. Приносит на кровать, из ниоткуда, коробку за коробкой. Из коробок достает: кубик Рубика, недоделанные фигуры из конструктора, модель дельтаплана из фанеры, теннисную ракетку, тюбики с красками, акварельные рисунки, кубки...

Он (*бубнит*). Не то. Не то... Где же?..

По полу поскакал яркий красный мяч, выросла пирамида из старых журналов и книг, мотоциклетный шлем покатился... Игла черкнула по пластинке. С первыми звуками музыки свет начал гаснуть.

Он. Огонь где-то здесь, я помню...

Свет гаснет.

ОТВЕТ:

7:58

Та же комната, та же мизансцена.

Он (*с сигаретой, зажатой в зубах, бросается под кровать*). Птичка! Бенгальский огонь — в коробке с надписью: «Начало бесконечности» — корявым почерком красным фломастером.

Она (*растерянно бросает мундштук в пепельницу*). Огонь?.. Бесконечность?..

Играет мелодия включенного телефона.



Он. Да, там и зажигалка отцовская, серебряная, с инициалами, найдешь.

Она выходит из спальни. Он, выбираясь из-под кровати, подходит к окну. Канарейка в клетке. Пластинка крутится.

Он. Мама?! Мама, я знаю, ты меня слышишь. Иначе никак... ты знаешь. Мамы всегда знают. И без слов, и на расстоянии... Я люблю тебя. И хочу... Хочу, чтобы ты дождалась меня, мама! Я приеду. Мы приедем! Ты только дождись. Всю жизнь мы только и делаем, что требуем от вас. Это в последний раз, обещаю. Требую — дождись! Сегодня мы при...

Звонок будильника. Скрежет пластинки. Гудки в телефоне.

Он (*кричит громче звонка будильника, громче телефонных гудков, кричит в окно*). Все отдам! Самое главное! Самое важное! Жизнь отдам! Дождись, мама!

Салют фонтаном всех красок в подтверждение его слов разрывает небо. Включается пожарная сирена.

Она (*забегает в спальню*). Пожар?!!

Сигарета, выпавшая из мундштука, прожигает ковер между тумбочкой и кроватью. Он выливает весь графин воды — в ковре черная дыра. Она плачет. Он обнимает ее.

Он. Все хорошо. Теперь у нас все будет хорошо.

Она (*всхлипывая*). Ты и мною пожертвуешь ради матери, ведь так?..

Он (*целует ее в переносицу*). Мамы всегда остаются в жертвах. Они жертвуют всем ради нас. Не мы. Увы. Все, что мы можем, это вовремя сказать — люблю. Сказать — прости. Сказать — как ты мне нужна. Поговорить — вот что нужно мамам...

Она. Мама... Она спасет нас?! Ведь правда?..

Он. Она всегда приходила на помощь. Бесстрашная. Сильная...

Она. Я нашла, вот.

Он берет у нее из рук бенгальскую свечу и прямоугольную зажигалку с инициалами отца.

Он. Обещал им, что никогда не буду курить... Как много обещаний, которых мы не исполняем... Сколько клятв, слов, за которые расплачиваются другие...

Звонок в дверь и громкий голос.

Голос за дверью. Мы из пожарной службы. Здравствуйте. К нам поступил сигнал о возможном возгорании. У вас все в порядке?..

Он и Она (*в один голос*). Все в порядке! Спасибо!

Голос за дверью. Сейчас выключат свет во всем доме, это проверка по технике безопасности. Не пугайтесь. Это ненадолго.

Он (*отдает ей свечу*). Держи.

Она. Что бы ни случилось, обещаю, что мы не расстанемся.

Он. Никакой ад нас не разлучит.

Чиркает зажигалкой, вспыхивает огонек — крохотный, яркий.

Она (*подносит свечу к пламени*). Не поджигается.

Он. Все как в детстве. Ну, давай же... Гори.

Пластинка, «крякнув», заиграла. Свет гаснет. В темноте играет музыка, слышно, как чиркает колесико зажигалки. Музыка вскоре умолкает. Полная темнота. Тишина. Еще минута — и первые искры бенгальского огня прорезают темноту. Золотистые звезды шипят и стреляют во все стороны. Островок света во мраке. Свет разгорается.

Становится ярче... Становится солнцем в окне.

7:58

Спальная комната. Кровать, зеркала... На прикроватной тумбе подсвечник, графин с водой, пепельница, электронные часы — прямоугольная массивная коробка с большим циферблатом, на котором красным горят цифры. На кровати в обнимку крепко спят влюбленные. В открытом окне солнечное утро. Канарейка щебечет в клетке. Игла поднята над пластинкой.

Неожиданно — взрывная мелодия канкана*. Музыка с каждой минутой становится все громче. Канкан грохочет, но Он и Она никак не реагируют, спят. Наконец мелодия обрывается женским спокойным голосом.

Голос матери. Сынок. Блин, как я скучаю по нашему дисковому телефону. С этим, что ты подарил, ну черт ногу сломит. Але, сынок. Спите еще? И что это за музыка вместо гудков играет? Канкан? Вот приедете сегодня, расскажу, в каком месте под канкан любят плясать. И не в том, о котором ты сейчас подумал. Словом — вернешь все как было. Целую. Жду.

На часах красным мигают цифры 8:00.

8:01.

Конец.

* Канкан из оперетты «Орфей в аду» Жака Оффенбаха.

Пятидесятидвухгерцевый

Не открывал подарок все дни, пока писал. Нам всем нужен стимул для того, чтобы творить и продолжаться. Так ведь?..

Положил сверток из плотной темно-желтой бумаги на подоконник в зале, часто подходил к нему, брал в руки, баюкал, ходил по квартире, перекладывал ценный груз с подоконника на рабочий стол и обратно...

Пьесу написал меньше чем за неделю, как и планировал. Время фиксировалось напечатанными четырнадцатым кеглем листами в вордовском документе, названном «Пьеса для Авроры». Время стало буквами, театральным действием, героем пьесы...

Не перечитывая, как делал раньше, набрал номер Авроры. Сердце слилось с гудками вызова, потянулось, полетело по невидимым волнам, растворилось в звуке — ту-у-у...

Девушка, словно испытывая его терпение, проверяя выдержку, ответила на последнем, умирающем гудке:

— Слушаю.

— Аврора, — выдохнул.

— Иван? Доброе утро. Воскресенье — и не спите так рано.

— Рано? — Иван подошел к окну, солнце во все глаза. — Извините, счет времени потерял... Писал... А который час?

— Начало девятого, — голос Авроры, тихий, шелковый, проник в его голову, и только теперь Иван почувствовал усталость. Сладкую, в предвкушении встречи, усталость.

Взглянул на сверток.

— Еще раз извините. Не мог просто ждать. Не терпится отдать вам рукопись, пьесу.

Тишина, как разъединили, наполнила голову шумом, вулкан загудел, затряс тело мелкой нервной дрожью. Иван, громко перекрикивая вулканические помехи:

— Алло! Аврора?! Вы слышите?! Черт!

Извержения, казалось, не избежать. Вулкан взорвался бы негодованием, ревностью и злобой, если бы голос все так же спокойно и мягко не произнес:

— Какой вы с утра громкий, Иван. Здесь я! Вы, значит, написали пьесу. Как и договаривались. Так быстро. Ой, как приятно. А подарок, подарок смотрели?

Соврал:

— Да, да, смотрел. Спасибо маме от меня. Все замечательно. Я хочу передать вам пьесу, давайте сегодня. Может быть, там же, на площади, в полдень?

Вулкан закипал, внутри каждого из нас есть нечто, что всегда знает заранее ответы на вопросы, то, что заглядывает в будущее, — третий глаз, интуиция, душа, вулкан...

Мышцы напряжены в ожидании ответа, в голове гул, во рту сухо и привкус горькой магмы.

— Ой, сегодня никак, сегодня праздник, — нерешительность и сожаление в голосе (или притворство?), — сбросьте мне на электронку, она легкая, все маленькими буквами: аврора две тысячи собака майл точка ру.

— Праздник?.. — черный, тяжелый дым из кратера забил глотку, говорить стало трудно, сдавило грудь, заложило нос. — Какой праздник?

Не услышала или проигнорировала. Аврора повторила электронный адрес, спросила:

— Запомнили? Простой, правда же? Я завтра, даже сегодня вечером, ночью скорей всего, прочту и вам поутру позвоню. Поделюсь. А как называется? Алло, Иван!

Проглотил поток раскаленной, жгучей магмы, откашлялся.

— «Канкан» называется, — прохрипел, — «Задача со знаком бесконечности».

Мгновенная тишина — и:

— Все в порядке, Иван? Вы кажетесь мне расстроенным.

Подошел к подоконнику, свободной левой рукой сжал подарок, так что лопнула жесткая бумага, покраснели костяшки пальцев.

— Нет, не расстроен, все хорошо, устал чуток, крепкий кофе вернет в норму. Праздник же, говорите?

— Праздник, — ответила девушка.

Иван разжал пальцы, улыбка Авроры — ласкающим, прохладным сквозняком на вспотевшее, опаленное лицо.

— Тогда я немедленно посылаю вам файл и жду завтра!

Открыл ноутбук, свой почтовый электронный ящик, пока отправлял письмо новой, дорогой знакомой, слушал колокольчик ее голоса, она рассказывала, что он ей приснился, будто играет в их театральной постановке.

— И знаете, кого вы играли? Пьеро. Только вместо белого грима у вас было красное лицо и вы совсем не были печальны, дымили электронной сигаретой, а когда пришло время смывать грим, оказалось, что это совсем не грим.

— Вот те раз, — усмехнулся новоявленный Пьеро, — а я отправил вам пьесу.

Захотелось соврать, что и она ему снилась, не стал. Набрал в поисковой строке: «праздник 23 июля».

Аврора пообещала ночью прочесть, сказала, что верит в вещи сны.

— А вы нисколько не похожи на Пьеро.

— Спасибо, — не нашел что сказать Иван.

— Тогда до завтра, — пышущая весельем в предвкушении праздника, — не скучайте.

— До завтра. С праздником. — Сердце вновь обратилось в гудки, в этот раз прерывистые, резкие, пулеметные... Иван отключился, и сердце стало тишиной.

Всемирный день китов и дельфинов — самый верхний, первый, выделенный красным, мигал на экране праздник.



— Что ж, с праздником, кит, — сказал и захлопнул ноутбук Иван. На сотовом часы показывают 8:40.

— Без двадцати девять, — прокомментировал громко, — на море-океане после шторма полный штиль. Время открывать подарок.

Но сначала кофе, решил, — курс на кухню.

8:45. Запах кофе по всей квартире. Он дымит в кружке, Иван китом курсирует по своей территории, из зала на кухню, заглянул в ванную, вернулся в зал... Воскресенье — самый нелюбимый день недели.

— Я бы воскресенья взял и отменил!

День перед школой, работой, день перед понедельником, всегда под напряжением, стартовый. Уроки, подготовка к контрольной, зубрежка и никакой радости от вечернего просмотра Диснея — это в детстве. Во взрослой жизни воскресенье — день приходить в себя, никакого алкоголя, друзей, гулянок, запереться в комнате, отключить телефон, Интернет, мысли... День одинокого плавания. Одиночество. Стресс. Помешательство.

Зверем в клетке. Рыбой в аквариуме. Последним человеком на земле в последний день недели...

8:58. Холодная вода бьет струей в раковину, шум, если закрыть глаза и как следует представить, похож на шум прибоя. Волны обрушиваются на скалистый берег, шуршат, отступая, шипят, пенятся... Море гудит — водопроводными трубами. Кружка из-под кофе наполняется водой, бурлит море, зовет на глубину...

— Глубина — сестра темноты. — Помыл кружку и теперь просто держит ладони под струей. — Недра сознания и души.

9:00. Сверток надорван, поэтому, не особо церемонясь, Иван разорвал бумагу.

— Знал, — объявил довольно комнате, — пижама про запас. Такого точно еще не было.

Подарок от хозяйки сети магазинов «Ткани у Мани», пижама детства, оранжевая в синий горох, и пахла детством. Утопил бритую голову в пижаме, втянул в себя весь запах.

Его детство пахло морем, вечностью.

— Я кит, — вынырнул Иван из оранжевых волн ткани, — самый одинокий кит в мире.

Темно-синяя громадина, похожая на глыбу, верхушку горы, медленно движется сквозь черноту океана, это он — кит. Он одинок, так как никто его не понимает, более того, не слышит. Он говорит, поет иначе, чем его сородичи. Его песнь одинока, ее не слышат братья по разуму. Но он упрямо продолжает трубить на своей частоте изо дня в день, из года в год вот уже столько десятков лет. В надежде, что кто-нибудь когда-нибудь услышит его, отыщет, найдет, разделит вселенское одиночество...

— Каким огромным, бесстрашным, безумным нужно быть, чтобы выдержать многолетнее одиночество?

Оно ведь сводит с ума и лишает разума — одиночество. Предполагают, что ты глухой, а по мне, ты — обезумевший от одиночества кит. Свихнувшийся и поющий снова и опять песнь своего безумия.

Все одиночки — безумны.

— И ты главный безумец, — включился в монолог Ивана голос из вулкана. Не привычный голос, незнакомый. Голос кита?..

— Как я могу быть одиноким, когда у меня есть ты, — ответил, не растерялся Иван, свернул пижаму, убрал в шкаф.

9:20.

— Безумие придумывает множество миров, несуществующих друзей, но разве они еще сильнее, еще громче не кричат тебе о твоём одиночестве?! Воят из недр твоего вулкана. Они лишь еще больше сводят с ума!

— Безумие — лучший друг одиночества, — согласился Иван.

— Позвони кому-нибудь. Напомни о себе. Почувствуй, что кто-то еще плывет с тобой рука об руку в океане потерь.

Вместо друзей — безликие, заполненные темнотой овалы существ из мрака. С ними всегда на связи и без звонков — усмехнулся, перечеркнул образ.

— Воскресенье просто день такой — нелетный. — И через мгновение добавил: — Еще и праздник.

В жизни Ивана Конева было два праздника, которые отмечал с радостью, — День Победы и Новый год, последний, правда, с каждым годом терял актуальность, как случилось и с днем рождения, день стал всего лишь календарным днем, выдохся праздничный настрой, запал...

— Поздравить Беса с днем китов, что ли? — спросил тишину. — Про Лиса что узнать новенькое?.. — Посмотрел, как на сотовом телефоне прибавилась ко времени еще одна минута. Вернул телефон на стол к ноутбуку.

9:29.

Школьником хотел, чтобы воскресная минута тянулась долго, бесконечно. Похмельные воскресные дни требовали от минут того же: оттягивать приближение понедельника. Сейчас Иван не прочь перенестись в завтрашнее утро на счет «раз». Иван говорит:

— Раз.

Экран сотового загорается именем из контактов — «Аврора».

Сердце мужчины светится ярче экрана телефона, сердце растет, становится Иваном, сверкающим человеко-солнцем.

И хочется остаться в этом сладостно-трепетном моменте ожидания, а руки тянутся к аппарату, огромное сердце просит ответа.

— Алло, — голос дрожит.

9:45. Подошел к дверному глазку на цыпочках, подошел, уже будучи не собой, а суперлюбопытной соседкой из квартиры напротив, Тамарой. В расстегнутом ярком атласном халате, усыпанном алыми розами, с кровавой помадой на губах.

У Тамары есть проверенные средства от одиночества. Это любимое кресло, его она ставит в прихожей, чтобы удобно было подскакивать при любом шорохе из подъезда к дверному глазку, это первое. Второе лекарство от одиночества — чебуреки, их она стряпает чуть ли не каждый день и поглощает за кухонным столом в компании с законсервированной блин-няшкой. Вывод: каждый справляется со своим одиночеством сам, своими таблетками и своим «тараканами». Да здравствует тихое, безобидное безумие!

На площадке угнетающий, грязный серо-зеленый полумрак, как в застоявшемся болоте, цвет бегства.

— Только куда бежать, если повсюду ты один?! Всюду одиночество, замаскированное под отношения, толпу, связи, дружбу, любовь...

Опасное слово «любовь» отшвырнуло на кухню откатной волной, сорвало аляпистый халат, стерло помаду.

Иван, в шортах и футболке, смотрит на закипающий электрический чайник, голубое сияние в стеклянной колбе заворачивает, гипнотизирует, и вот он уже глубоко, в Марианской впадине, смотрит на инопланетных электрических скатов; похожие на бабочек, они нависают над ним, окутывают своим неземным сиянием, зовут с собой. Туда, в океанскую бездну, ведь там настоящая жизнь, на дне. Потому что там нет времени. Потому что там вечность.

— А завтра не наступит никогда, — щелкает отключившийся чайник.

Завтра не наступит никогда? Ухмыляется Иван. Чушь, и подтверждение тому — меняющиеся цифры на часах в сотовом телефоне.

10:10.

— Завтра неизбежно, — вслух в 10:11 говорит Иван. Но вулкан больно сжимает внутренности, как перед извержением.

Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.

— Завтра с утра, часов в девять, в начале десятого, позвонит Аврора, — рассказывает Иван, наливая кипяток в чашку с двумя ложками растворимого кофе, — она будет в восторге от прочитанной пьесы.

— Иван, вы мастер! — звучит песней голос девушки. — Я прочитала пьесу пять раз. Ночь не спала, ждала утра. Чуть в семь утра не позвонила, сдержалась...

— Смело звоните в любое время дня и ночи, — расцветает голос мужчины, — как вздумается, звоните. И давайте уже на «ты», пожалуйста.

Аврора говорит ему «ты».

Иван повторяет это громко на кухне в воскресное утро, эхо из будущего, из завтрашнего понедельника:

— Ты, ты, ты!

Кофе не приводит в чувство, Иван рассказывает, что они встретятся на площади под неисправными курантами, на которых вечный полдень.

— Пойдем в парк, там в уличном кафе готовят ее любимый молочный коктейль «Снегурка», и до самого вечера мы просидим там, на открытой террасе. Я буду слегка пьян, в обед мы закажем по бокалу вина, я

потом выпью еще пива для храбрости, и с наступлением розовых сумерек, когда переговорим обо всем на свете, я скажу, что чувствую...

10:47. В открытую форточку — шум тополей, шум прибоя. Мечты отвлекают. Уводят от реальности. Делают тебя слабым, незащищенным. Мечтать вредно!

— Но что остается делать в воскресном одиночестве, только и мечтать. Грезить.

— Пиши давай! — голос из вулкана, голос Авроры. — Или что, думаешь, одной пьеской отделаешься?! Мне нравятся решительные, самодостаточные, уверенные в себе мужчины. Взял и сделал. Сел и написал. Иначе никаких розовых вечеров и романтических бесед. Замуж за неудачного писателя — оставь сюжет для своих историй. Я лучше с кактусом жить буду!

Виденье Авроры на белоснежных простынях с кактусом в обнимку, что может быть смешнее и абсурдней?..

А если кактус — метафора, то очень жестокая: Аврора готова прожить жизнь жертвой, с вечной пронзающей, до крови, болью от близкого человека-колючки, только не с ним, лысеющим нерасторопным писателем-самоучкой.

— Так я запросто стану кактусом. Я Пьеро с окровавленным, разорванным лицом, я самый одинокий пятидесятидвухгерцевый кит, бороздящий океан непонимания и боли, я кактус!

Кружка взорвалась в ладонях мужчины, он раскрошил ее в песок, колючки длинные, ежевичные, разорвали кожу и ткань, оцетинились по всему телу, вылезли на лице и ладонях, на языке и бритой голове...

— Але оп — и вот он я, — непривычно прогремел голос человека-кактуса.

Странное дело, ты меняешься, перевоплощаешься, становишься не собой, а мир вокруг тебя все такой же, неизменно-постоянный, враждебный, колючий. И твои колючки — ничто по сравнению с жалом этого мира. Ты и тут в проигрыше, обросший кактусовыми иглами, колючками ежевики... ты всего лишь еще одна жертва обстоятельств, жертва общественного мнения, желаний мира.

— Посмешище! — безликий голос, голос множества, голос толпы. — Очередное посмешище! Эта жизнь не для тебя! Твой мир — не этот мир. Оставайся лучше в своей Атлантиде. Там, на дне, место всех одиночек и безумцев! Тони, Атлантида!

11:15. Землетрясение сотрясло поселок Кирпичный, а следом за ним и весь город, второй волны ждать не пришлось, город в мгновение погрузился в недра земли, стерев следы своего существования толщей воды. Вторая Атлантида, третья Атлантида... Отсчет пошел!

— Долой неуютное человечество с глаз Земли!

Вылил остатки холодного кофе в раковину, туда же отправилась и кружка. Выглянул в кухонное окно — мир на месте, прошел в зал, мир под этим углом все так же зелен, солнечен, статичен...

— Атлантида на месте, — улыбнулся, взял сотовый.

11:21. Самое страшное в одиночестве — это время. Время одиноко и мстит своим одиночеством всем от него зависящим существам. Все одиноки. Небо такое огромное, бесконечное, полно одиночества, море... Бог... И что такое одиночество одного человека по сравнению с масштабами вселенского одиночества? Капля в море, крохотный пузырек планктона, который проглотит одинокий кит в одиноких, тоскующих водах Тихого океана.

Время напоминает об одиночестве каждую секунду.

11:22.

И на еще одну секунду прибавилось одиночества в одиноком мире. Одиночество плодит одиночество. Оно множится, и настанет время, когда одиночество заполнит все — и тогда оно сожрет само себя. Поглотит, станет черной дырой, одинокой черной дырой, участь которой — так же исчезнуть в своем одиночестве, сгинуть. Стать точкой. Одной одинокой точкой, с которой все и начинается во Вселенной.

Вначале была точка, и точка была одинока. И тогда точка разделась на две точки, и стало не так уже одиноко двум точкам. И точки решили, что двум быть скучно, они поделились, и стало четыре точки...

11:25. И точек стало сто.

11:30. Приготовить поесть требовал, глухо ворча, желудок. Иван прошел на кухню, по привычке сначала выглянул в окно. Мужчина брел по обочине, что-то про себя бубнил, одинокий, потерянный, он высматривал, искал что-то жизненно важное, смысл в трещинах на асфальте. Его взгляд ощупывал каждый миллиметр земли, заглядывал под каждый лист, веточку, в самую незначительную щелочку, пору...

Павел, отец пропавшей в День защиты детей девочки Светланы.

Два месяца поисков, два месяца самого страшного одиночества на планете, одиночество отца, потерявшего дочь, одиночество, бессилие, когда не можешь ничего сделать, лишь продолжать искать изо дня в день, ежесекундно, днем, и ночью, и во сне...

Отец исчез за углом.

Вулкан задавил ноющий желудок всплеском активности. Ладони вспотели: знакомое всем творцам ощущение творения.

Иван открыл ноутбук, создал новый документ, на чистом листе в центре написал: *Аляска*.

11:45. Долго не мог найти номер «Вечерней среды» с первополосным материалом об исчезновении, так всегда, срабатывает закон подлости.

Так и не нашел. Попил воды, чтобы заглушить на время требования желудка.

Вернулся за текст, подвел курсор к заглавию. Стер название. Быстро, одним пальцем, набрал новое, на этот раз большими буквами: *РАЗВИЛКА*.

Название удовлетворило, как прогретое на солнце теплое место в холодной морской воде.

Иван посмотрел на экран сотового.

11:59.

Жернова времени еще больше делают нас одинокими. Уязвимыми от секунд. Смертными. Заставляют жить по законам времени, часов. Обрекая на продолжение одиночества, приближая к неминуемому завтра, которого может не быть.

— Время, стоп! — повелел Иван.

12:00.

— Вечный полдень, — сказал и отключил телефон.

Время остановилось.

Развилка

Новый рассказ Ивана Конева,

написанный по реальным событиям этого лета

С каждым новым днем отец все яростней ненавидит поселок. Его улицы, выметенные с раннего утра оранжевыми человечками, пахнущими потом и перегаром. Лицемеров-притворщиков, обитателей двухэтажных домов, половина которых нуждается в капитальном ремонте. Ненавидит деревья с корявыми, торчащими, словно пальцы больных артритом, ветками. Ненавидит собак, их здесь все больше. Птиц, особенно сорок. Он уверен: сороки всё видели. Те, что живут в лесочке у развилки. Их гнездо наблюдательным пунктом возвышается над поселком.

После случившегося отец следил за птицами: в окрестностях гнезда постоянно орали птенцы и две взрослые сороки хозяйничали в ареале своего царства. Отгоняли кошек — тех, что навевались из общежитий по соседству, наглых, прожорливых ворон, не брезгующих полакомиться птенцами сородичей.

— Сороки знают, — бубнил.

Он бубнил с детства, тихо, под нос, недовольный всем на свете, возмущался и скрипел зубами. Над ним подшучивали, называли ворчуном, запугивали: «Все зубы съешь, беззубым ходить будешь». Ругали. Отучить не смогла и жена. Сумела — дочка. Заявив как-то по дороге в детсад, что он похож на Гришку Буку-буку из их группы, который ест свои козюльки, и что она не любит Гришку.

Отец сделал соответствующие выводы и с того дня позволял себе поворчать под шум воды в ванной, принимая душ после работы. А если начинал, забываясь, при домашних — мастерски импровизировал, превращал привычку в милую беседу с шутками и смехом.

В их семье любили смех. Подкалывать друг друга и даже обзывать невинными, безобидными обзывалками, которые придумывали на ходу. Кто только не обитал в семье Крапивиных: Мата-батата, Кукуня-засуна, Горлодёрик, Не-смею-не-тревожу, Хрюньделеподобный Хохотун... Еще были замечены: Брыси, Тапочкины Ножки, Обрыдалки, всяческие Улыбаки, Скоропобежалки и другие им подобные...



Теперь привычка вернулась: отец бубнил снова. Громко разговаривал сам с собой, спорил, ругался, кричал. Плакал. Ненавидел.

Не сразу пришло это чувство. Мизантропия, презрение, жажда мести. Отец желал смерти всем. Начиная с сорок, трещащих без конца под окном, и плешивых собак. Он и не думал, что возможно так ненавидеть. До дрожи в пальцах изводиться мыслью придушить любого, кто скажет, что он не должен так изводиться. Что жизнь продолжается.

— Да, — говорит отец, — скажи мне сейчас, чтобы я успокоился или прекратил поиски, — и я зубами вырву кадык у тебя из глотки. Буду бить ногами. Буду крушить. Убивать.

Окно бывшей спальни — его наблюдательный пункт в квартире на втором этаже кирпичного дома рядом со школой. Напротив железная дорога, по которой мотаются составы с грузами для заработавшего цементного завода; дальше лесок с гнездом сорок. Направо развилка. Дорога раздваивается куриной дужкой, отрезая островок — горсть старых деревянных стоек и гаражей, отдельную от поселка республику, прозванную поселковыми Аляской. Всё как на ладони. Летом не спрятаться от любопытных глаз, глядящих из настееж распахнутых окон, с забытых стариками и пьяной молодежью скамеек...

Дни растворились в том дне. Его он помнит до секунды, до черточки, до капли, до вдоха. Зато не может вспомнить, что ел вчера и ел ли вообще. Перечитывает страничку в паспорте, ту, что с графой «дети». Снова и снова — про себя и вслух. Как молитву.

Мать слезно уговаривала сходить в церковь, начать молиться и этим спастись.

— Надо приходиться в норму, — говорила. — В себя.

Он сжимал кулаки до кровавых отметин на ладонях.

— Я услышал, мама, — отвечал. — Достаточно уже одной молящейся сумасшедшей.

— Ты так о Люде? О жене? Мать твоего ребенка, между прочим...

Всхлипывания переходят в плач. Сейчас все заканчивается так. Слезами.

Первые дни после последнего дня Павел пытался не отдаляться от жены. Вместе переживать трагедию. Людмила же решила отходить от беды сама — повязав голову косынкой и пропадая с рассвета до заката в церкви Святой Троицы на другом конце города.

— Молитвами отмолим доченьку, — шептала она и крестилась.

И больше не делила с ним постель, начала соблюдать посты и все церковные праздники и даже порывалась дать обет молчания.

— Это моя жертва (она перестала называть его по имени, заметил Павел), я отдам свой голос и буду молиться о спасении души дочки.

Она повторяла и повторяла про спасение души, а он с трудом сдерживался, чтобы не ударить.

— Наша дочь жива, — твердо сжимая зубы. — Свою душу спасай!

— Если бы и ты к Богу обратился, было бы намного быстрее...

— Быстрее — что?

Она складывала ладони в молитвенном жесте:

— Упокоение души доченьки нашей Светочки.

Павел еле сдержался, ногтями впиваясь в собственную плоть. Он представил, как кулак врежется в лицо жены, прямо между глаз, увидел, как кровь брызгает из разбитого носа и она опрокидывается назад...

— Ненавижу, — скрипит зубами. — Иди к своему Богу, и пусть он уже делает свою работу! Помогает нуждающимся и верующим в него!

— Отец Савватий говорит, что если пропавшего не находят в течение нескольких дней, то уже не найдут никогда.

Он замахивается:

— Клал я на твоего отца Савватия!

Людмила падает на колени и кричит, мотая головой. Волосы прилипли к вспотевшему лицу, рот перекошен, в глазах пустота. Муж не узнает женщину у него в ногах: это не его жена.

Она кричит:

— Давай уже уверуем, и истина сделает нас свободными!

«Раз, два, три, четыре...» — отсчитал про себя до десяти Павел и тихо сказал:

— Это твоя жертва, Люда, так иди и молись. Моя жертва в другом.

— В другом? В чем же?! — Визг и слезы. — Ждать? Ждать у моря погоды и надеяться? Надеяться, что ее найдут?.. Не! Най! Дут!

Жена странным образом меняется: она больше не плачет, смотрит отрешенно сквозь него. Не моргнет, лишь губы шепчут:

— Богородица, Господь с тобой...

— Вот иди и молись! — заканчивает разговор Павел. — Иди и молись.

— Людмила пошла дорогой Бога, выбрала свое спасение в служении Ему, — говорит по-женски мягко мужской голос в наушнике сотового. — Я готов помочь и вам, Павел Дмитриевич. В нашей церкви есть место всем заблудшим и страждущим душам. Я гарантирую: вы начнете новую жизнь...

Павел Дмитриевич брезгливо смотрит на телефон в руках, словно тот ожил и обратился в нечто противное:

— Ты кто вообще?! Бог, что ли? Христос, может? Себе помоги!

Сороки прознали его страх. Страх мужчины. Отца. Они трещали смело над ним, хохотали по-человечьи, гавкали по-собачьи. Прогоняли со своей территории. Павел пригибался, уворачивался от черно-белых вспышек, мелькающих перед глазами.

Он искал в высокой траве ответы. Но в лесочке хозяйничали сороки. Вооруженный бесполезной палкой человек капитулировал.

— Что вы прячете? — закричал однажды и швырнул палку в сторону гнезда.



Сороки завывли пожарными сиренами.

— Что скрываете?!

Раз приснилось: сороки заговорили. Прострекотали, что помогут найти дочь. Для этого нужно лишь принести им самое ценное, самое дорогое.

— Отдам все, что есть, — говорит отец. — Вам нравится золото? Будет золото. Принесу. У жены этого барахла...

— Самое ценное! — кричала сорока.

— Самое дорогое! — вопила вторая.

— Бесценное! Дороже золота! Дороже собственной жизни! — перебивая друг друга.

— Дороже жизни?.. — У отца был один ответ: — Дочка.

— Неси дочь, неси дочь, неси дочь!

Сотней голосов разверзлось небо, сороки взорвались на клочья и перья, и тысячи тысяч сорок своей чернотой скрыли небо и солнце.

— Неси дочь!..

Сон повторялся. Он боялся этого сна. Боялся сорок.

В детской Людмила сделала молельню. Сняла фотографии дочери. Павел не спорил, молча забрал снимки в радужных винтажных рамках со стразами, бабочками, приютив их в спальне, своем наблюдательном пункте.

Вместо фотографий жена повесила иконы. Если бы Павел подсчитал, он удивился бы их количеству. Икон разве что на полу не было.

— На поиски пропавшего ребенка вышли взрослые, подростки и даже дети поселка Кирпичный, — сообщила диктор местного телевидения в программе новостей. — Поисковые работы велись до позднего вечера вплоть до наступления темноты. С утра водолазы проверили дно карьера. Пока, к сожалению, никаких следов девочки не обнаружено...

Сосед Крапивиных, известный в поселке под прозвищем Бухарин из-за болезненного пристрастия к выпивке, тоже отправился на поиски, прихватив с собой пару флаконов с настойкой боярышника.

— Без дизеля никак, — делился он со всеми, кто соглашался слушать. — Я всю жизнь на этом топливе — и никаких болячек, живее всех живых.

Когда на дне второго «фанфурика» осталось на полпальца, Бухарин решил отдохнуть под забором ДНР — так по праву сторожила переименовал Аляску алкоголик со стажем. Да и любитель он был выделиться, называя это «замашками бывшего работника культуры»: Бухарин два месяца проработал в поселковом клубе «Дружба» сторожем.

— Прилег, значит, обмозговать дальнейший ход событий, — рассказывал он тем же вечером собутыльникам на скамейке возле печально известного теперь дома. — Прилег в тенечке, но так, чтоб дорогу видно было, мало ли. И вдруг, откуда ни возьмись, женщина. Не простая, а вся в сияние окутанная, и одежды и нимб над головой светятся, как солнце, а сама босая и идет по траве высокой, а трава не гнется под ней. Копия точь-в-точь Богородицы, с иконы сошедшей.

Слушатели разинули рты, верующие креститься стали, а Бухарин продолжил:

— А за руку эта Дева Мария девочку ведет с сумочкой в форме сердца через плечо. И тоже точно копия девочки из седьмой квартиры. Те же волосы рыжие кругляшами, веснушки, и одета как по описанию. — Тут рассказчик показал пальцем в сторону развилки: — Вон там, за рельсами, левее Аляски. И запахло вокруг сразу не по-земному как-то — чистотой, свежестью. Дева Мария девочку по головке гладит, а под девочкой трава тоже не гнется. Я так и замер, шевельнуться не могу. А они вдруг огнем вспыхнули и пропали, лишь голос остался, как всхлип, и завоняло, будто болотом или канализацией. И меня как прошибло током, и сразу на ноги кто поставил, а голос в голове женский говорит: «Ищи нас в колодце».

Отец услышал эту историю вторым. Первым же человеком, с кем вестью о чудесной встрече поделился Бухарин, была Люда. Как чувствовал, что женщина даст ему на бутылку дорогой водки.

Павел на водку не дал, дал пинка и вышвырнул за дверь:

— Протрезвей хоть раз в жизни, а то сдохнешь и не узнаешь, что сдох!

Возмущению обиженного соседа не было предела.

— А ведь тихий был, мухи не обидит, — жаловался на скамейке. — Не матерился, добрейшей души человек. А смотрите, что стало. В зверюгу бессердечного превратился. Будто я, что его дочь пропала, виноват...

Людмила позже попросит Бухарина показать то место, и ее не раз будут видеть стоящей на коленях по горло в высокой траве.

«Ищи в колодце» — единственное, что зацепило отца в бреднях старого алкоголика, и Павел облазил все канализационные люки в поселке до центральной железной дороги.

Полиция, по словам все той же дикторши, делала все от нее зависящее. На поиски были брошены и отделения ГИБДД, задействованы военнослужащие двух воинских частей и сотрудники МЧС.

А через неделю поиски прекратят, и местная газета «Вечерняя среда» окрестит ЧП так: «Исчезновение в Международный день защиты детей». Первополосный материал с фотографией семилетней Светы Крапивиной еще какое-то время будет мелькать перед глазами поселковцев, но на третью неделю триста пятьдесят гектаров горящего леса займут новостную ленту.

И только отец будет продолжать искать. С первыми лучами солнца и до темноты. Сначала Павел напишет заявление об отпуске без содержания, а месяц спустя уволится.

Отец искал и во сне. Бродил по знакомым до желудочных спазмов, до сердечных схваток и зубной боли местам: по развилке, вокруг Аляски, в овраге под железнодорожным виадуком. Искал под ликование сорок. Искал и всегда находил красную резинку для волос с двумя ягодками-

малинками, а иногда сумочку в форме сердечка: они купили ее в тот самый день.

Сердце отца где-то на дне затаило, зарубцевало ощущение потери.
 — Дочь жива, — от двери к окну. — Жива. И я найду ее!

До конца лета оставалась неделя. Первого сентября Света должна была пойти в первый класс.

— Должна. — Павел в тысячный раз брел мимо железнодорожного полотна и бубнил. — Должна — и пойдет!

Глаза его всегда опущены, высматривают следы, а тут словно что окликнуло. Взглянул вверх отец и на насыпи из камней увидел красное пятнышко. Остановило бой сердце отца. На карачках, царапая ладони об острые камни, забрался на насыпь и не поверил глазам: сумочка дочери, будто только что купленная! Схватил находку, прижал к груди. Оглядываясь, позвал дочь по имени. Сперва тихо позвал, потом громче и, наконец, закричал.

Крик разорвал пузырь реальности. Он увидел, как из знойного, вибрирующего от испарений эфира прямо по железнодорожным путям бежит его девочка, смеется и подпрыгивает. В том же белоснежном сарафане в цветочек, с сумочкой в форме сердечка...

Открыл сумочку Павел — пусто. Да и цвет вблизи не таким красным кажется. Не красный, а бордовый какой-то, и не помнит отец, чтобы снаружи на сумочке был кармашек.

Положил назад — как сердце оторвал — на камни. Спустился и не удержал слез. Здесь, в лесопосадке, почти в трех километрах от поселка, он часто себе это позволял. Заходил в гущу деревьев, прислонился к стволу, тихо плакал, вгрызаясь ногтями в кору дерева до крови, до стона.

— Похитители бы давно объявились, — строили предположения в поселке. — Выкуп запросили или еще чего...

— На органы сейчас детей продают за границу, — пугали своих непослушных отпрысков родители. — Особенно тех, которые допоздна шляются, в лапту играют...

— Аляска утащила бедняжку. Проснулась, видать, проголодалась — и съела, — шептались старухи.

Только всех пропавших в Аляске рано или поздно находили. Один упал в погреб, сломал ключицу — тело нашли через неделю по запаху; другая скрывалась от мужа в заброшенной стайке два месяца; а третий по пьяни не смог выбраться из картофельной ямы.

— Аляска, Аляска, отдай что забрала, — шептала бабка-знахарка.

Ее привела в квартиру мать Павла, строго-настрого велела сыну слушать, не перебивать. Знахарка баба Римма таращилась слепо в карты, потом в тарелку с водой. Держала отца за руки.

— В твоём сердце стучит и её сердце. Сердце дочери, — говорила. Смотрела фотографию Светланы, жгла над ней спички.

— Не вижу её среди мертвых. Тепло от снимка идет. Живая, значит. И в колоде не вижу, не в плену она. Но и нет в ней ощущения свободы. Слышу, как шумит ветер, но не чувствую его дыхание на себе. Так деревья на ветру колышутся и трещат. Всё раскачивается, как на качелях, и много разных голосов странных: птичьих, животных...

Павел вцепился в край кухонного стола, и стол затрясся, когда он услышал:

— Вера творит чудеса, молитва.

— Пятьсот икон! Пятьсот, если не больше, — это разве не молитва?!

Людмила в комнату дочери принесла не все иконы. Некоторые так и лежали в разноцветных пакетах под кроватью. И в прихожей, в «тещиной», в шкафу с обувью, между зимней одеждой — везде освященные иконы.

— А что остается, если не молитва? — продолжала настойчиво баба Римма, а Павел скрипел зубами:

— Ненавижу.

— Смирение, а не гордыня — вот что поможет обрести душевный покой.

Отец перевернул бы стол на голову госте, если бы не подросла мать.

На прощание, стоя в дверях, знахарка вдруг сказала:

— Ненавидь больше, сынок! Если не молитва, то ненависть поможет выжить и найти ответы. Ненавидь, дорогой. Ненавидь сильней, крепче. Всех!

Мать посмотрела на старушку, потом на Павла. Развела обессиленно руками:

— Да что вы такое говорите? Его же злоба эта погубит...

Баба Римма продолжала:

— И в следующий раз, как над тобой пролетит сорока, сынок, не поленись, брось в нее что под руку попадет, камень брось и скажи: «Несчастье птице, что летит против хода солнца».

Павел кивнул: старуха знала о сороках.

— А икона без веры, без молитвы — так, картинка, украшение... — закрыла она дверь за собой.

— Совсем сдурела бабка, — возмущенно хлопнула в ладоши мать. — Сороку еще зачем-то приплела. А я ей риса отборного и гречки — думала, дельное что скажет, поможет.

Сын поцеловал мать в голову:

— Жива.

Жена почти держала обет молчания, говорила только по делу, коротко. Перед первым сентября сказала, что уйдет в монастырь.

Павел ответил:

— Угу, и иконы с собой прихвати. Я Светину комнату в прежний вид завтра приведу.



Людмила захотела что-то спросить, может, возразить, но остановилась среди зала и молча хлопала глазами.

— Желательно прямо сейчас начать собирать их, чтобы я с утра все в порядок у нее привел. Ей не понравится такое... — он не мог подобрать нужного слова, — такое... такой бардак. Я фотографии еще новые напечатал — они ей точно понравятся, Светотусе-болтусе.

Закрыв лицо руками, жена пропищала что-то, пошла послушно собирать иконы.

Настало первое сентября. Пасмурно. Из тревожного сна — в такое же беспокойное утро с морозящим дождем и страхом неуверенности.

Ненавистные сороки кричат в ненавистных деревьях, празднуют.

К девяти часам нарядные школьники потянулись мимо его наблюдательного пункта к школе. Замелькала школьная форма черно-белой пестротой, завертелись в первом вихре осени банты, шары, листья...

Дождавшись, когда жена уйдет в церковь к заутрене, вымыл полы в квартире, расставил в комнате дочери фотографии и плюшевые игрушки, развесил по стенам Светины рисунки.

Акварелью расплылось по альбомному листу счастливое, тогда еще улыбающееся семейство. На карандашных рисунках всяческие придуманные существа. Добрые и веселые стражники семейного счастья: Сердценожка, Барабашик, Солнцепрыг, Ночнушка-хохотушка, Звончепух и королева королев Помадка — все из семейства «улыбак», с широкими, в форме рогатого месяца, улыбками и звездами вместо глаз.

Закончил Павел под доносящуюся со школьного двора песню «Первоклашка». И на удивление самому себе начал подпевать:

Первоклашка, первоклассник,
У тебя сегодня праздник!
Он серьезный и веселый —
Встреча первая со школой!

Вышел из подъезда с бумажным свертком под последние аккорды песни, знакомой с детства, прошел мимо школы и — через рельсы, твердым, уверенным шагом к месту из сегодняшнего сна. Пророческого сна.

Жертва у каждого своя. И сами мы тоже жертвы.

Бухарин вышел следом, а вечером на скамейке будет клясться всеми святыми и мамой, что Павел шел, как та Дева Мария с девочкой, по верхушкам травы и трава под ним не гнулась.

Людмила купила последнюю иконку в киоске при храме. В тот самый момент Павел подошел к березе под истошный крик сорок. Птицы вели себя агрессивно. На макушке дерева — шарообразной формы гнездо. Птенцы давно встали на крыло, но далеко не улетали от родительского дома. Павел все эти месяцы наблюдал и все больше их ненавидел, мечтая растоптать в кровавую кашу.

— Сорока-белобока кашу варила (развернул сверток), деток кормила (газета упала под ноги), этому дала (поднял топор над головой), этому дала (птены присоединились к атакам родителей, смело насакивали) и этому дала (лезвие, занесенное над стволом, отбросило солнечный зайчик в тень травы), этому тоже дала (отмахиваясь левой рукой от пернатых), а этому не дала!

Жертвы бывают разные. Но жертва необходима. Чтобы вернуть потерянное, нужно жертвовать. И чем крупнее жертва, тем больше шансов обрести утраченное...

Удар.

Он увидел жену, постриженную в монахини, молящуюся на коленях перед пылающим в свете тысяч свечей алтарем.

Топор легко пронзил мягкую, податливую плоть березы.

Отец замахнулся во второй раз. Сороки над головой взорвались небесным громом.

Удар.

Увидел себя под виадуком у железной дороги. Он знает, что надо делать, и нагибается над рельсом... Увидел поезд Улан-Удэ — Москва, как он на всей скорости сходит с рельс в том самом месте, где нашлась сумочка, похожая на дочуркину. Кровь окрасила черные камни красным, под цвет его боли. Крики и стоны людей из перевернутых, искореженных вагонов перебили гвалт сорок.

Береза покосилась, затрещала, подраненная, осыпала человека листвой.

В третий раз лезвие сверкнуло молнией и ударило в дерево, в свежую рану. Со стоном и треском завалилась срубленная береза. Сорочье гнездо рассыпалось на веточки и щепки.

Отец оглянулся, посмотрел на развилку: по ней сейчас должна идти, прискакивая, его дочь в белоснежном сарафане, с сумочкой в форме сердца. Они, правда, опоздали на школьную линейку, но это не беда. Зато успеют переодеться и прийти как раз к классному часу и чаепитию для первоклашек. Его решили устроить родители — сбросились, купили сладостей, сделали торт на заказ...

Но развилка пуста. В точности как в тот день, последний день семьи Крапивинных.

В тот день втроем ходили до магазина, решили побаловать себя тортом-мороженым и купили Светлане сумочку-сердце: очень уж приглянулась ей безделушка.

На обратном пути дочка у развилки предложила:

— Давайте кто быстрее? Вы с мамой по одной стороне развилки, я по другой дороге. Кто придет первый — тот и победитель. Тому самый большой кусок!

Разошлись. Девочка долго махала родителям, пока не скрылась за забором Аляски.



Больше они ее не видели.

Первые пять минут ждали ее появления, всматривались в пустынную дорогу. Потом отец сбежал проверил квартиру. Повторил путь дочери, обежал на сто кругов Аляску.

Ни следа. Одни сороки тарахтят над ухом, смеются.

Людмила начала плакать. Торт-мороженое таял в ее руках и смешивался со слезами, капал на землю...

Со стороны Аляски подул пронизывающий, холодный ветер, запахло словно перцем и кровью. Снова заморосило.

Павел уронил топор. Сорок не видно и не слышно, будто не было никогда, а гнездо всего лишь кучка веток, скорлупы и...

Сначала увидела душа, потянулась... Отец нагнулся и поднял под тарабание сердца красную резинку для волос с ягодками-малинками. Сжал в ладони, поднес к губам.

Света любила, когда папа кормил ее: он протягивал ей самую крупную малину, и дочь ловила ее губами, а вместе с ягодой кусала его за пальцы. Они смеялись до колик, до слез...

Не чувствуя, не видя, не дыша, вернулся в квартиру. Без мыслей, без чувств, без воспоминаний. То, что столько месяцев утаивал от самого себя, прорезалось, вытекло черной кровью. Потекло по разбитым об стены кулакам, побежало из глаз по щекам за ворот, хлынуло из сердца, перелилось через край, через горло...

Он спал и вот проснулся, кромсая в зале, круша в спальне, в ванной и на кухне все, что стало теперь ненужным, лишним.

Не тронул детскую. Комнату дочки. Место, куда он не может не вернуться.

И он вернулся.

Сел на кровать в окружении ее любимых игрушек, фотографий в ажурных рамочках и стразах. Сел, снова и снова прикладывал к губам пластмассовые красные ягоды, словно целуя, словно пробуя на вкус, и тихо, вполголоса позвал на помощь:

— Звончепух, Помадка, Горлодёрник, Сердценожка, Барабашик, Солнцепрыг...

Извержение

Видел: машина, черная иномарка, на бешеной скорости сбила Аврору. Слетевшая с ноги босоножка завертелась в воздухе на фоне безоблачного белого неба, кровь попала в глаза, зашипало, горячая субстанция потекла по лицу. Он боится прикоснуться к себе, боится открыть глаза, потому что видел, как отлетела к обочине разодранным тряпичным Пьеро Аврора, в одной босоножке... А вокруг, судя по звукам, громоханию и реву, никакое не шоссе у центральной площади, где они встретились под главными городскими часами, а железная дорога, и мимо него проносится состав за составом.

— Это конец.

Открыл глаза, крошечная темень вокруг, телом и нутром ощутил: он в детстве, в зале с телевизором, куда отец послал его принести папиросы.

Но как?! Как так?! Ему надо назад. Туда, на площадь, в будущее! Там машина сбита девушку, для которой он написал пьесу и которую хочется видеть рядом каждую секунду...

— Одумайся, — зашипела, ожила темнота, — там ждет тебя лишь потеря за потерей, боль и раны, станешь сплошной кровоточащей раной, стигматой. И смерть. И ад. Будущее — это ад! Неужели ты этого еще не понял?! Рай — это прошлое. То, куда ты возвращаешься снова и снова в мечтах. Во снах.

— Сон. Это сон, это сон, — запричитал в темноте мальчик Ваня, — а сны не настоящие.

— Зато они могут сбываться! — зарычала темнота. — Вещать!

Тьма закричала сотней, тысячей голосов, человеческими голосами, звериными, птичьими...

Птицы, наверняка вновь сороки, затеяли разборки, проклевали тьму оглушающей трескотней вперемешку с чириканьем и воплями.

Иван проснулся с диким ощущением уже виденного. Пережитого...

Сейчас он скажет что-то вроде: черт, это конец.

Не нарушая закономерности, цикличности, Иван пробурчал:

— Не к добру, к концу.

Коросты на костяшках рук — напоминание, что конец начался еще две недели назад в так и не наступивший понедельник.

Он ждал звонка от Авроры до позднего вечера, и в полночь, и в начале первого ночи ждал.

— Она не забыла, — убеждал стены в обоях и мебель, — позвонит, пусть не сегодня, понедельник — день тяжелый, завтра точно позвонит, — заявлял ночи за окном, редким звездам и ветру, — вторник — тот же понедельник.

В «тот же понедельник» загнанным в клетку зверем прометался по квартире Иван, с сотовым телефоном, прижатым к сердцу.

— Что-то произошло, с Авророй что-то случилось. — Оглохли от повторений стены в обоях. — Я мужчина, я позвоню, потому что предчувствие у меня плохое.

Позвонил в девять вечера во вторник. «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети» — получил в ответ.

Тогда в первый раз проверил на прочность подоконник в зале кулаком правой руки.

— Надо было звонить вчера! Черт! — рисуя на белой плите подоконника красные цветки.

Букет собственными руками. Стоял, разглядывал кляксы крови — некоторые, действительно, похожи на распустившиеся бутоны роз, — совсем потеряв связь со временем.



— К черту время.

Сбой случился в воскресенье — в полдень, поэтому понедельник не наступил, размышлял вслух и про себя.

Из вулкана не доносилось ни звука.

Сбой в жизни произошел еще в детстве, перечил сам себе Иван, с того самого дня, когда тьма ответила тебе.

А по времени в его часовом поясе наступила среда.

В полудреме, полусне приходили откровения, видения.

Видел себя ребенком, бьющим стекла в детском саду, было это взаправду или плодом воображения, Иван с уверенностью на сто процентов не ответит.

Ежевичное существо — воображаемый друг из детства или проявление сверхъестественных сил?

Обливаясь холодным потом, стоял посреди горящего дома дяди Саввы, в ожидании появления призрака...

— Ты и есть призрак!

Вскакивал с неразобранного дивана, всматривался в темноту, у ноутбука видел себя, безумно колотящего, словно в припадке, по клавиатуре, творящего иную реальность, другую жизнь.

Видел сорок, птицы выклевывали глаза у девочки Светы, Иван пытался спугнуть их, но вместо рук у него — колючие ветки ежевики.

Часы били двенадцать раз.

По правилам, Иван вновь должен обрести человеческий облик, но часы, сделав паузу, снова отбивали двенадцать, и снова... Полдень или полночь?

Может, не было никакой Авроры? Может, она, как и темные фигуры, и существо в ежевике, и девушка в белом, — призрак, выдумка?.. Часть замысла? Его сюжета?..

Утро среды, утро больной головы, как с похмелья.

Отыскал в телефоне контакт «Ткани у Мани».

«Аппарат абонента выключен или...»

— ...Или не было никакой Марии и ее влажных рыбьих рук, это все на подкорке, это двадцать пятый кадр?

Две пижамы, разложенные на диване, вернули реальность. Остатки ночного бреда стер звонок Олеся, офис-менеджеру обанкротившейся телекомпании.

Старался говорить спокойно, внятно, с задором, шутками и похихивая... Не получилось.

— Девушка была, — ответила не задумываясь Олеся, — симпатичная, а что с ней?

Иван молчал.

— Или с вами что?..

Опять это «или». Иван сказал «спасибо» и «всё супер», отключился.

В салоне «Ткани у Мани» продавец сообщила: хозяйка до сентября в Таиланде.

— Или в Паттайе, — поправилась задумчиво, — или она в прошлый раз туда ездила, а сейчас в Таиланде все ж, или...

Неделя из одних «или» перешла с помощью ежеутреннего злоупотребления алкоголем во вторую неделю.

А потом, как и положено по закону жизни, случайно обнаружилось в ящике, в папке «Спам», послание, письмо из прошлого, того самого несостоявшегося завтра, понедельника, начала конца.

Аврора писала, что ей дико понравилась пьеса и она ее на несколько раз перечитала. К сожалению, пьеса не устроила режиссера: «слишком запутанная, курят много, и превратить всю сцену в постель — это чересчур».

Видел, как она набирала письмо чернильным вечером злосчастного понедельника, торопилась, вздыхала. Писала:

Меня напугало такое быстрое развитие сюжета наших с вами отношений. Ведь мы совсем не знаем друг друга, и мои скелеты в шкафу и под кроватью вот так запросто не отпустят. Поэтому не сдержала слово, не позвонила, я стерла ваш номер телефона, и вы удалите все контакты из телефона, из компьютера, из сердца, если получится. Давайте потеряем друг друга, и, если Вселенной угоден наш союз, она организует нам встречу. Знаю, вы поймете меня. Оставим нам наш вечный полдень, в котором всегда будет двенадцать, а случится так — стрелки пойдут вперед и дальше, обещаю, что отвечу вам «да» на все, что бы вы ни предложили. За этот короткий час знакомства я осознала, что существует на земле нечто, что связывает незнакомых людей друг с другом. Спасибо за пьесу, буду думать, что я послужила толчком к ее появлению, буду думать, позвольте мне такую шалость и простите, что стала для вас той вечно неуловимой, трепетной музой.

До встречи.

А.

Не успевшие зажить раны на кулаках снова закровоточили.

— Трепетная муза, — перечитал сообщение, удалил, открыл корзину, восстановил письмо.

В холодильнике нераспечатанная бутылка водки, только пить не тянет. Раньше, лет десять назад, он смог бы продолжить и двухнедельный загул, но сейчас молчаливо извергающийся вулкан наполнил голову образами, фразами, сценами, словами...

— Трепетная муза, — корябая костяшки о внутреннюю поверхность стола, — трепетно-требовательная муза. Сука.

Пачкая клавиатуру кровью, Иван Николаевич Конев писал под чутким невидимым взором трепетной музы, появившейся в его жизни на один час, а затем растворившейся в пространстве, став всем вокруг.

Иван вдруг отчетливо ощутил присутствие Авроры рядом. Она была обоями на стенах, все это время слушала, наблюдала за его стенаниями. Смотрела на него из глазка видеокамеры на ноутбуке, стучала ночами по



клавишам вместе с ним... Она, его трепетная муза, теперь стоит за спиной, ее дыхание на его затылке — легким сквозняком. Она читает все, что он пишет, шепчет на ухо, он чувствует, будто перышко ласкает мочку уха, невидимка паучок перебирает лапками, забирается в голову, плетет хрупкую паутинку видений, историй, снов...

Он стал видеть сны, запоминать. Аврора вскрыла этот тайный мир, исчезнув, связала сны с явью. Она стала жить во снах, Иван находил ее там, пытался спасти, пытался ухватиться за сон и остаться в нем, поселиться в мире грез, в мире Авроры, мире вечно тонущей Атлантиды...

И как только ему казалось, что у него получилось, — что-то вне его власти вулканическим извержением, кошмаром, птичьим яростным гамом выбрасывало наружу, возвращало в реальность. В уже виденное, в вечно повторяющееся.

— Не к добру, к концу.

Первым делом включил ноутбук, первая часть новой повести из задуманных трех почти закончена.

— Плюсы во всем. И в расставаниях, и в неудачах, и в смерти...

В ванной, намыливая коросты, чтобы скорей сошли, как учила мама, в зеркале увидел себя изменившегося.

Нового? Брызнул водой в отражение.

— Хорошо забытого старого, — усмехнулся.

Встречи, люди, собаки, надписи на заборе... Все может однажды изменить тебя, дать шанс выжить, стать больше, подняться — или же (о уж это «или») сломить, уронить, и ты загремишь в тартарары.

«АУЕ»* — свежие три буквы черной краской на заборе школы.

И мельче — приписка разноцветными мелками: «АУЕ — люби меня как роза воду, а я тебя как вор свободу».

Вот и до Кирпичного «цивилизация» добралась.

Утром Иван обнаружил: в доме нет ни хлеба, ни, самое страшное, кофе. Нехотя собрался (ну как без кофе?), в подъезде закономерно встретился с соседкой.

— Вам не кажется, лето слишком затянулось, Иван Николаевич? — сразу с порога, в розовом пеньюаре и с помадой под наряд. — Было бы ужасно жить все время в лете.

Сосед согласился во всем, соседка продолжала:

— Даже представить страшно — вечное лето. От одного этого словосочетания уже воротит. И рай такой даром не нужен, если там все время жара.

— Рай разве не на земле?..

Тамара сконфузилась, надула губы.

— Не ад? — переспросила. — Рай? Даже и не задумывалась.

Проскользнул на улицу Иван.

* Арестантское уголовное единство (Арестантское уркаганское единство, Арестантский уклад един) — экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации.

— Вечером чебуреки! — услышал.

Подумал: по возвращении надо будет сказать Тамаре, что она очень хорошо выглядит и ей очень к лицу розовая помада. Мысль вызвала улыбку, пожилая продавщица, неумело прятавшая синяк под глазом, улыбнулась в ответ.

— Вы, мужчины, улыбаются, когда задумали чё-то, могу поспорить. Трех мужей схоронила, я на мужиках собаку съела.

— Есть такое, — отшутился покупатель кофе.

— Мой второй суженький всегда — изменит с Томкой, гадюкой, потом ходит лыбится, земля ему пухом, думала, сама прибью, вот этими голыми руками, а прибило током.

Иван только вздохнул.

— А третий муж вечно улыбался так искоса — перед тем как загулять недели на две, царствие ему небесное, подавился мясом на мой юбилей, прямо за праздничным столом и преставился, прости господи.

— Ого.

— Вот те и «ого». Только не «ого», а «ага», тетя Таня плохому не научит. Ты смотри: никакое непотребство не вздумай сотворить. Лучше спустись, как в сторону вокзала идти, направо, в рощице на дереве груша висит самодельная, боксерская, молодчики вечерами колотят ее. Так и ты пойди, на груше все непотребство, какое есть, из себя выколоти, увидишь, как полегчает и жизнь в другом цвете засверкает. Потом тете Тане еще бутылку поставишь. Помяни мое слово. Спасибо скажешь тете Тане, что вовремя слово нужное сказала, на пути твоём попалась... Всем бы к месту попадались умные люди да советы нужные говорили, все меньше несчастий да бед было бы...

— Спасибо, — сказал Иван.

— То-то же, — засветила синяк тетя Таня и широко, беззубо улыбнулась.

С банкой кофе Иван дошел до спуска к железнодорожному вокзалу, пригляделся, увидел крепко сбитый лампообразный мешок, раскачивающийся в ожидании удара на г-образной трубе посреди затоптанного до блеска земляного пятка в березовой рощице.

Сбежать по узенькой тропинке, отбросив банку в заросли шиповника, с размаху двумя кулаками — в плоть из песка, вскрывая старые, не успевшие толком зажить раны, и еще удар, брызги крови в стороны, и серия ударов...

И что-то забытое проснулось в Иване, загудело вместе с вулканом, изверглось из недр, поднялось магмой, выглянуло из открытых ран на разбитых кулаках шипами ежевичных кустов.

— Время будить ежевичного бога, — прогудел вулкан.

Сжал банку кофе до треска Иван, обретая себя, стоя на краю оврага.

— Время пробуждаться, — пробормотал.

Дежавю потянуло дальше вниз по пыльной дороге — в самое пекло полдня.



В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла...

— Это уже было, — возвестил природе.

А что дальше? Натянул кепку на глаза, прячась от солнца. Дальше — встреча с плачущей девушкой в белом на восьмом пути.

Иван прибавил шаг.

Погружаясь все глубже в запахи августа, смесь из увядающих трав, пыли, высохшего болота, свежих, с прибывшего грузового состава, ароматов нефтепродуктов...

Тишина.

Иван осмотрелся, хлопнул в ладоши, чтобы убедиться, что не оглох.

Ни звука бесконечно трещащих цикад, ни криков ребятни из поселка, молчат птицы в белых, сожженных солнцем небесах, товарный поезд застыл, не шелохнется сухая, по пояс, трава в овраге... Плотный, горький запах последних дней лета в обеззвученном мире на пути к остановочному пункту Китой.

— Эй, — окликнул тишину мужчина, — это конец?!

Конец наступит тишиной. Конец света. Тишина будет настолько проникновенной, что убьет. Смертельная тишина. Будет разрывать ушные перепонки и сердца, вскрывать вены и души...

— Пригородный поезд Зима — Иркутск-Пассажирский прибывает на пятый путь, — треснул мир тишины электрическим голосом. Ожило пространство вокруг одинокого путника, зашевелилось, заговорило многоголосьем...

Полуденная электричка, а следующая после шести вечера, знает Иван.

Вверх, барабаня по железной лестнице виадука, с банкой кофе, стреляющей солнечными зайчиками в небо, и сразу вниз, перескакивая через ступеньку, на восьмой путь.

Словно заметив ошибку единственного пассажира, дежурная грозно повторила: электричка прибывает на пятый путь.

Серебристые вагоны замелькали, стекла сражались с лучами солнца ослепительными вспышками. Иван еще ниже натянул козырек кепки на глаза, электричка остановилась, стоянка всего ничего, минута, тут и произошло нечто большее, чем дежавю. Реальность вздремнула, Иван увидел себя в окне вагона напротив. Тот махал и что-то кричал себе на платформе восьмого пути, стучал по стеклу, показывал пальцем куда-то вправо и вверх... на небо?..

Это точно он, Иван, в том же кепи, что и сейчас, только с отвернутым назад козырьком, встревоженный взгляд... вместо сегодняшней футболки на нем рубашка, и моложе, посвежее этот Иван, словно «уже виденный», как будто пересматриваешь старые фотографии. Иван из прошлого? Призрак?

И вот оно, отличие от Ивана сегодняшнего: у Ивана в окне электрички еще целые, не отбитые о подоконник, стены в обоях и стол, кулаки.

Электричка устало и шумно выдохнула, поехала, набирая скорость. Иван в вагоне все еще тыкал указательным пальцем в небо.

Иван на перроне проследил за пальцем. Промчался последний вагон, унося с собой временную тень, солнце зажарило яростью и должно разбудить уснувшую реальность. Но...

Иван из прошлого, параллельный Иван показывал на прямоугольный металлический щит — указатель с номером пути, догадался Иван сегодняшний, Иван настоящий. Настоящий ли?..

Указатель, свернутый неведомой силой, завалился набок, цифра 8 превратилась в знак бесконечности: ∞ .

— Приехали, — произнес.

Так где тогда девушка в белом? Беляночка? И кто она?..

Если, предположим, случился сбой во времени, а этим летом такое сплошь и рядом, уже привычно и даже не странно, то на платформе должна стоять она, девушка в белом, плачущая, загадочная... Беляночка, она же Василиса, она же...

Только на восьмом пути оказался он...

— Где тогда она?

Кто-то закрыл Ивану глаза холодными, и это в такую августовскую жару, ледяными ладонями.

...Она же Смерть.

Оказавшись (вернувшись?) в неожиданной темноте с горящим красным знаком бесконечности, Иван, как «Отче наш», отчеканил:

— Эйяфьядлайекюдль.

Ладони вернули свет, он почувствовал закрытыми глазами солнце, не стал открывать.

— Теперь дело за малым, — сказал, барабанил пальцами по жестяной банке кофе, — ждем конец света!

Обернулся и открыл глаза.

Конец первой книги.



Тихон СИНИЦЫН

НА ДВОРЕ ЦИФРОВАЯ ЭПОХА

* * *

Держидерево крепко вцепилось в рукав.
Нету праведных. Каждый по-своему прав.
Повседневны приметы подвоха.
На дворе цифровая эпоха.
В Коронарнии утренней нет ни души.
Лишь сирены орут да гремят калаши...
Изолируюсь в дачном поселке.
Зимородки, сороки и пчелки,
Мухоловки, касатки, плешанки,
Водомерки, удоды с совой
Из чудесных рассказов Бианки
Охраняют душевный покой.
По секрету смотрю инфракрасный закат.
Прямо с крыши встречаю рассветы.
Календарь у синичек беру напрокат
И листаю лесную газету.

* * *

Есть в майской бессоннице холод дождливый,
Кислющие темно-зеленые сливы,
Тоскующей сплюшки протяжное «сплю-ю-ю».
Я время такое люблю.

И мир симулякров, онлайн и «Зума»
Не кажется мне бесконечно безумным.
Сорвав цифровую петлю —
Я время такое люблю.

За глупых лисят на заброшенной пашне,
 За то, что работы нет даже домашней,
 За то, что терпенье подходит к нулю...
 Я время такое люблю.

* * *

Бог посылает подработки,
 Прощает давние грешки,
 С улыбкой смотрит наши фотки,
 Читает грустные стишки,
 Благословляет зреть черешню,
 Творит любовь из ничего,
 Преображает нас, потешных...
 А я?
 Я верую в Него.

* * *

Моря нынче все меньше и меньше.
 Небоскребы растут как грибы.
 Пустота оцифрованных женщин
 Заполняет пробелы судьбы.
 Хорошо то, что сбиты настройки
 И расшатан железный забор,
 А над всей сетевой помойкой —
 Настоящего неба шатер.

* * *

В бермудских треугольных городках,
 В любовных треугольниках Ривьеры
 Безудержно глициния цветет
 И простодушно пламенеют маки,
 Пока их не объявят сорняками.
 Сизоворонок, золотистых щурок
 И ярких субтропических стрекоз
 Запоминаю в безупречном мае.
 Все будет однозначно и всерьез.
 Выпускники небесного Лицея
 Над заповедной зеленью поют.



С научною дотошностью Линнея
 Я эти голоса распознаю.
 Мой райский сад шумит за блокпостами.
 Мой личный путь — на карте небольшой.
 С такими несусветными местами
 Мы связаны и телом, и душой.
 Ты этот главный месседж улови:
 Свобода — это опция любви.
 На золотых известняковых скалах,
 На лепестках изменчивых и алых,
 На кучерявых, рыхлых облаках —
 Печать такой немислимо́й свободы,
 Такой, что и не снилась нам, походу,
 В бермудских треугольных городках.

* * *

Я там, где обитают пролы,
 Где тихо после девяти
 И где подростки вместо школы
 Играют в «Доту» по Сети,
 Где в комендантский час не спится,
 Цветет разнузданно сирень,
 А утром нелегальным птицам
 На огородах петть не лень...

Таврика

Я видел тебя из ледяного иллюминатора.
 Мне снились бегущие к морю хребты.
 Я помню, какое огромное глубокое зеркало
 Разбито возле твоих берегов.
 Мне закладывало уши,
 А из носа сочилась кровь,
 Я тревожился во время разлуки,
 Ревновал тебя к чужакам,
 Нагло хвастался и гордился тобой.
 И потом немного стыдился этого.
 Я всегда искренне хлопал в ладоши,
 Аплодировал, как школьник на новогоднем празднике,
 Когда шасси самолета касались твоей взлетной полосы,
 Когда я возвращался к тебе...
 А ты встречала меня за это
 Ясным сияющим небом.

* * *

В краю, где над степью — зубцы терриконов,
На вяленых камбалах пишут иконы;
Где чертополоховый вкус катастрофы,
Где перья теряют огромные дрофы,
В солено-озерном краю позабытом,
В поселке, где всё продают на Avito
Потомки пиндосов, таврических греков,
Любители жирных мясных чебуреков,
Где ловят в вонючих лиманах креветку
Твои горбоносые смуглые предки...
Мне кажется, в этом краю, дорогая, —
Ковыльные сени нежданного рая!

* * *

Мы слышим службы по ватсапу.
Смурные вести дальних стран.
Благословляет римский папа
Дистанционный Ватикан.
Я сам — похож на кроманьонца
В пещерной пустоте Сети...
Но, слава богу, светит Солнце.
Звезда ближайшая, свети!

Встреча

1.

Холодный ветер мне напоминал
Камлания заблудшего шамана.
Изогнутый колючий можжевельник
И краснокожий ядовитый тис
Передавали редкие фактуры,
Которые не знает мегаполис.
Я в эту ночь прочувствовал, что мне
Намного ближе звезды и планеты.
Я их теперь узнал по именам!
Вот Вега, вот Дракон, Кассиопея,
Вот семь восточных девушек Ковша,
Вот путеводная звезда морская,
Небесная накладка мореманов.



2.

Глубокую ночную тишину
Слегка тревожил нервный звон варгана,
Похожий на звучание сверчков.
Я ощутил, что все теряет смысл:
Просодия, и рифма, и размер,
Лауреатство, знания, карьера,
Неловкий клейстер хрупких отношений,
Который часто путают с любовью.
Все относительно. Все мелочь и пустяк
Пред этим бесконечным звездным небом,
Пред этим необъятным черным морем,
Которое мы космосом зовем.
Им восхищались Иов, Пифагор,
Библейские волхвы и Аристотель,
Коперник, Циолковский и Платонов...
А вот теперь и я ошеломлен,
Обескуражен и почти раздавлен.
Запрятанный за пояс Ориона,
Как безъязыкий инопланетянин,
Юродивый свидетель красоты.

3.

Вся эта пионерская бравада
И бардовские полтора аккорда,
Вся графомания и хипповской задор
И даже все прозрения космистов,
Остепененных мутных астрономов... —
Все это, в сущности, одно и то же
Пред звездным небом,
Пред бескрайним морем,
Пред космосом, в котором мы живем.



Валерий КОПНИНОВ

СВАДЕБНЫЙ ЧЕРТОПОЛОХ

Р а с с к а з

— Вот вы говорите: «Бога нет, Бога нет...» — перекрикивая подгулявшую за праздничным столом родню, соседей и разношерстных знакомцев, провозгласил дед Игнат. При этом для верности он привстал и, вытянув вверх указательный палец, погрозил всем присутствующим, уличенным в крамоле.

Третий день в семействе Чертковых, коренных жителей села Малая Лебедь, гуляли свадьбу. Женился Мишка, самая что ни на есть середка из обоймы внуков деда Игната. Детей у деда Игната имелось трое: Анна Игнатьевна, Петр Игнатьевич и непутевый Степка, отчества в обращении к себе не заслуживший. А внуков и внучек — пятеро. Старшие Васька и Колька уже давненько были при женах и при детях, а за Мишкой шли еще незамужние по малости лет сестры Светка и Танюшка. Светке подходило к шестнадцати, а Танюшке едва минуло одиннадцать.

— Да кто говорит-то, кум? — с другой стороны стола отозвался сосед Чертковых Иван Звягинцев, значившийся в крестных у Мишки-жениха. — Брось ты свою поповскую агитацию! Никто и не говорит... Чё ты зря на людей-то?

Иван был еще тот спорщик и не упустил бы благоприятный момент для горячей, с матерочком, дискуссии. Но наемни Иван на радостях за крестника так набрался очищенной, что и уйти домой на своих ногах не смог, и свалился ночевать в бане на голые доски между полком и печкой. И оттого вид сегодня имел разбитый, нрав приобрел покладистый и возражал больше по инерции, так как каждое произнесенное слово сотрясало его буйную головушку.

— Хэ-эх! — скептически хмыкнул, никак не унимаясь, дед Игнат, все еще продолжая буравить воздух вздернутым пальцем, намеренно добавляя себе значительности при невыразительном по мужицким меркам росте. — Пуцдай не говорите! А только все едино — думаете... Ни Бога для вас нет, ни черта! Лихоманка вас раздери!

— Ну, чё понес-то, шиш старый? — одернула деда Игната сватья Наталья, занимавшая за столом по своей дородной комплекции почти что два места. — Чё надо-то? Сидим по-людски... Чинно, благородно...

И ведь специально шишом поименовала, чтобы обидеть на ровном месте.

— Да вот именно, что не по-людски! — продолжал дед Игнат, насупив брови, что свидетельствовало о сватьином попадании в слабое место. — Именно что! Бога забыли... В церкву молодые не сходили! Поставили в управе свои закорючки на бумажке и — семья! А вот в старые времена... У Бога-то с людей спрос иной!

Так, слово за слово, глядишь, потихоньку докатилось бы дело до скандала, а то и до рукоприкладства. Уже дед Игнат, махнув для пущей выразительности неуклюжей рукою, кокнул длинноногий фужер (зайствованный, кстати, у сватьи Натальи), разлив вино на белую скатерть. Уже, недовольно колыхая внушительной грудью, сузила глаза в самые щелки сватья, намереваясь еще строже одернуть смутьяна. Уже заерзал кум Иван, раздувая щеки и, казалось, набирая полный рот бранных слов, чтобы с разными коленцами обложить ими седую маковку деда Игната, но тут...

Но тут вовремя подоспел баян. Конечно, не сам по себе, а в умелых руках Толика, школьного учителя пения и первого человека на всех свадьбах в Малой Лебеди.

Течет ручей, бежит ручей,
И ты ничья, и я ничей... —

высоко, почти по-женски вывел Толик, одновременно вдарив по круглым, как пуговики на рубашке, перламутровым кнопочкам баяна и вдохновенным движением головы откинув назад редеющие уже на макушке рыжие кудри. А все присутствующие с чувством явного облегчения подпели ему, уходя в бесшабашное веселье, тут же забыв про несвоевременную проповедь деда Игната.

Тут же подняли тост: «За здоровье молодых!» Кто-то, махнув рюмку, не мешкая заголосил: «Горько!» — и все еще смущающийся на людях Мишка привлек к себе для положенного поцелуя законную, уже третий день как, супругу Светланку.

А деда Игната внучок Колька потянул во двор, вроде бы покурить и между делом успокоить. Но Колька, дымя с дедом на пару, с такой тоской поглядывал на дверь избы, за которой шумело веселье, что дед Игнат сам погнался Кольку обратно под предлогом, мол, «он хоть и август ноне, а к ночи холодат, и нечего тут в одной рубашонке зябнуть». И, подождав, когда за внучком захлопнется дверь, потелепался к старой яблоньке — подалее от глаз да и, не приведи господи, от греха, чтобы чего доброго не разругаться с кем-нибудь из своей же родни в пух и прах.

Из будки высунулась дворовая сучка Дамка, по случаю гостей пребывавшая нынче на привязи. Вопросительно склонив голову набок, она наблюдала за одинокой фигурой хозяина, белеющего праздничной рубашкой под сенью ветвистой яблони. Яблони по своим летам древесным такой же старой, как дед Игнат, выродившейся давно в дичку и оставленной существовать во дворе исключительно ради развесистой кроны, дающей летом обширную тень на установленные для отдыха столик и скамейку.

— Дамка, Дамка... — позвал дед Игнат собаку и легонько присвистнул: — Фить, фить... Давай хоть с тобой поговорим. Хоть тебе я объясню суть процессов, так сказать...

Дамка, настропавив чуткие уши, по-прежнему стояла, наполовину высунувшись из будки, видимо, ожидая определенности со стороны хозяйина, чтобы или выйти полностью во двор по долгу собачьей службы, или, если повезет, попятиться в недра своего собачьего домика и продолжить сладкий сон, навеваемый обилием объедков со свадебного стола. На всякий случай выказывая преданность, Дамка помахивала хвостом, и, хотя движение хвоста скрывала будка, оно угадывалось по Дамкиному настроению и вихлянию передней части ее корпуса.

Хлопнула дверь, и, легонько ступая по крылечку, будто бы не сошла, а спорхнула младшенькая внучка Танюшка — дедова любимица. Да и не только дед родной радовался ей, любой да каждый мог бы, взглянув даже мельком, засмотреться на эту милую девчушку, несущую в себе неброскую статью первой ранней красоты, схожую с трепетным мартовским цветением вербы. Тем цветением, что по-особенному дух захватывает. Потому как время безмятежного чистого детства, пережитое нами когда-то, навсегда таится в укромном уголке сердца и отзывается теплом при встрече с ныне находящимися в этой счастливой поре.

— Деда, ты где?

— Здесь я, Таньша...

Танюшка встала поодаль, дожидаясь, пока дед досмолит свою пахучую папиросину. Не одобряла она курильщиков. Дед Игнат, зная про эту Танюшкину причуду, поторопился: два-три раза пыхнул беломориной и притоптал окурки ногами.

— Ну все, все, — разгоняя дым ладонями, забубнил дед Игнат, — иди уже. И чего ты так дым-то табачный не уважаешь?

— Да нехорошо это, дедушка, — серьезно ответила Танюшка, — когда у людей дым идет изо рта и из носа. Страшно...

— Ишь ты — страшно! — с уважением и некоторой долей удивления воскликнул дед Игнат. — А ведь истинно: когда-то считалось, дым из носа выпускать — дьявола тешить! Ишь ты... Ну а чего выскочила из-за стола-то? Там вон конфеты всякие, ситро...

— А я с тобой посижу немного и опять пойду, — отозвалась Танюшка. — А ты, дедушка? Сам-то что? Там весело!

— То-то, что весело, — вздохнул дед. — Да все едино — не людски...

— А как, деда, по-людски?

— Ну это же понятно! Как... — вскинулся дед Игнат и вдруг, не найдя ни единого слова для продолжения мысли, замолчал.

И действительно — как? Как рассказать дитю малому, чего и сам уже не совсем понимаешь? Что чувствуешь своим нутром, а словами передать затрудняешься. Про Бога завести речь? Не поймет, да и самому про Бога хоть на старости лет понять бы...

На некоторое время во дворе повисла звонкая тишина, прерываемая иногда падающими со старой яблони ранетками, стучащими скупой

подрюмяненными бочками о доски уличного стола и скамейки. В августе всегда так бывает: «лишние», слабенькие ранетки яблоня сбрасывает, чтобы дать возможность дозреть остальным. И ведь никому не нужны эти крохотные, размером с ноготь детского мизинца плоды. Но яблоне до того дела мало, знай цветет каждый год сызнова и ранеточки свои мелкие завязывает.

— А хочешь, Таньша, я тебе расскажу про то, откуда фамилия наша пошла? Каким манером Чертковы на свете белом объявились?

— Сказку, деда?

— Нет! Не сказку, — поторопился с ответом дед Игнат. — То про нас... Все взаправду было. То мне мой дед рассказывал... Семен Егорыч. А тому — его дед Тихон Дорофеич. И не сказка это. У Семена Егорыча история та, вроде как летопись записанная, хранилась за образом Пресвятой Богородицы. Он-то грамотный был, мой дед, а твой пра-пра... Ну, в общем, дед, да и точка. Что, будешь слушать?

— Буду, — согласилась Танюшка, устраиваясь на лавочке поближе к деду.

Дед Игнат прокашлялся, вроде как для порядка, но так громко и решительно, что Дамка, убравшаяся было в свою конуру и приготовившаяся к спокойному и заслуженному отдыху, снова высунулась из будки. А дед, основательно прочистив горло, словно желая, чтобы слова его полегче выкатывались наружу, начал свою историю.

— Давно это было... Года не назову, а так примерно — лет полтора-ста тому назад. Дед моего деда, а твой пра-пра... предок, одним словом, трудился в селе кузнецом. А село наше и тогда, стало быть, и при царском режиме, тоже Малая Лебедь именовалось, и река прозывалась таким же манером — Малая Лебедь. По реке и название дали. Но многое в те времена по-иному смотрелось. Хоть и дороги там всякие железные по Россее потянулись из Москвы до Петербурга и, может, далее куда... А у нас в Сибири таких чудес еще не знали. Это я говорю, чтобы ты, Таньша, могла представить себе все как есть на самом деле. Вот школы твоей, кинотеатра в клубе и стадиона футбольного — всего этого не было. Зато на речке, там, где вы, ребята, купаетесь, повыше омута Невестиного, мельница стояла... Глыбоко в омуте том — дна из нырявших никто еще не доставал. И тонули в омуте нередко. Всё девки сплошь, как на заказ. Словно утягивал их кто за косы. Косы-то у девок длинные, вот и... А некоторые так по собственному почину. И поди ж ты, места бездонные в Малой Лебеди по сей день сохранились, потому что плотина из лиственницы второй век стоит — не разваливается. Мельница, она... Это сейчас заботы нет — зерно отвез в райцентр и обратно мучицу тащишь, а тогда... Ну, это я не про то завелся... Значит, мельница была водяная, лесопилка конная, ну и луга сенокосные, и пашни заплатками невеликими промеж колков да роцц березовых, тех, что на той стороне реки. И пасека — там же. А по эту сторону, прямо от околицы — лес. И вот дальше, Таньша, пойдет рассказ уже не от меня, а через деда моего Семена Егорыча, от более давнего предка нашего — Тихона Дорофеича. Ну, слушай, стало быть, коли не запуталась еще совсем в родне-то.

Ранее-то мы многого не ведали. Вот школы своей в селе не имели, кто позажиточней — те возили ребятишек на обучение в село побольше с названием Усть-Лебедь. Там две реки — Малая Лебедь и Большая Лебедь — сходились. Мой отец-то тоже кузнецом был — я от него все умения перенял. По грамоте он до трех классов меня дотянул, а далее — я сам образовывался. Ну так вот: школы не было, а церквушка — как водится. И батюшка при ней. В больших-то селах батюшка всегда справный имелся, а наш — непутевый какой-то, сам себе на уме, да и питием сивухи не гнушавшийся. И ни службы толковой от него не знали, ни проповеди...

До того дошло, что в селе колдунья образовалась, или, попросту говоря, ведьма. Это случилось, когда я уж в возраст вошел и за батю все чаще самым большим молотом в кузне орудовал.

Поселилась эта ведьма на самой кромке леса посреди вековых сосен, где в одночасье образовалась ее избушка. Сначала-то избушка на другом конце села, у реки, стояла и принадлежала семье Прохоровых, но те вдруг, все как один, преставились от недуга внезапного. Дом стоял с месяц пустой, а опосля, в день третий после Троицы, на трех телегах приехали в село чужие, по виду цыгане, брошенный дом Прохоровых по бревнышку раскатали, к лесу перетащили и там сгромоздили сызнова.

Неделю цыгане гуляли в том дому и, пошумев изрядно, скрылись незнамо куда.

А в дому осталась жить Анфиса — новая хозяйка. Баба справная, лет зрелых, но моложавая да пригожая. Коса длинная, до пояса, только не русой масти, что у тутошних водится, а черная, на манер угля. И крепостью тела на местных пышных баб не походила, а являла худобу да змеиную гибкость. Тем и влекла — сложением диковинным, почитай заморским, как утверждал бывший солдат Антип, в дальних странах побывавший.

На пригожую одинокую бабенку местные ходоки сразу глаз положили, а прознав, что Анфиса еще и наливочкой балуется, принялись по сумеркам шеборшать под окнами у нее с посулами разными.

Вот тут и начались дела такие, что люди смекнули: черно на душе у Анфисы, недаром безбожные цыгане и доставили ее в наши места.

Сначала один ухажер пострадал — Антип, самый настойчивый в дерзновениях своих. Мало что был он на ногу покалеченный на войне, а тут угораздило его впотьмах под Анфисиним окном наткнуться на ветку и глаз обоих напрочь лишиться.

Другой — Еремей, брат мельника, — кипятком ошпарился, заплетая ноги на ровном месте и лицом угодивши в чугунок с токмо что сваренными Анфисой щами.

Третий — Пантелей, мужик семейный, тоже не сдюживший хочи своей и круживший около, — он в погреб по Анфисиному велению полез да и рухнул мешком с лестницы, ноги себе переломал.

Были там всякие еще случаи — кто в колодец упал и, пока не вынули его, все органы застудил, кто в сопернической драке за Анфисин поцелуй





подобного себе жизни лишил и на каторгу отправился, а кто просто руки по недоумию своему кобелиному на себя наложил.

Мельник за брата своего Еремея в суд хотел подать, дескать, специально Анфиса подстроила со щами-то, чуть не губернатору самому жалобу отписал — чин чинарем. Собрался ехать в Усть-Лебедь, наутро встал прошение везти, а кони все пали ночью — лежат в стойлах, глаза стеклянные, пена на мордах кровавая. Так ни одну лошадь и не отходили, издохли все. Хотел опосля с оказией послать, да дураков нету — не согласился никто.

Так вот и поняли люди: ворожит Анфиса, ведает тайны черные и мор на кого вздумается напускает. И уж дом-то ейный обходить стали большим крюком.

А мне к тому времени шинадцать годков минуло, но по силенкам да по справности парням взрослым я не уступал, а иных и побасче был. Тут тятка приступился ко мне строго: «Женись, Тишка. А не то я бобылем живу, как мамка твоя преставилась, царствие ей небесное. Дом наш без хозяйки. Мне поздно уж, а тебе в самый раз».

А я-то и не прочь. У меня и девка хорошая на примете виднелась — Таисья. Таюшка Зуева — мельникова дочь.

Таюшка по годам своим вошла в невестину пору. Сватались к ней не один раз, но не проявила она желания, и батюшка ейный женихам тоже согласия не выразил. И вроде ничего такого в облике ее для муштинского глаза приманчивого не маячило, красы там какой-то особенной, как принцесс разных описывают. А только даже при характере ее строгом по всему видно было, что у Таюшки сердечко золотое и доброты да ласки томится в ней преизрядное количество. Мне она глянулась, и Таюшка на меня глазами теплыми смотрела так, что сердце мое чуяло — приятен я ей.

И от тятки мне отделиться хотелось. Как мамка-то померла, он каждый день да через день бражкой баловался. Иной раз и по три дни угомониться не мог. А с пьяных глаз норовил учить меня уму-разуму. И с того ученья ходил я в синяках да в шишках.

Ладно бы — синяки и шишки. Дело проходящее. Что хозяйству нашему разор с того приключился — то беда была. В кузне работы невпроворот, а тятка лыка не вяжет. Гвозди ковать — ничего мудреного, там и самолично справиться можно. А коль что фасонистей? Ось ту же, рессорку? В тех трудах надобно вдвоем управляться, чтобы форму нужную выводить. Одному никак.

Да и прежнего расположения от людей не стало. На что уж в селе кузнецу особый почет и уважение, но тогда почет долог, когда работник дело разумеет. А коли неработью стал — поминай как звали. Поначалу тятке сочувствовали, что, мол, вдовый мужик — это половина мужика. Ждали, что угомонится. Женить его даже хотели, думали, оправится при бабенке путной. А он только отмахивался: «Пуцай вон Тишка женится».

И потому, из положения нашего, свататься мне к Таюшке все равно было что по воздуху полететь. Семья Зуевых большая, крепкая да работающая. И — при мельнице. Им кого ни попадя в женихи не подашь. Им ровня нужна. И посматривали они всерьез в сторону Илюхи Малыгина, сынка пасечника.

Илюха — как есть парень видный и обходительный. Лицом бел, волосами кудряв, пряниками девок угощал да леденцами. А моя рожа с крапинами от угля да руки с подпалинами от железа, в горне каленного, — не тот коленкор. Хоть и сильные руки, и сноровистые, но ведь кралям разлюбезным — им еще и церемонии подавай. А я уж точно до них не мастак.

А Илюха, тот времени не терял, жужжал, точно шмель, вокруг Таюшки. Да еще и Кольша Савватеев тоже виды на Таюшку наметил. А что ж ему стесняться было — у его отца лесопилка, к нему, как ни крути, почет и уважение у Зуевых завсегда имелись.

Так уж доспело, что осенью либо те, либо другие сватов до Таюшки заслали бы. Вот уж маета мне с того дела пришла...

И дернул же черт меня вспомнить в горестях своих про Анфису. Ну, раз ведьма она — пуцай мне и поможет. Я же дурного просить не буду — пусть наворожит там или еще чего удумает. Только чтобы Илюхе да Кольше от Таюшкиных ворот указала она поворот.

Прихватил я наливки малиновой, орехов кедровых и отправился Анфису умамливать да к своим делам поворачивать...

* * *

Тут входная дверь распахнулась так, будто кто пинком по ней поддал, и на крыльцо вывалились гости шумной ватагой, березкой промеж осин угадывалась невеста в свадебном платье. Следом за ней, не отставая ни на шаг и даже для верности прихватив Светланку за локоток, семенил Андрейка, бывший ее одноклассник.

Светланка и Андрейка сбежали по ступенькам, а остальные остались на крыльце держать дверь.

На шум выскочила из будки и заметалась на привязи растерянная Дамка, то принимаясь лаять, то дружелюбно размахивая хвостом.

— Светланка! — гоношился Андрейка. — Скорее! Идем в баню прятаться...

— Сам иди в баню! — капризно отвечала Светланка. — Что ж ты только на третий день надумал красть-то? Выжидал... Теперь отвали!

На селе ну разве что совсем уж дети малые не знали, что Андрейка тоже сох по Светланке. Еще с седьмого класса. Парочкой они выглядели очень даже подходящей — оба высокие, спортивные, нрава веселого и разумения твердого. И складывалось у них вроде все как надо, а чего-то в оконцовке не задалось. Андрейку и звать-то на свадьбу не хотели, но куда денешься — друзья детства.

— Ты чё, Свет, Москва-динамо? — с обидой протянул Андрейка. — Ну, пойдём... Мы же уговорились: я краду невесту. Тебя то есть... Требую выкуп. Ты же сама просила! Так дела не делаются...

— Ну и не ори, — огрызнулась Светланка. — Иду я... И пошутить нельзя, что ли?

В дверь изнутри дома уже ломился спохватившийся жених. И как только Светланка и Андрейка шмыгнули в баню, дверь отворили.



И заорали сразу со всех сторон.

— Ну чё, жених, проспал невесту?!

— Всё, Миха, — заново холостой!

— Баба с возу — кобыле легче!

— Смотри, принесет молодая чего... В подоле!

От последнего комментария Мишка дернулся и побелел лицом.

— Где? — спросил он негромко.

— Ищи-свищи! — дурниной заорали на крыльце.

Дверь бани приоткрылась, на белый свет выскользнул Андрейка и затараторил почти без пауз:

— По старой традиции, положенной на всех правильных свадьбах, жених, упустивший невесту, обязан предоставить по требованию всей честной компании выкуп за невесту, на усмотрение честной компании и лично удальца, невесту укравшего.

— Да хорош придуряться... — начал было Мишка.

Но на крыльце заблажили неимоверно.

— Выкуп, выкуп давай!

Из дома вывалился Толик с баяном и ни с того ни с сего заиграл «Полет шмеля», с таким чувством и темпераментом перебирая виртуозными пальцами по отзывчивым кнопкам инструмента, словно совершал некий эротический обряд на теле сладострастницы.

Мишка торопливо спустился с крыльца и подошел к Андрейке почти вплотную. Парнем Мишка был крепким и в плечах широким, но ростом пониже Андрейки, поэтому Андрейка в этом стоянии друг против друга посматривал на Мишку вроде как сверху вниз.

— Выкуп гони, — напряженно улыбаясь, проговорил Андрейка, — женишок... Чё дать можешь?

— Могу дать в роговой отсек! — тихо, чтобы слышал один Андрейка, произнес Мишка.

— Ну, мы ведь и ответку сообразим! — в тон ему ответил Андрейка.

А на крыльце тем временем разные поколения гостей, сошедшись в непримиримых противоречиях, спорили, что полагается для выкупа по всем правилам. Решили все-таки положиться на старших.

— Хоть спорь, хоть не спорь, а вариантов не более двух! В первом — деньгами откупались, — со знанием дела отвечивал Иван Звягинцев, придавая прокуренным усам своим горизонтальное, «гусарское» положение. — А во втором — свидетель пил из невестиной туфли, сколько могло там водки поместиться.

— Ты чё, дядь Вань? — засомневался кто-то из молодняка. — Она же грязная!

— И что с того? — в свою очередь подивился на некомпетентность подрастающего поколения Звягинцев. — Это же не компот тебе... От водки всякий микробдохнет!

— Слышал, Андрейка? — не переставая играть на баяне, крикнул Толик. — Выбирай: деньги или туфля!

Вместо ответа Андрейка вынул из-за пазухи белую Светланкину туфлю. Все заржали. А с крыльца уже бежал Мишкин дядька — Степка,

всякий раз охочий до водки, как и до всего остального, содержащего алкогольный градус, и готовый исполнить роль отсутствующего свидетеля.

Принесли водку, набухали чуть не полбутылки в туфлю. Степка, проливая через край себе на рубаху, выщедил содержимое, вернул туфлю невесте, и вся компания подалась обратно в дом. Последними шли Светлана, потягивавшая за рукав сбавляющего шаг Мишку, и Андрейка, пару раз презрительно сплюнувший себе под ноги через щербину между передними зубами.

Вот так — человеческая субстанция выплеснулась во двор, побурилла, устроила небольшой шторм местного значения и втекла обратно в дом, оставляя на отшибе событий так и не сориентировавшуюся в ситуации Дамку и не замеченных никем в плавно наползающих вечерних сумерках деда Игната и Танюшку.

— Дамка, Дамка, — позвал дед Игнат, — фить, фить...

Дамка из вежливости вильнула хвостом и, порывшись носом в чашке среди тестовых ошметков пирога, из которых она ранее выела мясо, фыркнула и полезла в будку.

— Ну что, Таньша, — наклонился дед Игнат к внучке, — не скучно тебе? А то пристал дед с разговорами...

— Нет, деда, нет! — поспешно ответила Танюшка. — Что там дальше было?

— Значит, дальше? — заулыбался дед Игнат. — Что ж, слушай... Так вот: продолжается история предка нашего Тихона Дорофеича, как он сам ее и рассказывал.

* * *

...Прихватил я наливки малиновой, орехов кедровых и отправился Анфису умасливать да к своим делам поворачивать.

Не больно приветливо приняла меня Анфиса. Однако в дом пустила и за стол пригласила. Выставил я, как положено, наливку, орехов насыпал, а сам сижу ни живой ни мертвый — вдруг она за спину зайдет, слова какие пошепчет, окропит водой болотной и порчу накинёт на меня, чтобы впредь неповадно было.

Нет, ничего за спиной у меня Анфиса шептать не стала. Взяла штоф, покрутила в руке и на свет через играющую наливку посмотрела. После засмеялась, два стакана вынула и пирог грибной из печки достала.

— Вижу, пришел ты не попусту, — заговорила Анфиса, — сердцем маешься...

Голос у Анфисы звучал молодо и приятно, только иногда потрескивал, как изгорающий воск на свечке. И верно на селе говорили — сила бабья от нее исходила неодолимая. И хоть сарафанчик на ней был под горлышко и даже руки укрывались полностью под длинными рукавами, все одно — казалось, что тело ее выпирает отовсюду в самой что ни на есть заманчивой наготы.

Двигалась по избе она легко и плавно, незаметно делая десятки дел, — я и не понял, когда она успела наполнить стаканы рубиновой, что

свежая кровь, малиновой наливкой, нарезать пирог, наставить на стол чашек и тарелок с брусникой, засоленной в капусте, зайцем, жаренным в сметане, деревянное блюдо с янтарными сотами, истекающими душистой волной меда, и домашним козьим сыром.

И при этом все расспрашивала меня и подливала в наши стаканчики, не устававшие звонко стучаться друг о дружку.

За веселым потчеванием я ей и пожалился на тугу-печаль свою и, захмелев изрядно, даже плести ей начал такие басни, что окромя нее «никто мне помочь не в силах» и пущай она беду мою разведет, а я тогда для нее «уж так расстараюсь, так расстараюсь».

— А что же я могу сделать для тебя? — словно бы дразня, отвечала Анфиса. — Ума не приложу! Чего бы ты хотел-то?

— Я что ж... Зла не хочу им, — замылся я. — Пущай только они отлынут оба от Таюшки да других невест себе ищут...

— Вот, значит, как? — смеялась Анфиса — Отлынут пусть... Да любишь ли ты свою Таюшку?

— Люблю, люблю! — запричитал я. — Вот те крест...

И я повертелся вокруг себя, выискивая глазами образа, но, не найдя ничего похожего ни в одном углу горницы, вдруг вспомнил, где я и зачем пришел, да так и замер с вознесенной надо лбом рукой.

— То-то! — поучительно произнесла Анфиса. — Раз пришел ко мне, значит, и дело твое соответствует... А если ошиблась я в тебе — то вон порог, а за порогом дорога.

Уж и не рад был, что ноги сюда привели, но тут замутилось в моей голове, и словно увидел я за окном на той дороге, куда перстом указывала Анфиса, свою Таюшку в подвенечном уборе да с Илюхой, пасечниковым сыном, об руку.

— Чё хошь сотвори с ними, — завыл я, как пчелой ужаленный, — только отвори от Таюшки...

— Так не пойдет, — снова насупилась Анфиса. — Хочешь грех на меня перевести? Ты сам сказывай: что делать мне и с кем?

— Умори, умори их, треклятых! — будто рявкнул кто-то иной из моей утробы. — Илюху Малыгина да Кольшу Савватеева...

— Хочешь, чтобы так и было? — совсем уж в строгостях подступила Анфиса. — Не повернешь на попятную?

— Хочу! — изрекал иной из утробы. — Не поверну. Ты соверши. А я так расстараюсь, так расстараюсь...

— Ну, хорошо, — изменившимся, спокойным голосом произнесла Анфиса. — Ступай домой и приходи в ночь, как луна без ущерба будет. Бери сапоги кожаные да рукавицы кожаные. И прихвати с собой курицу живую, яйцом тяжелую — ни молодую, ни старую, ни белую, ни черную. Никому ничего не сказывай — себе хуже сделаешь. А теперь ступай, да иди — не оглядывайся!

И как тут ослушаешься? Пошел я, ноги гнутся, зубы стучат, и так повернуться тянет, что пот прошибает. Иду — держусь. А сам думаю: «Чего она сейчас там вытворяет? Может, крестом перевернутым крестит? А то взяла и плюнула трижды в спину? Или на тень мою ногой наступила?»

Так вот и шел, на каждом шаге гибели ожидая. А как домой пришел — рухнул и уснул. Проснулся — солнышко уже высоко было...

Дальше — дни шли помаленьку. И час урочный с каждым днем близился. Хотя не так уж, чтобы очень хотелось мне той ночи дожждаться, как луна без ущерба настанет. Страх меня брал — это что же свершиться должно-то?

Сапоги кожаные с рукавицами я припас, но спрятал подальше и нет-нет да и думал, что либо выброшу свою амуницию, либо пожгу.

Иной раз ходил я ввечеру к реке, где девушки на лужку скошенном песни пели да хороводы водили, чтобы на Таюшку посмотреть, а то и заговорить с ней ласково.

Ухажеров — Илюху и Кольшу — я там не видал ни разу. Может, ухаживать им было лень, а может, и любовь у них поостыла. Я уж и думать стал: не пойду к Анфисе, сделаю вид, что и не просил ничего.

Однако покой этот из меня сразу вышел, как только в кузню за явился отец Илюхин и заказал новые колеса и рессорки для тарантаса мягкого хода. И антирес свой обозначил: «На свадьбу молодым». Стало быть, сыну евонному и Таисии Зуевой.

И опять я в прежнюю смуту вошел, а тут и ночь означенная подошла.

Прихватил я в мешок сапоги с рукавицами да курицу, с насеста снявши, туда же сунул и, дождавшись, как темнеть зачнет, пошел к избушке Анфисы.

Луна в ту ночь вздымалась крупная — что колесо от тарантаса (вспомнил я сразу заказ мальгинский на сыновью свадьбу), и казалось, что катится она кованым диском прямо по верхушкам деревьев и того гляди загремит, ударившись о торчащий корень.

Вечер приступал сумрачный, но от невиданно крупной луны исходило столько света, что припушивший лесную землю сосновый игольчатый покров просматривался во всех подробностях. Вплоть до каждой иголки и шишки растопыренной. По такой оказии, пристроив на спине мешок, поспешил я к лесу...

* * *

Прерывая деда Игната на полуслове, дверь дома снова отворилась, только на этот раз тихо, со всем желанием не привлекать внимание.

В приоткрытую дверь вылилась песня про Хасбулата удалого.

...Дам коня, дам кинжал,
 Дам винтовку свою,
 А за это за все
 Ты отдай мне жену...

Песня прозвучала парой строчек и притихла за притворенной дверью, продолжая пробиваться нечленораздельным «бу-бу-бу», да и то если нарочно прислушиваться.

В уже стусившейся темноте на крыльцо выскользнули двое и укрылись в дальнем углу, куда не проникали ни лунный свет, ни слабый отблеск уличного фонаря. Но даже в темноте угадывалось, что двое эти — мужчина и женщина. Угадывалось по тихому смеху, шепоту и по тому, что они там, на крылечке, совершенно отчетливо целовались. Целовались сладко, с томным постаныванием и уж точно, как водится в подобных случаях, с предоставлением полной воли рукам.

Конечно, все эти действия в большей степени были ведомы деду Игнату, а Танюшка, ничего не понимая, вопросительно таращила на деда глазенки, боясь и подумать о взрослом и запретном.

«Кто ж такие? — подумал дед Игнат. — Вот ведь лиходеи...»

В доме грохнул смех, и, видимо, такой дружный, что почти без искажений проник даже на улицу. И далее — опять: «Бу-бу-бу...» — как через ватное одеяло.

Очередной поцелуй перешел в сдерживаемый горячий разговор.

— Что же мы делаем? — прерывистым шепотом произнесла женщина. — Боже ты мой... Ты с ума сошел... Отпусти.

— А что мы делаем такого? — увещевал мужчина. — Ну скажи? Я виноват, что меня тянет к тебе? Сил моих нет...

— Отпусти! — голосом, наполненным истомой, проговорила женщина. — У меня сердце сейчас выскочит...

— Не выскочит, — успокоил мужчину, — я его рукой держу.

— Что ты делаешь? — отозвалась женщина. — Я сейчас раздеваться начну... Прямо здесь!

— Кто бы возражал...

— Нет... Ты с ума сошел.

В сенях ударило что-то металлическое, загремев и покотившись по полу, наверное, ведро. С крыльца к улице метнулись две фигуры. Первая женская и за ней — мужская.

— Где тут свет у вас? — раздался из сеней голос.

Следом осветилось большое окно сеней, загорелась лампа над крыльцом, и из дома вышел Толик, потирая ушибленный лоб, в обнимку с другом-баяном. За ним потянулись и остальные гости.

На крылечке довольно быстро становилось тесно и шумно.

— Гав, гав! — лениво обозначила свое присутствие Дамка.

— Дамка, на место! — крикнул Василий, старший брат жениха.

Дамка покорно попятилась, словно только и ожидала чьих-нибудь указаний подобного рода.

— А пошли до речки дойдем! — предложил кто-то.

— Пойдем, пойдем! — поддержали предложение несколько голосов.

— Ну ее к черту, речку! — воспротивились другие. — Лучше к лесу прогуляться и костер развести...

— Толик, — перекрикивая остальных, подала голос сватья Наталья, — давай на ход ноги что-нибудь лирическое.

— А давайте на ход ноги, — ответил Толик, — лучше водочки, по традиции. А там и песню грянем!

Василий вернулся в дом и вскоре вышел с початой бутылкой и парой стопок. Стопки, наполняясь снова и снова, быстро пошли по кругу. Одной бутылки, конечно, не хватило, и Василий сбегал за второй.

— Луна-то, едрить твою в кочерыжку, — заметил кум Иван. — На крышу лезь — и рукой достанешь.

— Я вот в армии когда служил, на Кавказе, — сказал Толик, — там в горах — звезды с тарелку. А луна, бывало, как вылезет, зараза... Я вот сяду матери письмо писать и лампу не включаю. Если у окошка.

— А молодые где? — вклинился в рассказ Толика кум Иван. — Мишка-то чё?

— Мишка твой спит, — ехидно ответствовала Наталья. — Со Степкой нализались, даром что свадьба. А где Светка — без понятия. Жених проспится, у него и спросим.

И без всякого перехода сватья Наталья затянула забубенную (не без намека) песню:

Виновата ли я, виновата ли я,
 Виновата ли я, что люблю,
 Виновата ли я, что мой голос дрожал,
 Когда пела я песню ему...

Толик поддержал исполнение инструментально, и гости, вразнобой подхватив путанные признания не известной никому девушки то ли в любви, то ли в ее отсутствии, двинулись общей компанией по центральной улице села Малая Лебедь.

И некоторое время в тихом вечернем воздухе раздавалось:

Ой ты, мама моя, ой ты, мама моя,
 Отпусти ты меня погулять.
 Ночью звезды горят, ночью ласки дарят,
 Ночью все о любви говорят.

Дед Игнат зябко повел плечами и встал, чтобы пройтись и согреться. По двору тянуло вечерней свежестью. Вспомнив болтовню Толика, дед Игнат задрал голову вверх. Луна на самом деле выглядела внушительно. Истинно: величиною с тележное колесо. Словно перебежала из полуторасталетней давности рассказа Тихона Дорофеича.

Наглядевшись на луну, дед Игнат спохватился и поспешил к Танюшке.

— А ты, красавица писаная, не замерзла у меня?

— Немножечко, — ответила Танюшка, — но я домой не хочу. Мне интересно, чем там кончится.

— Вот старый пень, дурной, — бормотал дед Игнат, поднимаясь в сени, — заморозил дитя.

Дед принес старенькое пальтишко и укутал Танюшку так, что только нос и глаза виднелись.

— Так, на чем я там остановился? — усаживаясь рядом, припоминал дед Игнат. — Ага!

...По такой оказии, пристроив на спине мешок, поспешил я к лесу.

Анфиса ждала меня на пороге и в этот раз в дом не пустила.

— Курицу принес? Ту, что говорила? — первым делом выспросила она и, получив подтверждение, потребовала: — Давай...

Забрав у меня курицу, Анфиса подошла к колоде с воткнутом в древесную мякоть топором, ловко срубила курице голову и слила кровь в горшок с каким-то варевом.

— Иди в баню, — начала Анфиса наставлять меня на нужный лад, — догола разденься. Там накинь рукавицы и этой вот мазью натришь. Весь, кроме лица... Чтобы ранки, какие есть, затянулись — не то пыльца едкая попадет, отравишься. Тело твоё защитим, а лицо сам береги — нельзя его натирать... Затем обувайся в сапоги... Получишь от меня туес берестяной, и расскажу тебе, что и где в него складывать будешь.

Я все исполнил и предстал перед Анфисой в чем мать родила, если не считать сапог и рукавиц, коими я прикрывал причинное место.

Мазь из горшка не впиталась, а покрыла меня тонкой коркой, как запекающаяся кровь, и с каждой минутой от корки этой усиливался жар в теле, словно угли, тлевшие внутри меня, вдруг раздувать зачали. Я неожиданно почувствовал в себе злую силу мышц, а с тем — желание учинить какое-либо дерзновение.

— Пойдешь в лес до Чертовой впадины. Дороги туда нет. Будешь смотреть на луну — она должна быть справа от тебя. Сил у тебя теперь долго не убудет, так что не сомневайся: гора встретится — лезь в гору, озеро — плыви. Главное: иди прямо, не сворачивай. Иначе блуждать тебе вечно... Что, ушел из тебя страх?

— Нет во мне страха, — отвечал я дерзко и даже руки развел, не пряча больше от нее, посторонней бабы, места причинного, что ранее срамным делом посчитал бы. — И сил в достатке.

— Вот и ладно! — довольно улыбнулась Анфиса. — Тебе все это сегодня понадобится. Слыхал о Чертовой впадине?

О Чертовой впадине я слыхал... Страшные и странные истории ходили в округе об этом месте. Из тех, кто его видел, живым остался один, да и тот разумом помутился. Жил в нашем селе дурачок Стёпчик по прозвищу Благой — по домам все ходил и подачками питался. Вот он, говорят, там побывал! Сгинуть — не сгинул, но уж рассказать ничего не мог. Много раз к нему приступали с расспросами, а он только смеялся, а если приставали сильнее, начинал плакать и убегал.

Говорили некоторые, что впадина случилась оттого, что с неба камень здоровущий упал, и в том месте изменилось все. И живое, и нежилое. Даже из Усть-Лебеди люди, которые с интересом узнать, что там и откуда взялось, приезжали. Но как ушли, так и сгнули все до единого.

И боялись все не только попасть в эту Чертову впадину, а даже и разговоров избегали о ней.

Но с Анфисиной мазью я и думать позабыл о страхе.

— Кто же о ней не слышал-то, — ответил я, — только бывал там не всякий...

— Кто бывал, живой не ворачивался, — резко сказала Анфиса. — А ты пойдешь и воротись. Моя власть тому порука. Иди. И набери там полный туес цветов красных. Это чертополох — особый, не простой. Им мы соперников твоих заморим. А чтобы уж точно не заплутал — вот тебе провожатая.

Только Анфиса сказала о провожатой, безголовая курица вскочила на ноги и, бодро вышагивая, двинулась в чащу леса. Я заторопился за ней.

— Иди, — крикнула вдогонку Анфиса, — и не оглядывайся!

И я пошел. Про то, что оглядываться нельзя, я вскорости позабыл, чуть ли не с первым шагом — так манила меня Чертова впадина. И как дошел до нее, не помню — мазь Анфисина просто над землей меня несла.

Все преодолел играючи, а в нужном месте расступились предо мной деревья могучие, и предстала сама собой за широкой черной каймою мертвой земли Чертова впадина.

Вот если судить о ней человеческим разумением, то и угадать невозможно, как она получилась. Уж больно ровная и правильная, как тарелка суповая, только размеров невероятных. Тарелка великана, каких и на земле не бывает, а только в сказках. Тут уж такой объем, что и сообразить невозможно — камень небесный шмякнулся или сам черт кулачищем вдарил. И по всей впадине как тлеющий огонь — цветы красные чертополоха.

Каждый цветочек — что малый огонечек. Все бутоны полураскрыты, и цветочки те, покачиваясь от ветра, красными язычками своими, будто бы холодным пламенем, воздух лижут. Заставляя и любоваться собой, и пугая всякого, кто дерзнет дотронуться до них, неминуемой опасностью обжечься.

И неудивительно, что Стёпчик здесь умом тронулся. И неудивительно, что мерли все остальные, кто к поляне с чертополохом выходил. Тяжелый дух от пыльцы чертополоха стоял не только над поляной, а и далеко за пределами. Никакой птицы, ни даже мошки не виднелось рядом. Значит, была в той пыльце погибель.

Такая важность меня взяла — что я, пусть не своими силами, но владею этим дурманом тайным, видимо, самим чертом в глубине леса посеянным. С теми мыслями отправился я ходить по полю, утопая по щиколотку в цветках чертополоха, точно в живом пламени.

Под утро безголовая курица привела меня обратно, и, как велено было, принес я полный туес цветков чертополоха Анфисе. Она туес забрала, а мне велела одеться и домой идти.

Я в бане-то, когда одевался, пробовал мазь, на мне застывшую, смыть. Да не получилось ничего. Я оделся и вышел, а про мазь, что не смывалась, у Анфисы спросил.

— А зачем тебе смывать ее? — усмехнулась Анфиса. — Что тебе, плохо было с новой силою своей да с желаниями новыми?

— Нет, Анфиса... Хорошо мне, да так хорошо, как и не было никогда...

— Ну, то-то! К тому же не смывается она водой-то... А теперь ступай. И через три дня поспрашивай соседей, как, мол, здоровье у Илюхи Малыгина да у Кольши Савватеева. Как что проведаеть — ко мне поропись. Ну, иди! И не оглядывайся!

Пошел я. И хоть страха прежнего не было во мне, послушаться Анфису и оглянуться не посмел.

А на третий день сам я, ничего еще не успев спросить у соседей, узнал все от зашедшего посмотреть на свою рессорную коляску пасечника Малыгина.

— Вот не знаю, други, как мне и быть-то теперь с этой коляской... Сынок мой при смерти лежит, — будто не своим, глухим голосом рассказывал в одночасье сгорбившийся и постаревший Малыгин, присаживаясь на скамью оттого, что ноги словно и не держали его вовсе. — Не ест, не пьет... Животом шибко мается. И Кольша савватеевский такой же... Говорят, выпили браги... Цыгане шли мимо села, песни пели и брагой сынов наших угостили. Те и отказаться не смогли. Вот пропадают теперь...

Эх, ну и что за радость-то мне открылась несказанная! Едва дождался я вечера и сразу же отправился к Анфисе, прихватив сызнава штоф вместительный с малиновой наливкой.

Встретила меня Анфиса приветливо. В горницу ввела, в коей по дощатому полу важно вышагивала та самая безголовая курица. Стол яствами устала, наливочку сама кушала и мне полнехонько наливала. Так мы с нею до зорьки пировали.

— Видишь, как все хорошо складывается, — говорила Анфиса, маслено блестя глазами. — Через три дня Илюха с Кольшей отойдут. Тебе соперников не останется. Потом мы твоего... Потом мы сделаем так, что кузница тебе отпишется. Ты станешь видным женихом, и Таюшка — твоя. Ну а с ней и мельница! Ха-ха-ха...

— Ха-ха-ха! — вторил я Анфисину смеху.

— Ну а там — сочтемся с тобой! Помнишь, говорил: «Я уж так расстараясь...»

— Помню! — соглашался я не думая. — Расстараясь!

А поутру, захмелев совсем, задумала Анфиса выпить со мной на брудершафт. Выпили мы с ней, и наши губы сошлись в таком сладком поцелуе, аж малиновый звон во всем теле зазвучал. Припомнил я, как стоял перед Анфисой голый, мазью ее натертый, и плоть моя мужская возбуждалась от немедленного желания.

Учуя во мне соки кипящие, Анфиса отстранилась, перешла в дальний угол и указала мне на дверь.

— Иди домой, кузнец, — только и сказала, — и не оглядывайся.

Я вышел на нетвердых ногах и, по-прежнему не решаясь послушаться, побрел домой, думая о сладких Анфисиных губах. Ведь это был мой первый поцелуй, и он оказался необычайным, сводящим с ума и требующим повторения. Еще и еще...

Через три дня отошли в мир иной Илюха и Кольша.

А через месяц преставился мой отец. Пришел он как-то сильно пьяный и все мне про цыган рассказывал, угостивших его такой огненной

брагой, что пить ее было сплошное удовольствие. На следующий день отец слег и, шесть дней промаявшись животом, умер.

Испустившие дух Илюха и Кольша, знамо дело, меня не тяготили своей кончиной. Наоборот.

Странно то, что тяткина смерть никаким боком не отозвалась во мне, даже ни на осьмушку или хоть того помене. А ведь помнил я: когда мамки не стало, тогда словно воздуху во мне убавили. Дышать дышал, а в голове мутнело все, без воздуха-то... И слезы лились и лились сами по себе, как думками нечаянно мамки касался.

А с отцом все не так вышло. Вроде понимал: «Вот сапоги его стоят, вот картуз висит, махра в тканевом мешке припасена — а его нет. Навсегда. Вышел тятка... Вышел весь». А мне все одно спокойно. Опускают в ямку гроб с телом отцовским, люди судачат: вот, мол, Дорофей-кузнец «душу богу отдал». Смех один. Там, внутри меня — смех... Думаю: «Да какому богу тяткина душа нужна, забудыжная».

Так ни на что и не сподобился — ни слезинка грустная не скатилась, ни слово памятное не проговорилось.

Я вступил во владение имуществом и кузней. И на селе признали меня за нового кузнеца, наследника отца своего.

Немного погодя Таюшкин отец, мельник Зуев, сам уже намеки делал: не глянется ли мне дочка его Таюшка. И говорил про то, что ищет он зятя себе хорошего, правильного да надежного.

Сговор состоялся, и налаживалась наша с Таюшкой свадьба.

Да только я уже сох по Анфисе и сватовство устраивал лишь по Анфисинуму науцению. Потому как находился в полной Анфисиной власти.

А люди все, и в нашем селе, и в самой Усть-Лебеди, стали для меня словно убогие какие-то. А я перед ними такой гонор ощутил, коего никогда и не ведал ранее. И перед Таюшкой, словно я не из тех же телес слеплен, что и она.

Забыв про все, бегал я в Анфисину избушку вечерами, с неизменной малиновой наливкой, в ожидании Анфисиной милости ко мне. И, находясь в добром расположении духа, могла Анфиса одарить меня сладким поцелуем. Но к телу так и не подпускала.

Так между делом и день свадьбы моей с Таюшкой наступил. Время летело быстро. Днем я в кузне трудился. А с вечера и до утра почитай — с Анфисой валандался, на поцелуи сладкие напрашивался. Сил не спать ночами, а после молотом махать у меня доставало. И откуда что бралось, я и не задумывался.

Не очень хотелось мне свадьбу справлять — отворотился я тогда уже и от Таюшки, и от людей, среди которых жил с самого рождения. Но Анфиса свадьбу требовала! Говорила:

— Коль ты в дом к ним войдешь — мы через тебя всю семью изведем. И Тайку твою, и папашу ейного. Мельницу к рукам приберем и будем из чертополоха муку молоть да пирожки с чертовой начинкой печь!

Задумывала Анфиса дела страшные, а я словно и не слышал ничего, словно и разговора не понимал.

На свадьбу нашу с Таюшкой чуть не все село собралось. Вокруг меня с утра какие-то цыгане крутились. Пригнали тройки запряженные, лентами да колокольцами украшенные. Меня в пиджак первостатейный нарядили да ноги в сапоги, дегтем надраенные, сунули.

Под их песни и к церкви двинули...

Вышел нам батюшка навстречу, по всему — малость пьяненький. Благословение свое нам выразил. Стою я — дурак дураком, слушаю, что велят — исполняю.

А как в церкву идти дело дошло, встал я в дверях — и ни вперед, ни назад. На крест смотрю — неприязнь и силу, вспять толкающую, чувствую. На образа гляну — и ноги сами на два шага назад отступают. Не пускает меня обиталище святое.

И кожа на мне, там, где Анфисиной мазью натирался, гореть стала да чесаться. И так, что хоть скидывай одежду и рви ее ногтями, кожу-то.

Взвыл я по-звериному, кинулся в тройку, вожжи схватил и давай погонять почем зря. Мчал я долго, не разбирая дороги, пока коней до мыльной пены не довел. Бросил поводья, глядь, а тройка недалеко от Анфисиного дома стоит.

Вечерело уже. В самой горнице лампа еле теплилась. Поодаль костерок дымился, и в подвешенном котелке курица безголовая целиком варилась. Ни в избушке, ни у костра Анфисы не было.

И тут гляжу — огонек в баньке светится.

«Ну, — думаю, — не уйду, пока ласки любовной от кралюшки моей Анфисушки не отведаю».

А тут и Анфиса сама на пороге баньки стоит в длинной, до пят, рубахе канифасовой.

— Что ж ты, Тихон Дорофеич, невесту бросил? — спрашивает и по имени меня величает в первый раз. — А ну поворотись да поспеши. В ноги упади. Раскайся. Языком трепи, что нечистый попутал... А чтобы Тайке мужем был сегодня же... Понял ли?

— Понял, — отвечаю. — Но дай только сначала к тебе припасть. А после все сделаю, как велишь...

— То, чего ты желаешь, — говорит, — заслужить надо... Ступай теперь. И не оглядывайся!

Пошел я, а вот не оглянуться духу не хватило.

Поворотился вспять, позади — пусто. Видно, Анфиса не думала, что я ослушаться ее смогу. Подбежал я к бане — дверь затворена и изнутри батошкой подперта. Я — к окошку. А там...

Ходит Анфиса по бане голая, веник крапивный разминает, кипятком на каменку плещет, и, казалось бы, вот она, краса — любуйся... Да только красы той — одно название. Чудище вместо бабы, и только. И лицо Анфисы к телу приставлено, и руки по локоток ее, а далее тело старушечье, с грудями иссохшими да вытянутыми, как тесто слежавшееся. И главное — тело, что всегда одеждой сокрытое, все в шерсти, хвост в оконцовке хребтины и заместо ступней — копыта, как у овцы или свиньи.

Ничего я тогда не подумал путного. Ни о том, что чертовка в Анфисином облике пряталась. Ни о том, что я по своей воле в подручных у

нечистой силы оказался. И что кара за смерти невинные теперь и на мою душу падет. Просто испугался и дал деру...

Ночевать я домой не пошел. Блукал всю ночь где ни попадя, а поутру все же к селу прибился. А там, у крайней хаты, цыган одноногий, на деревяшке, стоял, меня поджидал. Как завидел, сразу поковылял ко мне, строжиться начал, да чтоб пострашнее было, нагайкой принялся колотить себе по ноге-то деревянной.

— Ты пошто Анфисины требования не исполняешь? — закричал. — Тебе что велено было? Свадьбу гулять! А ты? А ты знаешь, что невеста твоя в омут бросилась и до смерти утопла?

— Таюшка? — выдохнул я. — Насмерть утопла?

— Мертвей не бывает, — с явным удовольствием ответил одноногий. — От позора, что жених со свадьбы убег, руки на себя наложила. Тебе с того порицание выйдет... А какое — мне неизвестно. И должен ты ввечеру быть у Анфисы как штык. Иначе несдобровать тебе... Побежать куда не вздумай — везде отыщем.

И, на прощанье приложив своей нагайкой меня по хребту, одноногий цыган отбыл.

Мне — что? Мне Анфисин гнев хоть и страшен был, боле люто заныло сердце от известия о гибели Таюшки. Однако, кажись, вид Анфисин в чертовском теле дурь-то всю изгнал из меня. Вот разве что порою опять накатывало величие мое над людьми, и тогда Таюшкина смерть становилась радостью на время, но только вспоминал я Анфису в бане, как снова дурь моя стихала.

Людам в глаза смотреть меня стыд не пускал, и, по кустам скрываясь, отправился я к плотине, туда, где Таюшка моя утопла. Но и там близко подойти не решался. Все время люди шли к берегу — девки венки на воду пускали, а поодаль мельник Зуев на коленях стоял, бормотал что-то про себя, поклоны низкие бил да все плакал и плакал...

* * *

Заскрипели половицы, и на освещенное крыльцо, двигаясь хмельными зигзагами, выбрался пьяный Степка. Видно, к водке, выпитой из невестиной тупфли, за столом Степка добавил еще преизрядное количество спиртного.

И в тот момент Степке было нехорошо до самой крайности.

Каким-то чудом сохраняя равновесие, Степка добрал до бани и уткнулся лбом в прохладные бревна сруба. На время ему полегчало, но тяжелейший спазм, зарождение которого в Степкиной утробе и выгнало страдальца на улицу, начал выворачивать кишки наизнанку. Степку рвало бурно, накатывая одну волну тошноты на другую.

Степка не знал, что за его жалким состоянием наблюдают трое: Дамка, высунувшая голову из будки, Танюшка, приподнявшаяся на скамейке, и дед Игнат, привставший из желания помочь в случае необходимости.

Да, впрочем, если бы и знал, все равно сдержать рвотные позывы не смог бы.

Из троицы наблюдавших дед Игнат точнее всех понимал смысл происходящего, и взгляд его был полон укоризны. Он даже хотел «приложить» Степку как следует и слово быстренько нашел для того увесистое, но пожалел Танюшкины уши.

Степка тем временем, исчерпав запасы желудка, втиснулся в баню и, судя по шуму в предбаннике, завалился спать прямо на пол.

«Вот они, поколения, — подумал дед Игнат, морщась от мыслей горьких, как от зубной боли, — пить и то не выучились. Чего жрать-то, будто у тебя два горла... А потом бегать блевать по углам... Водочку надо пить с удовольствием. И по делу... Не на то, чтобы мозги отключить. А для радости, веселья, спокойствия... Чтобы душу позабавить или унять...»

А вслух сказал:

— Ничего, Таньша, не пужайся. Степка — он хворый у нас. Вот от болезни его и полощет...

— А он не умрет, деда? — спросила напуганная Танюшка.

— Энтот? Нет! — ответил дед однозначно. — Он еще и переживет, пожалуй, многих... Вот паразит — все настроение испортил. Ну да шут с ним, слушай дальше.

* * *

...Мельник Зуев на коленях стоял, поклоны низкие бил да все плакал и плакал.

Только вечером соседи домой его увели, а я к тому времени к бабке слепой сходил да сивухой разжился. Надобно мне стало как-то холод из души прогнать.

Встал я на колени, там же, где мельник Зуев дочь свою оплакивал, и к бутылю с сивухой приложился. Крепко приложился, чтобы разумение затуманить да вслед за Таюшкой отправиться. И уж решился совсем, а как одежду скидывать начал, обнаружил у себя шерсть по телу...

И что же? Как же? Жизни-то мне уже не жалко, да только выходит, что должен я упырем умирать, не человеком?

Понял я, почему в церковь хода мне не стало.

«А раз так, — сообразил, — то именно от креста и будет мое избавленье. А там опосля и умирать не страшно будет».

Побежал я, стало быть, к батюшке нашему. В дверь ему стучался, пока не отворил он и не предстал предо мной в некотором алкогольном полусне, со включенной бородой и спутанными волосами. Я упал батюшке в ноги, и он, в зыбком состоянии своем не очень понимая, чего я от него добиваюсь, после уговоров моих выслушать все-таки согласился.

Поскольку хода мне в молельни не было, присели мы на краю кладбища, что при церкви имелось, недалеко от креста со Христом Спасителем, из кедрового дерева срубленного. Я было заартачился к кресту-то переть в самую близость, да батюшка за рукав ухватил меня и за собой потянул.

Как мог, поведал я батюшке свою историю и даже, ворот рубахи расстегнув, шерсть на теле показал.

Батюшка отшатнулся, закрестился мелкими крестами, добавил свечей перед образом Спасителя и, почесав макушку, промолвил:

— Да, дитя мое заброшенное, натворил ты делов... И как разумения-то хватило согрешить так искусно? Хотя — ты ведь по указке действовал!.. Чего же ты хочешь ныне-то?

— Верни, батюшка, молитвой или как еще облик мне человеческий... А там, — я наклонился к нему поближе, — сам себе кару изберу смертную...

— Ишь ты, — поведя носом, отвечивал батюшка. — Уж больно ты грешен... И те, кто для себя убийцами становятся, не угодны церкви нашей... Чую от тебя запах напитков непотребных. И в кармане твоем оная бутылка виднеется...

— Батюшка, — воскликнул я, вынимая штоф наружу, — я отойду сейчас подальше и вылью сивуху на землю... Мне только тяжесть извести из себя хотелось...

— Ну вот и охолонь... Тяжесть извести — это первое дело... Ты молитвой-то вряд ли сейчас поможешь себе. Погодь...

И батюшка в дом свой наведаясь и возвратился с двумя кружками, парой чищенных лукович да книгой в тяжелом переплете с медной застежкой.

— Налей-ка, овца заблудшая, — промолвил батюшка, угнездив кружки и луковки на лавке, — да помаракуем, как беду твою окончательно извести...

Я уж пить-то не намереваясь, однако батюшку послушаться не мог.

— пей, сын мой недалекий, — потребовал батюшка. — Как говорено было... Ну, не будем имени столь значимого помянуть всеу... И без того ясно, кем говорено было в ходе Тайной вечери: «пейте вино — это кровь моя». Я творю крестное знамение, и превращается сей смрадный напиток в благое питье, изгоняющее мысли черные, и пребудет оно же бальзамом, душевные раны врачующим. Грех твой на себя беру и сам в пучину ввергаюсь, дабы не был ты одинок, и об руку вместе двинемся и развеем печали твои. пей единым духом, без сомнения и промедления!

Батюшка перекрестил каждую из кружек, мы их сдвинули и выпили залпом горькую сивуху.

Доселе ни разу не доводилось мне употреблять горькую под таким смертным страхом. И понятно, чего опасался я, — креста. После мази Анфисинной даже глядеть на него было мне тяжело, точно против ветра идти.

Но выпитая благословленная батюшкой сивуха, вроде как и обжегшая спервоначала нутро, все сосуды во мне расправила, да так, что почувствовал я ток крови, дошедший до сердца явственным теплом. А помимо — зуд кожный отступил, что от шерсти, на мне растущей, образовался.

После батюшка раскрыл книгу, полистал ее недолго и, покосившись на стоящую возле моих ног бутылку, значительно произнес неизвестное мне слово:

— Аномалия...

Я решил поторопить его раздумья и набулькал нам еще по полной. Батюшка сызнава перекрестил кружки, и мы выпили еще раз.



— Аномалия, — уже более спокойно сказал батюшка. — Так в книге и прописано... Я и сам не знаю, что оное слово означает, однако то, что ты именуешь Чертовой (прости, Господи!) впадиной, по книге и есть аномалия. И здесь приведено средство, как сию аномалию изжить. А с ней неминуемо рухнет сила Анфисы-чертовки (Господи, прости!), и твои изменения в теле и душе исчезнут! Понял меня, сын мой неприкаянный?

— Понял, батюшка, — отвечал я смиренно. — Ты уж вели, что делать, а я так расстараюсь, так расстараюсь...

— Ты грамоту ведаешь? — спросил батюшка и, получив мое подтверждение, продолжил: — Я дам тебе перо, бумагу, и мы составим список всего необходимого нам в дорогу.

В списке значились: коса ручная да брусок для правки косы, сапоги кожаные, рукавицы кожаные, свечи восковые сто штук, распятие Христа Спасителя, святая книга, а еще, по неведомому для меня разумению батюшки, внесены в список были три бутыля с сивухой.

Я выворотил кедровое распятие на кладбище, сходил к слепой старухе за бутылками с сивухой, а батюшка уложил в сумку святую книгу и свечи.

— А что, сын мой скорбящий, — спросил меня батюшка, обматывая для пущей сохранности бутылки тонким войлоком, — найдем ли мы дорогу к той впадине, где цветки злодейские растут?

У меня мелькнула в голове добрая мысль. Испросив у батюшки немного времени, я отправился к Анфисиной избушке и, обнаружив безголовую курицу по-прежнему варящейся в котелке, натянул кожаные рукавицы, выдернул ее из кипятка и сунул в мешок.

Вернувшись, я вытряхнул курицу на землю, и она, твердо встав на ноги, как и в первое мое путешествие к Чертовой впадине, устремилась вперед, показывая дорогу.

— Свят, свят, свят, — только и смог воскликнуть батюшка, глядя на дела невероятные.

Мы дошли. Не так, как я в первый раз. С большим трудом. Конечно, мы ведь шли без мази Анфисиной. Но все едино — сдюжили. Я тащил на себе здоровенное распятие, а батюшка все остальное.

Три дня и три ночи я косил чертополох в Чертовой впадине, а батюшка, утвердив крест в земле и запала свечи, молился. Иногда мы делали перерыв и выпивали по две-три кружки сивухи. Потом каждый из нас истово продолжал свое дело. По исходу трех суток последний цветок чертополоха был скошен, последняя свеча дотлела и последняя капля сивухи была допита.

Мы вернулись в Малую Лебедь и обнаружили вместо избы Анфисы кучку пепла. Оказывается, что дом и постройки горели огнем медленным три дня и три ночи, а прямо в избушке сгорела и сама Анфиса. То ли выйти наружу не захотела в злобе своей, то ли не смогла по причине обретенного бессилия телесного. А люди издаля на то смотрели и подойти не решались.

Сопровождающая нас безголовая курица, усевшись в этот пепел, снесла вареное яйцо, шмыгнула в лес и затерялась в густых зарослях. Так

мы ее и не нашли потом, а яичко снесенное батюшка с молитвенным словом из золы вынул, перекрестил и в карман определил, молвив, что «доставит его на прокорм сирым и убогим, в помощи нуждающимся». А меня на раздумья отправил. До поры до времени.

Пока жар-то от Анфисино дома шел, дурное по-прежнему рядом моталось. Цыгане, те, что Анфису в село к нам доставили, сызнова объявились. В головешках тлеющих рылись, искали чего-то. Может, косточки Анфисины добывали. Может, золото, у людей уворованное. А после пропали с глаз, но перед уходом, ночью, на крылечко церкви ребенка подбросили — девочку. За ногу привязали, чтобы не убежала. Девчонка та, хоть и было ей на вид годков пять, толком разговаривать не умела и уж такая грязная да худая была, просто страсть. Словно и не кормили ее вовсе. Ее, девочку эту, батюшка опосля пригрел в собственном доме и для воспитания специальную няньку нанял.

Через десять дней из Усть-Лебеди приехал мужик тутошний, по делам отъезжавший, и сообщил, что в уезде пойманы цыгане и всей ордой препровождены в острог. А за те десять дней, что я находился в тягостных размышлениях о самом себе, шерсть с меня полностью облезла и в душе воцарилось понятие о почитании ближнего своего.

Я пришел к батюшке испросить совета, что мне делать дальше со своей судьбой. Батюшка благоухал сивухой и находился в добром расположении духа.

— Что делать? — батюшка призадумался, но совсем на краткое время. — А живи, раб Божий! Кузнец селу нужен... Ты раскаялся и даже делу помог... Шерсть на тебе облезла. Живи! Я о твоих приближениях к черту (прости, Господи!) молчать буду. А немного погодя все и забудется...

И начал я жить почитай что сызнова. Дальше все устроилось ладно. Люди-то добрые у нас, злоститься на меня не стали.

Мельник Зуев, конечно, мог бы упрекнуть меня за Таюшку погубленную и воздать по заслугам. И я бы тому не противился. Но как-то так пошло, что он со всеми домочадцами вскорости поднялся с места и съехал из Малой Лебеди. Мельницу бросил, дом продал за полцены и в Усть-Лебедь перебрался. Но там, в Усть-Лебеди, тоже не усидел долго и через малый срок далее подался. А куда — никому не сказывал. Ну что ж — Россия большая... Нырнул в глыбь ее и канул...

Я работал в кузне и каждый вечер в церковь с молитвой приходил. А по праздникам — с особыми дарами для батюшки. Все, стало быть, потихоньку наладилось. Только батюшка в моменты особого подпития кликал меня Тихон Черток. И по селу это прозвище ко мне приклеилось...

А потом батюшка и в церковной книге фамилию нашу переписал. Были Оветковы, а стали Чертковы.

Это уже случилось, когда я на Аномалии женился. Так батюшка девчушку, цыганами подброшенную, прозвал. К тому времени Алия — это я так ее для краткости кликал — выросла в девку справную да работающую. Говорить она, конечно, научилась, но оставалась молчалива и застенчива, а по моему характеру лучшей жены сыскать было трудно.

Вот так.

Дед Игнат умиротворенно вздохнул и повернулся к Танюшке. Танюшка, свернувшись на лавочке калачиком, спала, укутавшись в старенькое пальто.

— Ой-ей-ей! — запричитал дед. — Вот пень старый. Заговорил ребенка. Ну, дурило. Сижу тут, как тетерев на току, сам пою и сам радуюсь! А никто и не слушает.

— Я слушаю, дед, — неожиданно за спиной раздался чей-то голос.

Дед Игнат повернулся и увидел Мишку.

— Миша, внучек! — ласково заговорил дед. — А ты чего тут один? Свадьба — это для жениха. Да ты давно тут?

— Не очень, — ответил Мишка. — С момента, как Анфиса поцелует сладким Тихона одарила. Я вот что подумал... Дед, я ведь летопись эту нашу семейную читал. Там все не так... Ну, не совсем так. Ты прибавил от себя кое-что. Приврал. И слова другие говорил, не такие, как там.

— Прибавил, прибавил... — проворчал дед. — Не я это прибавил, Миша, жизнь сама горазда прибавлять.

— А что ты говорил — «не по-людски»?

— А ты сам как думаешь? Соображай давай — не шипнадцать уже!

— Ну, оттого «не по-людски», что не любит меня Светланка? Так?

— Хэ-эх! — перевел дух дед Игнат и протянул: — Да так-то оно так...

Мишка присел на скамейку и пристроил голову спящей Танюшки у себя на коленях.

— Да так, так... — продолжил Мишка. — И не спорь лучше. Я специально пьяным притворился. Все ушли, а я думал. Думал, что мне делать, чтобы всем хорошо было. И не придумал ничего. А раз так, вот пойду сейчас и скажу: «Если ты, Светланка, любишь Андрейку или еще кого... Ну и иди, живи с ним. А мне все это ни к чему». Так вот и скажу. И если она...

Мишка замолчал, услышав с улицы приближающиеся гулкие шаги. Брякнув калиткой, слегка пошатываясь, во двор зашел совершенно мокрый Толик и в нерешительности замер.

— Толик, — окликнул баяниста дед Игнат. — Мы здесь!

Увидев устроившуюся под яблоней троицу, Толик шагнул к ним.

— Там это, — заговорил Толик деревянным голосом. — Того... В общем... Невеста утонула...

Позвякивая цепью, из будки не спеша вышла заспанная Дамка и, демонстративно не глядя на людей, широко зевнула розовой пастью.

— Бре-ешешь! — заскрипевшим голосом вскрикнул дед Игнат. — Пьяная твоя душа.

— Сучка твоя из будки брешет, — обиженно загудел Толик. — Говорю как есть.

— Что ж она, купалась, что ли? — спросил дед Игнат, глядя в тот момент не на Толика, а на Мишку.

Мишка, по-прежнему внешне спокойный, сидел на скамейке, устроив голову спящей Танюшки у себя на коленях и продолжая тихонько тереть ей волосы.

— А я почему знаю? — тоже, как прикованный, не в силах оторвать взгляд от Мишки, мямлил Толик. — Может, и купалась... Мы-то в лес сначала пошли. Костер хотели жечь. Хворосту набрали, а спичек ни у кого нет. Ну, вот...

— Чего — «вот»? — не утерпел дед Игнат. — Да не тяни ты резину...

— Я и говорю — вот... — Толик говорил так медленно, будто все слова позабыл разом. — И на речку потом пошли... Все уже подустали... А Иван Звягинцев подшутить надумал и втихаря вперед побежал...

Толик осекся, вздрогнув от резкого хрипа, вырвавшегося у Мишки из горла.

— Ты говори по сути, идол... — взмолился дед Игнат.

— Короче, — ничуть не ускорив речь, продолжил Толик. — Мы подходим, слышим, Иван орет: «Сюда, сюда!» Подбежали — Светланка уже на дно пошла. Пока кинулись... Ныряли... Нашли не сразу... Вытащили, а она не дышит уже. Чё было, не знаю... Да, поди ж, ногу у нее свело. Вода-то холодная, и там ключ еще бьет...

Могло показаться, что, только дослушав рассказ, Мишка понял, что же все-таки случилось. Он потихоньку привстал с лавки, осторожно, чтобы не разбудить Танюшку, приподнял ее голову и, аккуратно высвободившись, пошагал к калитке, постепенно ускоряя шаг. По улице Мишка уже бежал что было сил.

Дед Игнат наклонился к Танюшке. Внучка спала спокойным детским сном, находясь далеко и от дедовой истории, и от всего случившегося на реке Малая Лебедь.

— Эх, Миша, Миша... Горе-то какое... — сокрушенно выдохнул дед Игнат и повернулся к Толику: — Ну давай, исповедайся, что там взаправду стряслось...

— Да сначала так все и было, — с пьяной покорностью заговорил Толик. — Мы на речку шли... Иван через огороды срезал — напугать баб хотел. Там, знаешь, на берегу шалаш... Он выскочить хотел, заорать... Ну вот. Прибежал он на берег, в шалаш сунулся... А там, в шалаше, Светланка с Андрейкой полураздетые... Голые почти... Того, значит... Испугались... Андрейка-то в кусты сиганул, а Светланка почему-то в воду ринулась. И там то ли в одежках запуталась, то ли вправду судорога... Вода-то остыла уже... Как вынули — она и не дышала... Чё теперь будет-то?

Толик замолчал и отвернулся в сторону, по-видимому, не ожидая ответа. Он почувствовал, как его тело от холода начинает потряхивать крупной дрожью — горячка прошла, и мокрая насквозь одежда с опозданием заявила о себе.

А дед Игнат ответа и не знал. Лишь в голове у него крутилось без остановки: «Миша, Миша... Горе-то какое...»

Дмитрий РУМЯНЦЕВ

МОТЫЛЕК НА СТЕНЕ

* * *

за капелью — запахла сирень — о кончине апреля
а стихи — это песни сирен, и зовут одиссея
все предать, опрокинуть семью и питаться словами
что же я? — это все не люблю? или за островами
есть другие совсем острова и японское море
и такие там снятся слова, что в кровавом хорроре
потому что один телемак и одна пенелопа
да итака одна, как тюрьма — одиночка европы
там достойно и радостно жить нестерпимо, да можно
если в сердце кого-то носить осторожно
и пасти золотые века вдоль кремнистой дороги
как пасут над москвой облака олимпийские боги
вот похлебкой кипит котелок, и вскипает таласса
отделяя слова и дела, словно кости от мяса
привяжи себя к мачте скорей, чтобы музыки запах
не приказывал мчать, что хайвей, на сиреневый запад
чтоб не снились тебе острова, сладкозвучное слово
чтобы троя сгорела сама, как содом и гоморра

* * *

Мотель, мотылек на стене, и в воздухе дымном вечернем
лицо твое — там, на стекле, как образ любви и влечения.
Я нынче гуляю один, а ты — далека, одинока.
Густеет березовый дым, и роцца стоит с поволокой.
Светает. Плафоны искрят. Во всем — помутнение зренья.
В стекле отражается взгляд, как знак твоего проявленья.
Но нет — далеко. Далека — от чувства, от жеста, от знака.
С тобой Телемак, и легка сноровка твоя, теле-маха.
Живешь упованьем одним на верность, любовь, на взаимность.
А город стоит — нелюдим. А в луже звезда отразилась.

* * *

лети, лети, бубонная чума, сейчас мой дом — сродни декамерону
и не спасут имбирь и куркума. давай, кума-болезнь, учи дурному!
нам с милыми встречаться не с руки — везде разлита голая зараза
и облака теперь как поплавки — и в небо нас выдергивают сразу

какие рыбы ходят под водой! — норовистые, статные, хмельные
и страшно за походкой молодой заметить смерти происки чумные
когда душа — в чудовищной тюрьме, на дне, на глубине, в позорной яме
и некуда совсем укрыться мне — за стенами, за рвами, за кремлями
когда летит сквозь сонное метро удушливое марево болезни
но как весной на улице светло! — живи, умри, спасись, уйди, воскресни!..

* * *

опять троллейбус, словно жук, по темной улице ползет
и от жужжания внизу фонарь как крохотный ожог
опять ночному мотыльку он светел, что ерусалим
опять, скиталец и летун, я сам себе необходим
но вновь за окнами любовь нетрезвой девушкой поет
и я ей нужен не любой, а только так, чтоб наперед
и барселона, и мадрид, и листопад, и звездопад
она поет, и тьма бежит за частокол резных оград
и солнце вешнее встает который раз над иртышом
и шепчет: утро, и еще — о том, что это — хорошо
что как лампадочка в руке ее — вечерняя луна
уже бледна. на языке — одна любовь и тишина
коснись меня и избалуй, полночным пением пьяна,
как будто это — поцелуй, оставленный на времена
когда расходятся круги на сонных лужах, что друзья
когда старинные враги за мной о страшном говорят
и распадается на прах и пепел будущая жизнь
и в обескровленных руках, как метка черная, лежит...
но я сказал — над камышом светило вешнее встает
троллейбус дребезжит — жуком. весна. и девушка поет
и для кого-то нужен рай, а мне и так — везде эдем
скорее утро начинай, звезда, что светит в виффелем...

* * *

Живчик, слетает на крохотный фитилек
жизнь, оказавшаяся раздаренной, —
смерть поманила бумажным фонариком
на огонек.

Что же случилось? Лети, мотылек,
перебегая из жизни в засмертие.

Ветрено, холодно, страшно и ветрено.

Легкий ожог

вечности юной, которая нам
тоже обещана,

ты ощути, как наколку небрежную.

Бе(г)лый дымок

чуткою вербой плывет к небесам:
встретимся в свете — в сияющем олове,
милых обнимем, как было условлено...

Дальше — ты сам...

Игорь КУНИЦЫН

СРЕДИ ДАЧ ПОДМОСКОВНЫХ

* * *

Заберу собак, уеду к маме,
хоть она уже и не жива,
но конец поставлю этой драме,
подберу кричащие слова:

мы с тобой то жили, то не жили,
улетали вместе в небеса,
тратили сбербанковские мили,
свысока смотрели на леса.

На моря смотрели, словно были
те моря любовью неземной,
тратили сбербанковские мили,
вот и не осталось ни одной.

* * *

ну что нам делать-то кончается коньяк
а выпить хочется и музыку послушать
смотрю в окно окно глядит в меня
и видит то чего не видеть лучше

окну дверям стенам и потолку
корням деревьям веткам почкам точка
ответственно и молча волоку
граммовый крестик мамину цепочку

выкуриваю десять сигарет
на станции метро забыл название
в Перми стоит огромный табурет
а рядом спят малюсенькие зданья

я в октябре купался в Чусовой
 друзья меня отпаивали водкой
 я был собой но был я сам не свой
 дрожал как лист качался словно лодка

лез целоваться думал исподволь
 а хватит ли бутылки до вокзала
 о прошлое забыть тебя позволь
 я говорил но ты не забывало

напоминало вечно о себе
 вот и сейчас выкручиваешь память
 вылуцливаешь сердце при мольбе
 казнишь меня моими же словами

* * *

Крупицу боли, капельку печали —
 и потекут стихи, как обещали
 мне классики — мои учителя.
 Но ничего не происходит, мля.

Я словно нерадивый ученик,
 боюсь отцу показывать дневник.
 Родителей директор вызвал в школу,
 забрал к себе Галину и Николу.

А я живу, стихи писать учусь,
 к страданию примешиваю грусть,
 в неверие кладу горошек веры.
 А дни плывут, невыносимо серы.

* * *

Почему я участвую в этом аду?
 Я уеду на дачу и там пропаду.
 Ничего не имеет значенья,
 только роллтон и пачка печенья.

Я умру посреди безымянных полей,
 среди дач подмосковных, где пьет соловей
 из дубового листика воду.
 Вот и я выбираю свободу.

* * *

Я весьма очерствел, обесточел,
обеззвучел, уснул, онемел,
ноутбук сгоряча раскурочил
и обратно собрать не сумел.

Разложил на диване детали,
позабыл записать, что к чему.
Минус к плюсу, догадки витали,
но сгорели в табачном дыму.

Программист на царицынском рынке
посмотрел на меня свысока
и на две разломил половинки
без того пострадавший ПК.

Говорил про какую-то память,
сохранить мне ее обещал,
предлагал расплатиться деньгами
или картой, проблему ища.

Я побрел к банкомату Сбербанка
и подумал: на кой мне она,
эта память, — ловушка, обманка,
самозванка, хиппушка, вина?



Георгий КУНИЦЫН

МАРКСИЗМ В РОССИИ НАЧИНАЛСЯ СО ЛЖИ

Письмо шестое

Идеал, если он только не пустая мечта, не может быть ничем другим, как осуществимым совершенством того, что уже дано.

Вл. Соловьев

Глубокоуважаемая Раиса Павловна!

Именно, именно: я согласен с тем, что идеал является «осуществимым совершенством того, что уже дано». Надо лишь видеть это данное. В предыдущем письме к Вам я и стремился остановить Ваше внимание как раз на том, рассуждая о настоящем и будущем России, Маркс более всего придавал значение уже существующим в жизни факторам, которые по преимуществу и определяют будущую судьбу нашей огромной страны.

Конечно, Маркс видел и не только самые корни общинного образа жизни 4/5 населения тогдашней России, но и действительно новые процессы, связанные с ускорением развития в ней капиталистических отношений. И не меньше Энгельса, Плеханова, Ленина и всех русских социал-демократов видел он и такой (при известных обстоятельствах тоже возможный!) результат: «Если Россия имеет тенденцию стать капиталистической нацией по образцу наций Западной Европы, — а за последние годы она немало потрудились в этом направлении, — она не достигнет этого, не превратив *предварительно значительной части своих крестьян в пролетариев*; а после этого, *уже очутившись в лоне капиталистического строя*, она будет подчинена его неумолимым законам, как и прочие нечестивые народы. Вот и все» (Соч., т. 19, с. 120; курсив мой. — Г. К.). Тогда-то Россия неизбежно пройдет через «кавдинские ущелья» этого строя. Через «расчеловечивание» собственностью и эксплуатацией.

Вслед за Энгельсом и Плехановым, Вы до сих пор, однако, акценты в своих комментариях к приведенным словам Маркса ставите на том, что Россия «за последние годы... немало потрудились в этом направлении», т. е. капиталистическом. Вас ну никак не задевает то обстоятельство, что капиталистическое развитие в России прервалось уже вскоре и прервалось не случайно. Маркс, между



прочим, это и предвидел. Любые новые времена не ведут к возврату тогдашней обстановки. Раскрою, в чем именно усматривал перспективу Маркс.

Верно: если Россия, вступив в результате реформы 1861 г. действительно на путь капиталистического развития, шла бы до конца по этому пути беспрепятственно (как ранее было в странах Западной Европы), и не случилось бы при этом Октябрьской революции 1917 г. — то да, в таком случае рано или поздно крестьянская община разложилась бы, а потом постепенно произошла бы и пролетаризация большинства крестьян. Российский капитализм стал бы столь же неизбежным, как и ранее западноевропейский, американский или японский. Ныне не было бы и проблемы, по которой мы с Вами сейчас ведем спор...

Энгельс, Плеханов и все согласные с ними в таком направлении и представляли себе будущее России. Оно казалось им видимым ясно. Все представлялось настолько очевидным, что даже принципиально иной и неожиданный взгляд Маркса на проблему, даже он ничего не мог изменить. Кое-кто сегодня намекает: мол, Маркс, когда писал свой ответ В. Засулич, был сильно болен, помутнение мысли могло же произойти...

Впрочем, Ваше упорство, Раиса Павловна, в доказывании того, что «может, мальчика-то и не было», т. е. якобы никаких иных взглядов Маркс не высказывал, тоже наталкивает на неожиданную мысль — возможно, Вы столь своеобразно стыдитесь за, как это порой понимается, якобы «конфуз», какой случился с Марксом, вдруг (совсем не вдруг!) выступившим в поддержку отца народничества Чернышевского и других сторонников самобытности российской истории... И потому наложившим вето на свой «Капитал» по отношению к России.

Хорошо ли, плохо ли, но история сослагательного наклонения тем не менее действительно не имеет. В этом и кроется ее ироничность. Здесь причина в том, что именно сама по себе история — многоактная трагедия. Люди мыслят в самом деле сослагательно и, значит, альтернативно, но сами-то события не заменить — события необратимы.

Трагизм концепции Энгельса и Плеханова был, может быть, и особенно характерен: они искренне считали себя революционерами, но российская революция в октябре 1917 г. оказалась роковой прежде всего именно для их взглядов. И произошла революция «не в то время», как они предполагали, и сама по себе явно была «не той», какую они России пророчили. Ее основным содержанием объективно была, как ни огорчайся, общинность, и лишь в малой степени — свержение начинавшегося капитализма: ни капитализма, ни порождаемого им пролетариата в стране тогда фактически еще не сложилось. Ныне это трудно ли понять?

Обратимся к сути «русской идеи» конкретно в варианте Чернышевского и Маркса. Может, она (идея) — итог поспешности?

Никак! Уже и мысли Чернышевского (первооткрывателя самой главной русской самобытности) на этот счет основательны вполне. Опираясь на публикацию А. Гакстгаузена, он делает выводы о *неотвратимости действия объективных законов в российской истории.*

Да и прежде него Герцен высказывал близкие этому идеи об общине. «Разве, — писал он, — освобождение крестьян с землею — не социальный переворот? Разве общинное владение и право на землю — не социализм?..» (Сочинения в 2-х т., М., 1986, т. 2, с. 448). Герцен же: «У русского крестьянина нет нравственности, кроме вытекающей... естественно из его коммунизма, эта нравственность глубоко народная; немного, что известно ему из Евангелия,



поддерживает ее; явная несправедливость помещиков привязывает его еще более к его правам и к общинному устройству» (там же, с. 167).

Чернышевский берет тот же вопрос и исследует его средствами науки. Маркс ссылался на Чернышевского как на высший научный авторитет в этой проблеме. Фигура Чернышевского, действительно, огромная и — недооцененная. А русскими социал-демократами она была принижена. В том числе тем, между прочим, что возносили его не за самое великое из сделанного им. Душили, так сказать, в объятых...

Впрочем, нелишне нам здесь хотя бы кратко воспроизвести действительно великое в Чернышевском. «Прежде нежели вопрос об общине приобрел практическую важность с начатием дела об изменении сельских отношений, — читаем в его гениальной статье “Критика философских предубеждений против общинного владения”, — русская община составляла предмет мистической гордости для исключительных поклонников русской национальности, воображавших, что ничего подобного нашему общинному устройству не бывало у других народов и что оно, таким образом, должно считаться прирожденною особенностью русского или славянского племени, совершенно в том роде, как, например, скулы более широкие, нежели у других европейцев... Наконец, люди ученые и беспристрастные (имеется в виду Т. Н. Грановский. — Г. К.) показали, что *общинное поземельное устройство в том виде, как существует теперь у нас, существует у многих других народов, еще не вышедших из отношений, близких к патриархальному быту, и существовало у всех других, когда они были близки к этому быту*. Оказалось, что общинное владение землею было и у немцев, и у французов, и у предков англичан, и у предков итальянцев, словом сказать, у всех европейских народов; но потом при дальнейшем историческом движении оно мало-помалу выходило из обычая, *уступая место частной поземельной собственности*. Вывод из этого ясен. Нечего нам считать общинное владение особенною прирожденною чертою нашей национальности, а надобно смотреть на него как на *общую человеческую принадлежность известного периода в жизни каждого народа*. Сохранением этого остатка первобытной древности гордиться нам тоже нечего... потому что сохранение старины свидетельствует... о медленности и вялости исторического развития. Сохранение общины в поземельном отношении, исчезнувшей в этом смысле у других народов, доказывает только, что мы жили гораздо меньше, чем эти народы. Таким образом, *оно со стороны хвастовства перед другими народами никуда не годится*» (Сочинения в 2 т., М., 1986, т. 1, с. 609; курсив мой. — Г. К.).

Замечательно! Никакой идеализации! Чернышевский еще по свежим тогда следам оценивает, в сущности, открытие Грановским общинной стадии в развитии всего человечества. Оно, это открытие, кстати, сделано им раньше, чем Л. Морганом. Сюда, к этой стадии, Грановский справедливо относил и «архаическую» русскую крестьянскую общину. Далее же начинались важные расхождения между ними. Если уж совсем точно — Грановский раньше всех вооружил своими исследованиями российское «западничество». Чернышевский пишет именно об этом открытии Грановского: «Такой взгляд совершенно правилен; но вот наши и заграничные экономисты устарелой (! — Г. К.) школы вздумали вывести из него следующее заключение: “Частная поземельная собственность есть позднейшая форма, вытеснившая собою общинное владение, оказывавшееся несостоятельным перед нею при историческом развитии общественных отношений; итак, мы подобно другим народам должны покинуть его, если хотим идти вперед по пути развития”» (там же).



Вот же где зарождалась основа для будущей плехановской (и Вашей) позиции. И вообще всей русской социал-демократии, громко объявившей общину реакционной... Чернышевский меж тем продолжает о специфически «западническом» движении мысли: «Это умозаключение служит одним из самых коренных и общих оснований при отвержении общинного владения. Едва ли найдется хотя один противник общинного владения, который не повторил бы вместе со всеми другими: «Общинное владение есть первобытная форма поземельных отношений, а частная поземельная собственность — вторичная форма: как же можно не предпочесть высшую форму низшей?»» (там же, с. 610).

Любопытно, что опять-таки у «западников», причем ненамного позже, возникла и такая вариация — тоже, конечно, антиобщинной — концепции, выдвинутая Б. Н. Чичериным. Она-то и вовсе ошибочная, но тем не менее сыграла даже и большую роль в формировании плехановской, а потом также и ленинской концепции общины. Чичерин надежды на русскую общину буквально рубил под самый корень тем, что пытался доказать не факт именно исконного существования общины, как это делал, скажем, Щапов, а то, что она в тогдашнем ее виде якобы создана была самим государством в «фискальных» целях — т. е. в полном соответствии именно с крепостным правом. Это заключение «западниками» было принято с весьма энергичным одобрением. И Плеханов, и Ленин ссылались на чичеринский вывод как на научное свидетельство... Важное обстоятельство, не правда ли?

В корне не так к этому отнесся, разумеется, Маркс... Совсем не так. Он внимательно — до поразительности — следил за полемикой об общине в России между известным историком И. Д. Беляевым и Чичериным — и определенно встал на точку зрения Беляева, а в пункте о точном времени происхождения общины — на позицию Грановского... «Все исторические аналогии, — пишет Маркс Даниельсону 22 марта 1873 г., — говорят против Чичерина. Как могло случиться, что в России этот институт (община. — Г. К.) был введен *просто как фискальная мера*, как *сопутствующее* явление крепостничества, тогда как во всех других странах этот же самый институт возник естественным путем и представлял собой *необходимую фазу развития свободных народов?*» (Соч., т. 33, с. 482; курсив мой. — Г. К.). Ответу как раз на этот вопрос Маркс и отдал много времени и сил. Но раньше него свой ответ на этот вопрос в восхитительно логичной форме предложил Чернышевский — в анализируемой мною его статье «Критика философских предубеждений против общинного владения». В сотый и тысячный раз дивлюсь, как лихо все вы, «марксистские западники», делаете вид, будто стоите к Марксу ближе, чем Чернышевский...

Большая историческая удача, что Чернышевский защищался и от современных ему и от будущих оппонентов весьма убедительно и впечатляюще. Писал даже и с насмешкой о тех, кто приговорил общину к неминуемой смерти. «Нам тут странно, — читаем у него, — только одно: из противников общинного владения многие принадлежат к последователям новой немецкой философии: одни хвалятся тем, что они шеллингисты, другие твердо держатся гегелевской школы (многие из таких ныне еще величают себя марксистами! — Г. К.); и вот о них-то мы недоумеваем, как не заметили они, что, налегая на первобытность общинного владения, они выставляют именно такую сторону его, которая должна чрезвычайно сильно предрасполагать в пользу общинного владения всех, знакомых с открытиями немецкой философии относительно *преимственности* форм в процессе всемирного развития; как не заметили они, что аргумент, ими выставляемый против общинного владения, должен, напротив, свидетельство-



вать о справедливости мнения, отдающего *общинному владению* предпочтение перед частною поземельною собственностью, ими защищаемую?» (там же, с. 610; курсив мой. — Г. К.).

Надеюсь, Вы помните: в предыдущем письме я уже затронул одно из рассуждений Маркса — в связи с общиной же — о трех формациях в истории человечества. Используя открытый Гегелем закон «отрицания отрицания», универсально действующей триады, Маркс не один раз обращается к проблеме триадности всего исторического процесса. И выясняется: первая ступень отрицается второй ступенью (первобытная община отрицается эпохой частной собственности), а третья ступень (будущая бесклассовая формация) отрицает собой, в свою очередь, эпоху частной собственности. Одновременно она синтезирует в себе и все жизнеспособное из обеих предыдущих ступеней. Однако типологически больше совпадают первый и третий пункты. Такова динамика, таков ритм мирового развития. К слову: нынешние наши «демократы» в историческом смысле являются не иначе как, пусть и седовласыми, детьми, уповающими на «вечность капитализма», т. е. на двухступенчатое, а не триадное движение человечества. Между тем «спиральная» повторяемость в истории только и возможна, что через триаду, через «отрицание отрицания». Начальная точка — через раз — т. е. в третьем пункте — снова оказывается (для последующего периода) начальной... Стало быть, всякое начало явления — именно оно — и определяет в целом дальнейший процесс: в первой точке — община (первобытная) и в третьей точке — тоже община же (результат синтеза). На следующем историческом витке, повторяю, третий пункт неизбежно оказывается опять первым. И т. д.

Из этого Маркс и делал вывод: если даже почему-либо какая-то стадия в развитии какой-либо страны выпадает (скажем, в России — капиталистическая), а самая хронологически первая — общинная — переходит и в следующие эпохи, то она не является (и уже не может быть) реакционной. Первая и третья точки развития общества — стало быть, самоцельны. В этом дело! Самоцелью развития природы является появление человека, а самоцелью развития человека является социальная справедливость. Откуда же взять ее в условиях эксплуатации?

Уже в ранних своих работах Маркс исходил из того, что социальная справедливость существует только на первобытнообщинном уровне, ибо здесь общество просто еще и не имеет такого уровня развития, чтобы быть социально несправедливым, но оно не может обойтись без уравнительности. Справедливость же по отношению к каждому индивиду создается только в третьем пункте триадного процесса — когда коллективизм уже больше не нуждается и не выражается в уравнительности. Равенство в будущем может выражаться только в одном — в одинаково безграничных возможностях для становления любого человека творческой личностью. Между начальной точкой и последней, третьей, существует, иначе сказать, социальная однородность. Поэтому если начальная стадия, несмотря ни на что, сохраняется, переходя и в другую эпоху с сохранением своего качества, как и было с русской крестьянской общиной, то в социальном плане она сохраняет свои свойства сопричастности и близости ее к каждому человеку. Значит, как таковая она просто не может быть порицаема!

Плеханов, скорее всего, не догадывался о масштабах архивного наследия Маркса. Будь иначе, он не стал бы вводить себя в грех по сокрытию двухстраничного письма его...

Вот же что, как оказалось, предшествовало написанию этих Марксовых страниц. На фоне этого особенно жалка попытка Б. Интерберга и В. Твардов-



ской посмеяться над утверждением, что Маркс видел для россиян программу не в «Капитале», а в том, что он явно стремился и старался внушить русским революционерам в его письмах в «Отечественные записки» (1877), к В. Засулич (1881), а также в предисловии к «Манифесту» (1882).

Предлагаю Вам, Раиса Павловна, наконец вникнуть хотя бы в размышления Маркса о факторах, благоприятных «для сохранения русской общины (путем ее развития)». Он писал о двух судьбах общины: во-первых, это когда она исчерпывает себя тем, что оказывается лишь переходной ступенью от первобытности к классовым обществам (отмирая, открывает путь к рабовладению, феодализму, капитализму); во-вторых, когда община сохраняется в своем патриархально-коллективистском качестве также и в условиях общества, разделенного на классы (ее роль тут меняется — она становится тормозом в развитии классового общества, в особенности — капиталистического). Во втором же случае община, разумеется, все равно подвергается опасности разрушения. Все зависит только от того, успевает ли даже и капитализм разрушить ее. Пример ее несокрушимости — русская община. «...Она, — писал Маркс, — не только является современной капиталистического производства, но и пережила тот период, когда этот общественный строй сохранялся еще в неприкосновенности; теперь, наоборот, как и в Западной Европе, так и в Соединенных Штатах, он находится в борьбе и с наукой, и с народными массами, и с самими производительными силами, которые он порождает. Словом, перед ней капитализм — в состоянии кризиса, который окончится только уничтожением капитализма, *возвращением современных обществ к “архаическому” типу общей собственности* или, как говорит один американский писатель (Л. Морган), которого никак нельзя заподозрить в революционных тенденциях и который пользуется в своих исследованиях поддержкой вашингтонского правительства, — “новый строй”, к которому идет современное общество, “будет возрождением... в более совершенной форме... общества архаического типа”» (Соч., т. 19, с. 401—402; курсив мой. — Г. К.).

Кстати, хотя Т. Грановский много раньше Л. Моргана открыл патриархальную общину как именно стадию развития человечества, переходную к рабовладению и феодализму, в основательности анализа и выводах, как видим, дальше идет Л. Морган.

Книга Л. Моргана «Древнее общество, или Исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации» вышла в 1877 г. — Маркс на нее ссылается, как видим, в 1881 г., но интересно, что сам он писал об общине как о стадии развития («азиатском» способе производства) в 1857—1859 гг. Л. Морган служит ему тут, выходит, уже для подтверждения, в принципе, ему давно известного. Да и это — не самое раннее указание на то, что община объективно включена историей в свою первую триаду. Сам Гегель, правда, до такого вывода относительно триады не дошел, но достаточно того, что он указал на универсальность самого применения триады. Триадность исторического мышления, охватывающего пространственный и временной параметры человеческого бытия, впервые проглядывается у Маркса, между прочим, в «Экономическо-философских рукописях 1844 г.», хотя он и не ссылается на триаду. Стало быть, действительно, впервые совершенно определенно вывел разговор об общине на связь ее с глобально действующей триадой все-таки Чернышевский, а подвигли его на это исследования Грановского (писал обо всем этом Чернышевский, кстати, тоже в 1856—1858 гг.).

В статье «Сочинения Т. Н. Грановского. Том первый. Москва. 1856» Чернышевский особо выделяет очерк выдающегося историка «О родовом быте у



древних германцев». Он пишет: «Факты, указанные Грановским... полагают конец многим ошибочным мнениям о совершенном, будто бы, различии славянской общины от общин, какие застает история у германских и кельтских племен» (Сочинения, М., т. 1, 1986, с. 327). Чернышевский в познаниях общества сильно возвысился над современниками, дав к Грановскому гениальный комментарий, который сам Грановский, возможно, просто и не успел дать. К тому же, как и другие ученые тогда и после, он тоже ограничивался доказательством лишь причастности России к общечеловеческим законам развития, а самобытность ее занимала его только в отрицательном плане, поскольку его оппоненты, славянофилы, в свою очередь, наоборот, ошибочно делали упор на том, что община — исключительно русское явление.

И вот в статье «Критика философских предубеждений против общинного владения» Чернышевский прямо вступает в сражение с «западниками», Вашиными дальними предшественниками, Раиса Павловна... Иронизируя над ними по поводу того, что они чуть ли не непременно гордятся своей приверженностью учениям немецких диалектиков, а одновременно заявив, что сам он хотя и не последователь Гегеля, «а тем менее» — Шеллинга, однако признает, что «обе эти системы оказали большие услуги науке раскрытием общих форм, по которым движется процесс развития». Основной результат этих открытий выражается следующей аксиомой: «По форме высшая ступень развития сходна с началом, от которого оно отправляется» (там же, с. 610). У Гегеля, отмечает он, «вся система состоит в проведении этого основного принципа через все явления мировой жизни от ее самых общих состояний до мельчайших подробностей каждой отдельной сферы бытия» (там же).

Тут замечательно, что Чернышевский принимает за аксиому как раз самое гениальное открытие Гегеля: при всей сложности развития всякая «высшая ступень» «сходна с началом». Если в первой точке всего процесса — община, то и в третьей, высшей его точке — община же...

И вот, словно из Зоны в фильме «Сталкер» А. Тарковского, звучит ныне для Вас (и Ваших единомышленников Б. Интерберга и В. Твардовской) уже потусторонний голос Чернышевского. Потусторонний, но... из будущего: «Для читателей, знакомых с немецкой философией, последующее наше раскрытие этого закона не представит ничего (! — Г. К.) нового; оно должно служить только к тому, чтобы выставить в полном свете непоследовательность людей, не замечавших, что дают оружие сами против себя, когда налегают с такою силою на первобытность формы общинного владения» (там же, с. 610—611).

Такие вот шуточки шутит история: кто давно из жизни ушел — тот в будущем, а кто живет — тот в прошлом...

Впрочем, у Чернышевского разговор этим только начат. Далее он дает блистательное доказательство триадности в развитии вообще любых явлений — от мельчайших сущностей до грандиозных. Горько при этом сознавать сегодня, что с легкой руки Владимира Ильича в течение многих и многих десятилетий едва ли не все гуманитарии повторяли одну и ту же фразу: Чернышевский («из-за отсталости русской жизни») якобы остановился «перед научным пониманием истории». Остановился ли? Марксом Чернышевский был воспринят как *ушедший вперед*, как действительно «великий русский ученый». Его единственного из современников Маркс так называл и по отношению именно к нему, Чернышевскому, писал, что он, Маркс, с ним согласен... Имелось в виду — согласен в суждениях его о России. Да и в других важнейших проблемах, например, в



критике буржуазной политической экономии. Маркс ведь прямо признал эти приоритеты Чернышевского.

Чернышевский действительно в полную силу применил гегелевскую диалектику, дав научную трактовку ее уже в 1856—1858 гг. — *раньше*, чем это было сделано Марксом и Энгельсом. Нет доказательств, будто их обидело невнимание к ним со стороны Чернышевского. Они ведь к тому времени еще мало что успели фундаментального изложить, а «Капитал» вышел, между прочим, уже когда Чернышевский был в Сибири...

Читая ныне Чернышевского не с позиций отрицания его как гиганта прометеевского типа, а с позиций того, что он *реально оставил людям*, просто невозможно увидеть в нем теоретическую «отсталость». Восхищает меня полное сходство поисков «русской идеи» Чернышевским и Марксом — оба они ищут «отгадки» русской истории в одном направлении, видят ее именно необычность по отношению к Западу, оба же обнаруживают и аналогичные альтернативные пути для России.

Первое, что обнаруживают (каждый в свое время) и Чернышевский, и Маркс, — это именно самобытность России, ее поистине колоссальное отличие от стран Запада, ее «архаическую» (первобытно-коммунистическую) общинность. Второе же — то, что у них обоих самобытность России, оказывается, связана с линией общего развития всего человечества...

Попытаемся разобраться в этом, а потом уже рассмотрим и третью составляющую единого учения Чернышевского и Маркса о России. О зигзаге Энгельса я уже писал.

Посмотрите же на все это сами, Чернышевский разъясняет проблему, по своему обычаю, детально: «Повсюду высшая ступень развития представляется по форме возвращением к первобытной форме, которая заменилась противоположностью на средней ступени развития...» (там же, с. 625). Все эти высказывания Чернышевского никем в России не исследовались. Их и Плеханов не приводит (или если приводит, то в весьма усеченном виде) даже в его работе «Н. Г. Чернышевский». Вслед за Плехановым эти слова «доверчиво» отбрасывает и Ленин. Замолчала их вся «западническая» часть российской интеллигенции. До их смысла не поднимались, впрочем, и сторонники Чернышевского. Поэтому я просто вынужден — для нашего же с Вами читателя — сделать дополнительно выписки из Чернышевского. Необходимо при этом сохранить и достоинство его метода: он мыслит научно и вместе с тем ведет спор, уязвляет оппонентов тем оружием, которым похваляются они сами.

«Все изложенное нами, — читаем в той же статье, — должно было быть знакомо тем противникам общинного владения, которые называют себя последователями Шеллинга и Гегеля. Каким же образом не догадались они, что, налегая на первобытность этой формы отношений человека к земле, они тем самым указывают в общинном владении черту, сильнейшим образом предрасполагающую к возвышению общинного владения над частною поземельною собственностью?» (там же, с. 625—626).

Логика Чернышевского безупречна. Он обобщил материал истории, и он наступает: «Неужели при одной фразе “общинное владение есть первобытная форма поземельных отношений, а частная собственность вторая, последующая форма”, — неужели при одной этой фразе не пробуждается в каждом, кто знаком с открытиями великих немецких мыслителей, сильнейшее, непреодолимое предрасположение к мнению, что общинное владение должно быть и высшею формою этих отношений?» (там же).



Так не кажется ли теперь Вам, уважаемая Раиса Павловна, что русские «ученики» Маркса, начиная с Плеханова, в сущности, отвернулись от краеугольного понятия гегелевской диалектики — закона «отрицания отрицания» — ради отбрасывания того гениального вывода, что когда в каком-либо процессе тезис не отрицается антитезисом, то он может удержаться до появления сложно-го синтеза в третьей точке? И значит, только по первой и третьей точке всякого витка спирали можно судить именно о направленности процесса. А «средние ступени» могут и выпасть из развития. Ведь это же и к Вам тоже обращался Чернышевский со следующими словами: «Если кому-нибудь мало покажется приведенных нами подтверждений всеобщности этого закона: “конец развития по форме является возвращением к его началу”, для такого скептика мы готовы по первому его желанию показать ту же норму в развитии всех половых и семейных отношений, политического устройства, законодательства вообще, гражданских и уголовных законов, налогов и податей, науки, искусства, материального труда; для всего этого не нужно будет нам ни особенной учености, ни других соображений, — нужно только заглянуть, например, хотя в Гегеля: у него все это давным-давно доказано и объяснено» (там же).

Значит, дело пришло к тому, что при обретении нового для себя мировоззрения *самая ранняя русская социал-демократия объективно встала на путь игнорирования особенностей развития России*, и провозглашение историзма было в этих условиях простой декларацией, самообольщением. И конечно, важен упоминавшийся мною третий момент в суждениях Чернышевского о России, который завершает суждения его о триадности движения истории (в т. ч. отечественной). Рассмотрев две ступени — первобытную («архаическую») общинность и последующий переход ее к частному землевладению, на чем, как известно, ставят обычно точку как на высшем пункте, Чернышевский делает далее вполне итоговый вывод: завершающим является не частное землевладение, а следующий за ним высокий синтез — *саморазвитие опять в сторону коллективного владения*, но уже другого — такого, которому также соответствует и *более высокий общий уровень жизни*, дающий все возможности для самосовершенствования каждого индивида. «Таково, — пишет великий мыслитель, — сильнейшее, непреодолимое расположение мысли, к которому приводит каждого знакомого с основными воззрениями современного мирозерцания именно та самая черта первобытности, которую выставляют к решительной выгоде для себя в общинном владении его противники. Именно эта черта заставляет считать его тою формою, которую должны иметь поземельные отношения при достижении высокого развития: именно эта черта указывает в общинном владении высшую форму отношений человека к земле» (там же, с. 628). Не из-за квасного же патриотизма (смею заверить, он мне не присущ), а исходя лишь из факта вновь напомним Вам: у Маркса и Энгельса в эти годы с такой ясностью еще и не были написаны слова о том, что человечество в своем развитии подчиняется действию закона поступательной триадности, при котором первая стадия в самом важном смысле повторяет себя в третьей, завершающей стадии. Поистине, нет пророка в своем отечестве...

Хотя, как я уже отмечал, в «Экономическо-философских рукописях 1844 г.» Маркс, в сущности, идет в своих суждениях, в конечном счете, по ступеням триады. Да и как можно по-иному приблизиться к истине? Логика познания повторяет собой логику истории.

Продвигаясь по стезе постижения социального развития, Чернышевский сопоставляет все три ступени первого витка исторической спирали. Его суж-



дения фиксируют при этом одновременно и альтернативность внутри всего этого процесса: во-первых, развитие это идет через все три обозначенные ступени (в свою очередь, они внутри себя, конечно, могут подразделяться и еще на свои периоды) — таковым является, в частности, западноевропейский вариант социального прогресса; во-вторых, развитие в каких-либо других странах может и миновать те стадии, которые составляют именно срединную часть триады. У Маркса, как я уже писал, это же самое объясняется с применением слова «формация»: первобытная община — это «первичная формация»; классовые общества (рабовладение, феодализм, капитализм) — это «вторичная формация»; будущее бесклассовое общество — это действительно высокий *синтез всего ценного первых двух ступеней*. Собственно, это «третичная» формация. Правда, такого слова Маркс не употребляет.

И Маркс, и Чернышевский, говоря о России, рассуждают о возможном выпадении из ее развития именно капиталистической стадии — самой важной составной части «середины» и, стало быть, высшей точки «вторичной» формации — тотального господства эксплуатации. «Каждое ли отдельное проявление общего процесса должно проходить в действительности все логические моменты с полной их силою, или обстоятельства, благоприятные ходу процесса в данное время и в данном месте, могут в действительности приводить его к высокой ступени развития, совершенно минуя средние моменты или, по крайней мере, чрезвычайно сокращая их продолжительность и лишая их всякой осязательности» (там же), — эти слова звучат у Чернышевского вовсе не как вопрос, а именно как утверждение: нет, не каждое...

Точно так и Маркс в связи с известной попыткой Н. Михайловского доказать, будто в «Капитале» сформулирована некая единственная в своем роде модель движения народов непременно и неотвратно через буржуазную стадию, писал о том, что Михайловскому «непременно нужно превратить мой исторический очерк возникновения капитализма в Западной Европе в историко-философскую теорию о всеобщем (капиталистическом. — Г. К.) пути, по которому роковым образом обречены идти все народы, каковы бы ни были исторические условия, в которых они оказываются, — для того, чтобы прийти в конечном счете к той (коммунистической. — Г. К.) экономической формации, которая обеспечивает вместе с величайшим расцветом производительных сил общественного труда и наиболее полное развитие человека. Но я прошу у него извинения. Это было бы одновременно и слишком лестно, и слишком постыдно для меня» (Соч., т. 19, с. 120). Неизменными, с точки зрения социальной сути, стало быть, все-таки действительно остаются и начальная, и конечная точки триады. Но в «средней» (по слову Чернышевского) или «вторичной» (по слову Маркса) формации могут быть именно самые различные пропуски (не только буржуазной ступени).

В доказательство этого Маркс приводит такой пример: «В разных местах “Капитала” я упоминал о судьбе, постигшей плебеев Древнего Рима. Первоначально это были свободные крестьяне, обрабатывавшие, каждый сам по себе, свои собственные мелкие участки. В ходе римской истории они были экспропрированы. То самое движение, которое отделило их от их средств производства и существования, влекло за собой не только образование крупной земельной собственности, но также образование крупных денежных капиталов. Таким образом, в один прекрасный день налицо оказались, с одной стороны, — свободные люди, лишенные всего, кроме своей рабочей силы, а с другой стороны — для эксплуатации их труда — владельцы всех приобретенных богатств. Что же произошло? Римские пролетарии стали не наемными рабо-



чими, а праздно́й *черню́* (курсив Маркса. — Г. К.), более презренной, чем недавние “poorwhites” (“белые бедняки”) южной части Соединенных Штатов, а *вместе с тем развился не капиталистический, а рабовладельческий* способ производства. Таким образом, события поразительно аналогичные, но происходящие в различной исторической обстановке, привели к совершенно разным результатам. Изучая каждую из этих эволюций в отдельности и затем сопоставляя их, легко найти ключ к пониманию этого явления; но никогда нельзя достичь этого понимания, пользуясь универсальной отмычкой в виде какой-нибудь общей историко-философской теории, наивысшая добродетель которой состоит в ее надысторичности» (там же, с. 120—121; курсив мой. — Г. К.).

Отвергая все шаблоны, Маркс анализирует именно конкретные условия России.

Не любопытно ли, что Плеханов, касаясь этого же места в письме Маркса в «Отечественные записки», пишет о нем как якобы о единственном указании автора «Капитала» на конкретную ситуацию, в которой обнаружилось несоответствие объективного результата с традиционными представлениями. На самом деле Маркс к тому ведь и указал на этот факт, чтобы подчеркнуть, что не менее непривычным результатом явилось и развитие России, где крестьянство, в свою очередь, оказывается, может обойтись и без массовой пролетаризации его, ибо страна в самом деле минует в целом всю ступень капитализма... Такой тут ход мысли.

А разве не говорит об отсутствии каких-либо абсолютов в историческом развитии также и то, что в большинстве стран Западной Европы совершенно очевидно не было рабовладельческой стадии: свободное крестьянство превратилось здесь, в отличие от Древнего Рима, вовсе не в рабов и люмпенов, а в крепостных. Чернышевский, в свою очередь, приводит и еще массу примеров в доказательство частой повторяемости именно выпадения «средней» ступени. «В индивидуальной жизни, — пишет он, — средние моменты развития могут быть пропускаемы в реальном процессе известного явления, когда человек, в котором этот процесс стоит еще на низкой ступени, сближается с человеком, в котором он достиг уже гораздо высшей степени» (Соч., М., 1986, т. 1, с. 634). «...Ход индивидуальной жизни может перебегать с первой ступени прямо на третью...» (там же, с. 635).

Завершая это письмо, хочу привести и еще некоторые положения Маркса из десятилетиями охраняемого Вами от общественности его рукописного наследия. О том, что Вы, именно Вы скрывали истинный смысл учения Маркса о России, а о его близости к позиции Чернышевского вообще молчали и молчите, — об этом хотелось бы поразмыслить, ни в коем случае не торопясь. Вы ведь утверждаете, будто Маркс и Чернышевский — в сущности, антиподы во взглядах на Россию... М-да... Бедный марксизм...

Тем более скрывал «русскую идею» Маркса от всех на свете первый русский «марксист» Плеханов. Он не допускал никому и слова сказать о том, что Россия, не избежав и капиталистических влияний, пойдет все-таки своим, самобытным путем. Если же строго следовать смыслу событий, то вообще-то *разве в истории возможны не самобытные пути?* Они кому-то желаемы, но возможны ли?

Протестуя против плехановской позиции навязывания ему, Марксу, взглядов о неизбежности капитализма в России, сам Маркс искал, как бы убедительнее возразить таким людям — в каких именно выражениях (защитить от них именно «Капитал»). «...Процесс, который я анализировал, — напомним и здесь



приводившиеся мною в другой связи суждения Маркса, — заменил форму частной и раздробленной собственности работников капиталистической собственностью ничтожного меньшинства, заменил *один вид собственности другим* (курсив Маркса. — Г. К.). Как можно это применять к России, где земля не является и никогда не была “частной собственностью” земледельца? Стало быть, единственное заключение, которое они имели бы право вывести из хода вещей на Западе, сводится к следующему: чтобы установить у себя капиталистическое производство, Россия должна начать с уничтожения общинной собственности и с экспроприации крестьян, т. е. широких народных масс. Впрочем, как раз этого и желают русские либералы (как и русские социал-демократы! — Г. К.); но является ли их *желание* (курсив Маркса. — Г. К.) более основательным, чем желание Екатерины II насадить на русской почве западный цеховой строй средних веков?» (Соч., т. 19, с. 411—412).

Такой вот поворот мысли, кстати, совсем небеспочвенный: цеховой строй (даже из переселившихся в Россию немцев) для самой России тогда так и остался чуждым, ибо еще не было в самом народе частнособственнических традиций. С другой же стороны, несколько раньше не привели к капитализму и масштабные реформы Петра I — они, оказывается, тоже не выходили сколько-нибудь далеко из границ закрепощенной, но общинности же, которая была перенесена в промышленность. *Заколдованный круг?* В известном смысле на это похоже. Маркс и пытался этот круг расколдовать. Как и Чернышевский. Каким же образом? Да как раз раскрытием самой специфики русской самобытности! «...Экспроприация земледельцев на Западе привела к “превращению частной и раздробленной собственности работников” (слова в кавычках — из “Капитала”. — Г. К.). Но это все же — замена одной формы частной собственности другой формой частной собственности. В России же речь шла бы, наоборот, о замене капиталистической собственностью собственности коммунистической (общинной. — Г. К.)» (там же, с. 412).

Но дело-то не только в русской самобытности, оно и во внешних обстоятельствах. Конкретная историческая ситуация — реальность более широкая, чем национальная самобытность. И тут мы выходим на важнейшую проблему конкретного исторического времени, анализ которого и содержится в тех работах Маркса, которые Вы, Раиса Павловна, опрометчиво обошли в своих многочисленных комментариях к Марксу, Плеханову, Ленину и вообще к русскому революционному движению.

Маркс же — смею и об этом заявить Вам — совершенно четко определил именно причины, по которым Россия не только (по состоянию на последнюю четверть XIX в.) может и не пройти через стадию полнокровно развившегося капитализма, но и много более того, она уже (не еще, а уже!) не может, так как не имеет для этого ни все того же исторического времени, ни исторического пространства; она не может и, скорее всего, вообще не пройдет через эту историческую формацию... Вот, вчитайтесь, наконец: какая здесь идея проводится? «Если бы Россия, — писал Маркс, — была изолирована от мира, если бы она должна была сама, своими силами, добиться тех экономических завоеваний, которых Западная Европа добилась, лишь пройдя через длинный ряд эволюций — от первобытных общин до нынешнего ее состояния, то не было бы, по крайней мере в моих глазах, никакого сомнения в том, что с развитием русского общества общины были бы неизбежно осуждены на гибель. Но положение русской общины совершенно отлично от положения первобытных общин Запада. Россия — единственная страна в Европе, в которой общинное



землевладение сохранилось в широком национальном масштабе, но в то же самое время Россия существует в современной исторической среде, она является современницей более высокой культуры, она связана с мировым рынком, на котором господствует капиталистическое производство» (там же, с. 413; курсив мой. — Г. К.).

Это, разумеется, не должно рассматриваться как якобы некая угроза ее будущему: «Усваивая положительные результаты этого способа производства (капиталистического. — Г. К.), она получает возможность *развить и преобразовать архаическую форму* своей сельской общины, вместо того чтобы ее разрушить (отмечу мимоходом, что форма коммунистической собственности в России есть наиболее современная форма архаического типа, который, в свою очередь, прошел через целый ряд эволюций)» (там же; курсив мой. — Г. К.). И затем вопрос ставится и совсем в духе Чернышевского: «Если поклонники капиталистической системы в России станут отрицать возможность такой комбинации (соединения общинности с достижениями науки и техники Запада. — Г. К.), пусть они докажут, что, для того чтобы ввести у себя машины, она вынуждена была пройти через инкубационный период машинного производства. Пусть они объяснят мне, каким образом могли они ввести у себя, можно сказать, в несколько дней механизм обмена (банки, кредитные общества и т. п.), выработка которого потребовала на Западе целых веков?» (Соч., т. 19, с. 413). Тут речь идет уже и о конкретных формах использования тогдашней Россией достижений буржуазного Запада — этому, согласно Марксу, никак не должна была препятствовать российская общинная самобытность... И вовсе не она сама по себе привела русскую революцию к трагическим неудачам, а совсем другие факторы.

А Вы меж тем пишете: «К. Маркс и Ф. Энгельс пришли к выводу, что Россия не может миновать капиталистическую стадию...» Энгельс — да. Об этом речь уже шла. А при чем тут Маркс? Я Вас прошу ответить: при чем тут Маркс? Разве не он размышлял до последних дней своих о том, что «*русская идея*» — это не идея «*Капитала*», а «*Капитал*» — это не для того, чтобы вытеснить собой «*русскую идею*» — в сущности, самую главную идею русской нации XIX и XX веков?

Если бы даже у нас ныне и победили западноевропейские стандарты жизни, — и в этом случае Плеханов и его единомышленники оказались бы правы, — то ведь и такой исход не оправдывал бы попыток извратить действительные взгляды Маркса.

Впрочем, разговор-то наш еще далек от завершения, а письмо это уж очень сильно затянулось. Вы отлично знаете, сколько еще пунктов и проблем в научной литературе о судьбах России, которые Вами (и, конечно, другими) оберегались со всей бдительностью, присущей «казарменному социализму», защищавшемуся Вами, между прочим, и с применением, в сущности, доносительских интонаций. С какой охранительной, я бы сказал, элегантностью Вы оградили себя от всякого инакомыслия, заявив в своей книге «Карл Маркс и революционная Россия», к примеру, о том, что отстаиваемую Вами (я утверждаю, архиошибочную!) позицию, оказывается, пытались «опровергнуть Бернштейн, а ныне буржуазные и правосоциалистические “марксоведы”»... Эка куда метнули!

И все равно, нет таких причин, которые помешали бы мне искренне пожелать Вам всего самого доброго — особенно прозрения.

Г. Кунцын,
 9. III. 1991 г.



Письмо седьмое

*Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несусь,
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу.*

А. Блок

Уважаемая Раиса Павловна!

Вы, конечно, помните, что исповеднические строки эти обращены к России. Навеяны они были поэту болью, которая сегодня угнетает и нас с Вами. Проблема выбора пути... Выбора «чародея».

**Пускай заманит и обманет —
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота огуманит
Твои прекрасные черты.**

Все бывало. Россия вечно ждала своего «чародея». Получилось же теперь и еще круче. Трагичнее. Не обошлось «одной заботой боле», «одной слезой река полней», как надеялся А. Блок. Россия пошла за новым «чародеем»... Отдала и ему «разбойную красу».

Мы выходим с Вами в диалоге нашем на линии поистине роковой судьбы Отечества. Вы, думаю, догадались: речь пойдет и о самом масштабном «чародее».

И все же сперва давайте восстановим в памяти связующие нити с предыдущими моими письмами к Вам. Напомню: мною изложена «русская идея» Маркса. Сокровищу ее Вы, Раиса Павловна, отдали десятки лет деятельности Вашей на посту публикатора рукописного наследия К. Маркса, принявшего эту идею. Вы сделали все от Вас зависящее, чтобы оказавшиеся в Вашем ведении неопубликованные рукописи Маркса, его конспекты, его пометки и замечания о России на этих работах, чтобы эти совершенно очевидно опровергающие Вашу «западническую» позицию документы не привлекли к себе внимание многих...

Конечно, и мы все — Ваши оппоненты — заблуждались! Но заблуждения — это же нечто другое. По сравнению, к примеру, с *соучастием* в делах, которые издревле обозначены словами «продуманно творить чепуху» (Теренций). Ваша продуманность последовательна. Попытайтесь же, пожалуйста, хотя бы теперь взглянуть на свои действия несколько отстраненно.

Из всех документов Маркса, которые я цитировал в письмах к Вам, Вы в своих книгах и статьях не только не попытались проанализировать ни единого, но и не привели из них ни одной сколько-нибудь концептуальной цитаты. Создаете вид, будто их не существует... Любопытно: делая такой вид, Вы (неизвестно, на каком основании) все же даете свои категорические заключения. Нередко до отчаяния противоположные фактам.

Удручает, в частности, крайне тенденциозное Ваше отношение к исследованию А. Гакстгаузена «Сельское устройство в России», вышедшему тремя книгами в 1847—1852 гг. С этим его самым первым изданием на немецком языке сначала познакомился Герцен. Несколько позже — Чернышевский. Оно перевернуло представление того и другого о русской деревне — проникновением именно в самую суть общинной жизни крестьянской России. Оба они отзывались о дотошном иностранце Гакстгаузене не иначе как с уважением. Кстати, Маркс, скорее всего, узнал о Гакстгаузене из их работ — Герцена и Черны-



шевского: они откликнулись именно на первое издание Гакстгаузена. Маркс же конспектировал уже лейпцигский выпуск 1866 г. Вряд ли справедливо Маркс иронизировал над Герценом в связи с тем, что тот узнал о существовании русской общины «от немца» — будучи в эмиграции, а не открыл ее сам. Маркс о том же самом узнал все-таки и сам позже Герцена. Подобные детали, разумеется, — пустяки. Важно все же то, что исследование А. Гакстгаузена *действительно* открыло эпоху в глубоком изучении русской жизни. И уж какое имеет значение, во всем ли прав Гакстгаузен в своих неизбежно субъективных оценках — факты-то, факты!

Маркс серьезно, очень серьезно отнесся к названному исследованию. Он, наряду с прочим, открывал для себя Россию и с помощью этого источника, отлично зная, что Герцен и Чернышевский создавали теорию «русского социализма», в первую очередь, опять-таки на основе материала, наработанного Гакстгаузенем. Да, Маркс отлично знал об этом.

Вас не насторожило даже то, что Вы сами сообщаете: «Имеются две записи, сделанные (Марксом) при изучении книг Гакстгаузена, — одна в тетради с пометкой Маркса “Начало 20 апреля 1876 г.”, другая значительно позже — в 1881 г.». Ваш вывод: «Критическое (? — Г. К.) отношение Маркса к изучаемой работе нашло свое выражение не только в прямых характеристиках ее автора, но и в подходе к материалу книги: почти ничего не взято из общих рассуждений Гакстгаузена, а заимствованный фактический материал сопоставляется с аналогичными данными, содержащимися в работе Скребицкого и других русских источниках».

Это — и все? А кто будет аргументировать? Из чего Вы заключили, что Маркс отнесся к А. Гакстгаузену критически? Передо мною составленный Вами XII т. «Архива Маркса и Энгельса» (Госполитиздат, 1952), а в нем — и конспект книги Гакстгаузена «Сельское устройство России». Что же все-таки заставило Маркса писать первую часть этого конспекта в 1876 г., а вторую — *именно в 1881 году*? Первый раз он делает выписки — неизвестно почему — незадолго до работы над письмом своим в «Отечественные записки», где впервые упоминает о Гакстгаузене, а второй-то раз это случилось *в связи с работой над письмом к В. Засулич*, отправленным 8 марта 1881 года! Не Вам ли самой первой и надо было отреагировать на такое совпадение?

Однако Вас влекло в сторону охаивания «русского социализма». И даже в книге барона Гакстгаузена Вы увидели «идеализацию» русской общины...

Вопреки Вам, Маркс оказал уважение А. Гакстгаузену именно как знатоку аграрных проблем, написавшему (еще до поездок своих в Россию) несколько исследований о странах Запада. *Не разделяя надежд* на русскую общину, Гакстгаузен тем не менее приходит в восторг от своего (ошеломившего его и других) открытия русской *самобытности*. В связи с излишним его умилением, Маркс упрекает его и в «наивности» — Гакстгаузен, как оказалось, *не увидел крепостнических пут* в жизни общин российских «государственных» крестьян. Ну и что? Доля их горькая была к тому же и действительно полегче, чем у помещичьих крестьян.

Обстоятельность Маркса по отношению к исследованиям Гакстгаузена доказывается тем, что, законспектировав книгу его на немецком языке (1866 г. издания), Маркс для себя замечает: некоторые моменты, оказывается, освещены подробнее «в другой книге Гакстгаузена» («Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России», русское изд. 1870 г., т. 1). Вы-то слышали эти два издания?



Весь конспект Маркса испещрен светлым курсивом, черным курсивом, черным курсивом в разрядку, светлым курсивом в разрядку, подчеркиваниями на полях и другими попытками оттенить именно нужное содержание... Разве это эмоциональное устремление Маркса кем-то выдуманно? И не Вы ли и подбирали эти курсивы?

А Вы заявляете: к Гакстгаузену — у Маркса «критическое отношение»... Между тем, сами Вы стремитесь буквально «наздравствоваться на каждый чих» Маркса. Доходит до курьезов — чтобы усть Гакстгаузена, Вы выставляете и Маркса в ложном свете! Вдумайтесь хотя бы в подстраничные слова Ваши к марксовскому конспекту книги Гакстгаузена «Сельское устройство России». «Сведения, сообщаемые в примечании на стр. 139, на которые ссылается Маркс, — пишет Вы, — по существу, опровергают (?! — Г. К.) утверждения Гакстгаузена». В указанном примечании, между прочим, говорится, что крестьяне многих местностей России вынуждены были отправляться на поиски работы в другие губернии, так как по соседству они «не могли найти никакой работы».

В одной из своих тетрадей, содержащих записи, сделанные в связи с изучением «Трудов податной комиссии», К. Маркс, выписав сообщение о том, что половина крестьянского населения Ярославской губернии отправляется на заработки, гонимая крайней нуждой, — делает следующее замечание: «Это барон Гакстгаузен ввел читателя в заблуждение относительно страсти русского крестьянина к бродяжничеству» (Архив ИМЭЛ).

Прежде всего, непонятно — при чем тут Гакстгаузен, пусть даже перед нами и слова Маркса о нем? Разве Гакстгаузен в своем примечании на стр. 139 его книги говорит о *бродяжничестве*? И что, вообще-то, понималось Марксом — на этот раз — под бродяжничеством в России? В действительности — это обычное *отходничество*... Маркс начитался вдоволь о подобном явлении уже у Берви-Флеровского в книге «Положение рабочего класса в России». А впервые он обратил внимание на это же самое еще раньше — вот, 29 февраля 1856 г. он пишет Энгельсу из Лондона: «В Музее я отыскал пять томов, размером ин-фолио, *рукописей* о России (только о восемнадцатом веке) и сделал из них выписки... В том числе имеется рукопись 1768 г., принадлежащая одному из посольских атташе, о «характере русского народа». Я тебе пошлю некоторые выписки из нее. Также есть интересный доклад о *русских «артелях»*, написанный двоюродным братом Питта, капелланом посольства» (Соч. 2 изд., т. 29, с. 15; курсив мой. — Г. К.). Каково? Отходничество и было, чаще всего, в форме именно *артелей* — поэтому-то и важен весь контекст, из которого Вы извлекли непонятные слова Маркса о непонятном на Западе «бродяжничестве» русских крестьян. Да ведь в те времена было же и *странничество* массовым явлением... Между прочим, и ныне у нас новоявленных «странников» немало: к примеру, бомжей где-то миллиона два-три... А Вы привели одну фразу Маркса (неизвестно откуда) и считаете, что этим что-то доказали?

Возникает и еще один вопрос: собственно, на каком основании Вы цитируете документы, если читателю не дается возможности убедиться в том, что эти документы действительно существуют? Что же это, в самом-то деле, получается? Готовя XII т. «Архива Маркса и Энгельса» к публикации, Вы, Раиса Павловна, (именно как составитель текста тома) из самих рукописей Маркса *выбирали* (именно так!) отнюдь и отнюдь не всё, а *только и только то, что Вы лично сочли нужным*? Вы были цензором в *неизвестной читателю «тетради»*, где Маркс дополнительно говорит о Гакстгаузене. Вы изволили взять

оттуда лишь *одну его фразу*. Из какого же, повторяю, контекста эту его фразу Вы извлекли? Она ведь удивляет: собственно, какого «читателя» мог ввести в заблуждение Гакстгаузен, как о том сказано в Вашей выдержке из Маркса, «относительно страсти русского крестьянина к бродяжничеству»? Немецкого? В 1866 г. книги Гакстгаузена *на русском языке еще и не было* (полностью она у нас не опубликована и поныне). Может, самого Маркса? Но Вы же и утверждаете, что в указанном примечании Гакстгаузена на стр. 139 книги, «между прочим, говорится, что крестьяне многих местностей России вынуждены были отправляться на поиски работы в другие губернии»...

Вы снисходительно нам киваете: из «Трудов податной комиссии» (российской?) Маркс выписал «сообщение о том, что половина крестьянского населения Ярославской губернии отправляется на заработки, гонимая крайней нуждой», Вы при этом оперируете, в сущности, экспропрированными лично Вами и другими имэловцами текстами Маркса... Разве не так?

Почему уход на заработки Марксом назван «бродяжничеством»? Да и что, собственно, страшного в том, что, может, Маркс употребил и просто неудачное слово? Вы, однако, и этот его «чих» выдаете за непререкаемое суждение...

Гораздо интереснее для читателя, впрочем, совсем другое — то, что Маркс в черновых набросках письма к В. Засулич характеризует русскую общину все-таки в духе именно тех характеристик, какие он встретил ранее у Чернышевского. А у Чернышевского они не противоречат документальным описаниям, данным Гакстгаузенем! И напрасно Вы на барона такую большую бочку катите...

Главное все же, настаиваю я, в том, что Вы приняли участие в утайке идей Маркса. Вы именно проговорились: в Вашем распоряжении действительно были неопубликованные «тетради» Маркса, из них Вы малыми крохами кое-что подбрасывали и нам, читателям. Не Вы ли, однако, оказались одним из лиц, кто еще и сегодня держит под замком пятьдесят (возможно, и больше) томов неопубликованного рукописного наследия К. Маркса и Ф. Энгельса? Не Вы ли, работая в ИМЭЛ, были среди тех, кто, скрывая значительную часть марксизма буквально под полом, провел позорное решение об издании полного собрания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса в ста томах не на русском языке, а лишь на «языках оригинала»? Это означает, что долго еще так и не будет ни единого на свете человека, действительно прочитавшего Маркса и Энгельса полностью... Ибо они оба знали десятки иностранных языков, но как раз на русском писали чрезвычайно мало. Итак, *публикатором* ли наследия Маркса были Вы? Может, сказать точнее: Вы были *охранителем сталинского тайника*?

Но и в случаях, если рукописные тексты Маркса даже допущены Вами к читателю, Вы не упускаете возможности комментировать их с весьма и весьма различным к ним отношением. Одни из них Вы замалчиваете; другие же — выставляете напоказ (если там есть хотя бы малейшая возможность истолковать их в псевдомарксистском, «западническом» духе). Еще совсем недавно в статье «Утаил ли Плеханов письмо К. Маркса?» для доказательства никогда не существовавшего отрицательного отношения Маркса к русской общине Вы цитируете следующее его восклицание из конспекта статьи П. П. Семенова («Сборник для изучения сельской общины», 1880 г.). Да — лишь само восклицание: «Хорош результат общинного владения землей!» А восклицание это у Маркса вырвалось в связи с тем, что 40 % крестьян обследованных общин жили в трудных



условиях (вплоть до бедности и разорения). Богатых крестьян в них было — 60 %... Но ведь и богатые — тоже общинники! Не любопытно ли: даже при одном работнике валовой доход в семьях был тогда 150—300 рублей, а чистый доход — 30—100 рублей. Переведите-ка это на нынешние наши рубли...

Вы оборвали цитату из Маркса, а он подчеркивает далее: *«Интересно сопоставить общины, потому что из этого сопоставления видно, между прочим, как большее или меньшее благосостояние определялось тем положением, в котором они находились соответственно еще во время крепостного права»* («Архив Маркса и Энгельса», т. XII, с. 128; выделено Марксом. — Г. К.). Подчеркнул! А Вы именно это и выкинули... Публикатор...

Сама по себе община, выходит, ни в чем тут и не виновата: люди-то разные. И семьи — тоже.

А самое главное, опять же подчеркнул Маркс: *«В действительности все было перетасовано и перестроено в интересах помещика, а не крестьян»* (там же, с. 127).

А в чьих же интересах перетасовываете Вы? Стало быть, вокруг общины Вы мутите водичку? Представьте-ка себе: архивы ИМЭЛ будут открыты... Тогда-то что? Каждый желающий прочитает «тетради», из которых еще вчера могли что-либо взять только охранители — для придания своим писаниям всего лишь *видимости* научности. Этим ведь Вы и занимались?

Не могу здесь не предложить читателям хотя бы один из образчиков Ваших умолчаний, Раиса Павловна. Все больше убеждаюсь, насколько строго у Вас и это все продумано — в охранительных целях Вы жертвовали даже занимательностью. Вы же ведь, как говорится, и ухом не повели, встретив в тексте марковского конспекта книги А. Кошелева «Об общинном землевладении в России», 1875 г., принципиальное одобрение. Впрочем, этот конспект весь примечателен — воспроизведу восхитивший Маркса фрагмент: *«Наши либералы почти все — ученики западной школы. Там коммуна — “лишь ублюдок, карикатура нашей общины”* (курсив Маркса. — Г. К.). [*Браво, Кошелев! (таково мнение москвитя о Западе!*)] (комментарий Маркса. — Г. К.). Наша община есть полнейшая противоположность западной коммуны... Здесь — самобытный продукт прошлого, там — она вводится насильственно в результате теорий, поддерживаемых неудовлетворительным общественным положением и т. д. Наша община спокойна, миролюбива, в высшей степени консервативна; коммуна... воинственна, задорна и разрушительна и т. д. и т. д. (*на полутора страницах идет противопоставление консервативной общины революционной коммуны*) (выделено Марксом. — Г. К.). Община вынесла на своих плечах крепостное право и сохранила человечность в крестьянстве. В нашей общине люди работают для самих себя, лично пользуются приобретенным, остаются свободными распорядителями своей деятельностью и своим имуществом; их ограничивают в этом отношении лишь постольку, поскольку это неизбежно ради существования общины, и прежде всего — они сохраняют во всей целостности свой семейный быт».

И далее: *«Французские communes [в общепринятом смысле] и немецкие Gemeinden — просто низшие административные единицы. У нас мещанин (простой горожанин, не приписанный к гильдии) в глазах крестьянина — вообще существо жалкое, пробавливающееся шаромыжничеством (обман, надувательство и всякие проделки) и стремящееся поселиться где-нибудь в деревне и тут кое-как добывать на свое пропитание. В глазах же французского крестьянина*

напротив того — горожанин есть лицо высшее и намного более образованное и почетное» (выделено Марксом. — Г. К.).

Два противоположных образа жизни... Это же — истина!

Между прочим, Кошелевым дается объяснение и тому явлению, которое в приведенной Вами цитате из *неизвестной* «тетради» Маркса названо «бродяжничеством»: «Общинное землевладение дает русскому крестьянину возможность уходить на дальние заработки, оставляя семейство дома, и сохраняет за ними прочную оседлость для возврата (домой) по окончании работ или в случае ненахождения таковых» («Архив Маркса и Энгельса», т. XII, с. 151—152). Все это для Вас, скорее всего, докука? Меж тем приведенный кошелевский отрывок из конспекта Маркса несет в себе весьма важную информацию. Маркс — восторженно: «Браво, Кошелев!» Воскликает он это потому, что после ознакомления с концепцией Чернышевского, он здесь (и еще у одного русского автора) находит тот же вывод: русская община — именно «архаическая», идущая из глубин самой истории русского народа. Общины же на Западе, называемые *коммунами*, — недавнего происхождения; никак не самобытные. Они и не органичны. Они результат поиска форм жизни в *условиях буржуазности*.

А. Кошелев инстинктивно уловил в этих двух видах стремление людей к социальной справедливости и два же пути развития тогдашнего общества. Позже (в набросках письма к В. Засулич) Маркс покажет: «консервативная», но издревле коллективистская сельская русская община — *это и есть альтернатива западноевропейскому пути*. Исторический выбор! Западноевропейский же путь рассматривается им исключительно как капиталистический. *Исключительно*.

Вы, Раиса Павловна, опрометчиво пропускаете мимо себя не только *смысл* конспектирования Марксом работ А. Кошелева, продвинувшегося в анализе русской общины, конечно, далее А. Гакстгаузена. Вы не заметили, что, конспектируя работы разных авторов, Маркс, кроме как по отношению к Кошелеву, только раз пишет «Браво!» — при чтении Чернышевского... Это что-то да значит! Не заметив этого, Вы до крайности обеднили и свой собственный текст. Не вышли Вы за пределы Вашей цензурной обязанности. Бдили старательно. Потомство воздаст Вам...

Больно видеть, с каким нерадением отнеслись Вы также и к выпискам Маркса из книги В. Герье и Б. Чичерина «Русский дилетантизм и общинное землевладение». Между тем Б. Н. Чичерин сыграл, в сущности, *дезорентирующую* роль по отношению к Плеханову и Ленину. Они не посчитались с убедительнейшей критикой научной неосновательности Чичерина Чернышевским. *А с кем они вообще считались?*

В проблему эту необходимо ныне тоже вникнуть. Я ее касался, но мимоходом.

Маркс обратил впервые внимание на Чичерина, ознакомившись с материалами его полемики с историком И. Д. Беляевым, которая состоялась в 1850—1870 гг. Выписки из упомянутой выше книги Герье и Чичерина сделаны Марксом не раньше 1878 г. — он наблюдал за ходом мысли Чичерина. Вы же не заметили как раз главный вывод Маркса, отличающий его позицию от позиции Энгельса, Плеханова и раннего Ленина (о судьбах России). Но дело-то именно в том, что в полемике с Беляевым Чичерин с самого начала стремился обосновать точку зрения, согласно которой русская сельская община якобы является



не «архаической», не пришедшей из первобытности и составляющей позднюю, патриархальную ее ступень, а якобы появившейся многими веками позже, и будто бы создана она была русской феодальной государственностью — в интересах фиска...

Плеханов, перейдя на позиции отрицания возможной положительной роли общины в будущих судьбах России, стал покорнейше ссылаться на это утверждение Чичерина. Подобно этому поступал позднее и Ленин, предполагая *сверхбыструю гибель* общины в России.

Дело было, конечно, не просто. Это видно и из того, что даже И. Беляев, оппонент Чичерина, в какой-то момент заколебался. Маркс, кстати, и это заметил. В конспекте книги Герье и Чичерина он пишет: «Беляев сам, на стр. 96 (книги) «Крестьяне на Руси», признал, что крестьянское землевладение в древней Руси “было *участковое*, а не *мирское*”» («Архив Маркса и Энгельса», т. XII, с. 162; курсив Маркса. — Г. К.). Настолько исторические факты воспринимаются противоречиво.

И впрямь поразительно: даже народник Н. Даниельсон согласился с Чичериным и вступил в спор с самим Марксом... «...Я полагаю, — пишет он Марксу 22 мая 1873 г., — что Чичерин прав в своем споре с Беляевым. Община, известная нам при крепостном праве, обязана своим существованием фискальным мерам». Н. Даниельсон продолжает: «В отношении ее (общины) не придумали ничего нового; но после того как все развитие новой жизни лишило ее всех связующих мотивов, это же развитие дало правительству возможность насильственно, и притом тяжчайшими цепями, скрепить это распадающееся учреждение. *Ранее члены общины были связаны общностью интересов*; позже, когда община увидела свое бессилие и была близка к распаду, она была насильственно связана посредством фискальных интересов правительства» («К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия», М., 1967, с. 296; курсив мой. — Г. К.).

Даниельсон, стало быть, все же не полностью согласился с Чичериным: он не отрицает древнего происхождения старой русской общины, а согласен *лишь с тем*, что община периода крепостничества — это нечто якобы качественно иное по сравнению с «архаической» (коллективистской) общиной. Н. Даниельсон заявляет: «...Не следует заключать, что общинный дух вымер: там, где община *еще не потеряла своей силы*, там, где она могла охранять интересы своих членов, там она сохранилась *без внешней поддержки*» (там же; курсив мой. — Г. К.).

На этом фоне особенно и видна позиционная последовательность Маркса, в 1873 г. согласившегося с идеей Чернышевского именно о древнем, «архаическом» происхождении русской крестьянской общины. Маркс выписывает для себя из работы Герье и Чичерина «Русский дилетантизм и общинное землевладение» (1878 г.) весьма важное суждение, из которого полностью ясно, что никакой доказанности в утверждениях Чичерина он не обнаружил. Цитирую выдержку Маркса: «На вопрос Васильчикова (с которым в данном случае спорит Чичерин. — Г. К.): “когда и какой властью совершена была громадная операция экспроприации частных землевладельцев, — операция, по мнению Чичерина, проделанная Екатериной, — и перевод их в мир?” — Чичерин отвечает: “Если в источниках есть пробел, должен оставаться пробел и в исследованиях”. Далее в конспекте: “Памятники русской старины *не дают нам подробных указаний насчет того, как совершилось превращение частного владения в общинное*”» (курсив мой. — Г. К.).

Маркс выписывает по-русски: «Это не делалось путем общих мер; да подобные меры были бы и неуместны. Там, где земли было вдоволь, очевидно, весьма долго могли сохраняться подворные участки; по мере же того, как становилось тесно, приходилось разверстывать угодья, чтобы дать всем возможность нести наложенное на них тягло». Но мы знаем, «как были укреплены крестьяне, как подати и повинности с земель были перенесены на лица или же рабочие силы».

Окончание выписки Марксом чичеринского текста таково: «В отдельных случаях мы даже прямо знаем, когда и как было запрещено свободное отчуждение участков и введено (!) мирское владение». Относительно «однородцев и черносошных крестьян в статье “О сельской общине” (это статья Чичерина) (выделено Марксом. — Г. К.) прямо были указаны факты» («Архив Маркса и Энгельса», т. XII, с. 163).

У Чичерина, однако, получилось: «пробел» у него «в источниках», действительно, имеется, а «пробела» в необоснованных выводах у него нет... Он угодил, в сущности, в логическую ловушку: вести доказательства на фактах из жизни российского Севера, но община там имела или подворный, или смешанный характер, а не чисто коллективистский. Т. е. где земли оказывалось много (например, в Сибири тоже), там она чаще становилась частной собственностью, а не общинной. Однако из этого было бы ошибочно делать вывод, будто и по всей России (где земля никогда не была частной собственностью крестьян) земля была когда-то частной и лишь потом якобы стала мирской... В том и дело: очередность перемен тут идет именно в прямом, а вовсе не в обратном порядке. Потому Маркс и встал на точку зрения Чернышевского и Грановского, а позже получил подтверждение обоснованности этого своего убеждения из исследований Л. Моргана.

Не для Вас, а для читателя приведу и здесь вывод Маркса: «...Все исторические аналогии говорят против Чичерина. Как могло случиться, что в России этот институт (община) был введен просто как фискальная мера, как сопутствующее явление крепостничества, тогда как во всех других странах этот же самый институт возник естественным путем и представлял собой необходимую фазу развития свободных народов?» (Соч., т. 33, с. 482; курсив мой. — Г. К.).

Так прямо и сказано: «против Чичерина»... Но вопреки этому мнению Маркса, вся русская социал-демократия, начиная с Плеханова, отвергнув также выводы Герцена и Чернышевского, — вся она приняла в качестве руководства к действию все-таки именно выводы Чичерина... Произошло это тем не менее ясно почему: русская община в работах Чичерина объявлялась не самобытной, а сугубо временным явлением — причем якобы порожденным самими же русскими феодалами. А они — тоже временные. В основе всего предыдущего развития России названо было поэтому участковое (парцеллярное), частнособственническое крестьянское хозяйство. Россия, в сущности, произвольно экономически сближалась с частнособственнической Западной Европой. Поэтому, согласно Энгельсу, Плеханову и еще многим, «Капитал» Маркса был объявлен также раскрытием и судеб России, а не только судеб Англии и других стран Западной Европы, на чем настаивал сам Маркс.

Как же было плехановской группе в этих обстоятельствах поступить с протестующим Марксом? Объявить его, как некогда Чаадаева, сумасшедшим? Слишком поздно! Он успел прослыть очень умным. К тому же ясно было, что он скоро умрет. Молчаливо решено было его «русскую идею» тоже заставить



молчать... Для этого ее надо было упрятать. И — упрятали! А аналогичные по смыслу работы Герцена и Чернышевского о России дискредитировали как *утопию*.

Конечно, это чрезвычайный шаг: взять и скрыть самую суть «русской идеи» — в трактовке ее Марксом, а одновременно создать впечатление, будто мысли о судьбах России, рожденные внутри самой России, не являются достаточно верными. Ранее я уже доказал Вам: Плеханов буквально переверстал — «с марксистских» позиций — всю историю «русского духа». Сделал он это с целью внушить россиянам чувство *полнейшей бесперспективности всяких самобытных взглядов*. Между тем авторы этих взглядов исходили из реальных социально-исторических и общекультурных обстоятельств именно России — при этом не игнорируя и общечеловеческих, и общеевропейских, и общеазиатских законов развития.

Вся российская общественная, философская и историософская мысль была российскими социал-демократами принижена, в сущности, с двух внешне различных исходных позиций: а) со стороны тех, кто считал, что судьба у всего мира одинакова — рано или поздно, а все страны, мол, вступят на путь буржуазного развития; это, мол, и есть общечеловеческая перспектива; стало быть, и с Россией тут все ясно; б) принижение отечественных теорий шло со стороны «марксизма» плехановского типа; здесь дело не сводилось к установлению некоего «вечного» царства буржуазной демократии, напротив, делались попытки обосновать его замену социализмом, а потом и бесклассовым обществом, но то, что после феодализма во всех странах обязательно должен наступить капитализм, — это декларировалось как «великое открытие Маркса», невзирая на то, что лживость такого утверждения была очевидна уже и тогда...

Плеханов расхваливал Герцена и Чернышевского со всей силой своего литературно-публицистического, философского таланта, но — никак не за то, что действительно самое большое открытие XIX в. для России было сделано ими, и не за обоснование ими «русской альтернативы». А ведь если смотреть шире, то именно это и было их *предсказанием* различных и притом национально самобытных путей общественного развития в неодинаковых условиях жизни людей!

Маркс, стало быть, и не открывал «русской альтернативы» раньше *самых русских*? Несправедливо отнесясь в чем-то к Герцену, он со всей откровенностью признал *приоритет*, по крайней мере, Чернышевского — в обосновании самобытного «русского пути». Долгие годы изучая Россию, Маркс внес весьма и весьма важные дополнения в концепцию Чернышевского — ранее я уже писал Вам об этом подробно.

К сожалению, российские «марксисты», пошедшие за Плехановым (а потом и Ленин), постарались *дезавуировать как раз это провидение* Чернышевского. И для российских мыслителей был тем самым поставлен почти что фатальный предел: если кто-то не признает, что решающую роль в судьбах России сыграет пролетариат (причем и не свой, поскольку его мало, а именно западноевропейский), то и не может такой мыслитель претендовать на научность своих выводов... Разве не этим занимались и Вы лично?

«Домарксизм» Герцена и Чернышевского трактовался Плехановым и Лениным, в сущности, как научная и социальная *незавершенность* их мировоззрения.

Прежде чем перейти к анализу ситуации, в какой возникли трагические заблуждения именно Ленина (а в них отразилась и объективно их определила собой трагедия самой России), я бы хотел по возможности обозначить наиболее



важные моменты, которые характерны были для концепции Чернышевского — Маркса. К несчастью, они были или не замечены Лениным, или от него все-таки утаены. Новый российский «чародей», будущий кумир масс, Ленин входил в жизнь и историю, органично сконцентрировав в себе *помутившееся* сознание России... Кто вообще в жизни больше понимает, тот, оказывается, больше же и заблуждается! Со времен Сократа известно: у любого человека *заблуждения доминируют* над его даже великими прозрениями. У любого! Даже гений увлекает массу больше своими и чужими *предрассудками*, чем истинами...

Потому, именно потому и *человеческий прогресс трагичен в целом* — именно как прогресс. Темнота проникает внутрь всякого прогресса много глубже, чем свет. Нас с Вами интересует здесь, надеюсь, прежде всего свет — имею в виду в понимании людьми российского прогресса (противоречивого в масштабе истине материкового величия нашей страны — с ее полутора сотнями наций и народностей).

Да, досточтимая Раиса Павловна, самое главное было уже *открыто и осмыслено* в прошлых и возможных судьбах России именно в то время, когда Ленин *только еще вступал* на политическую арену. Но, повторяю, *это не коснулось его тогдашнего во многом неверного понимания хода особенно российской, а также мировой истории*. Скрытого от него Маркса он тогда самостоятельно *еще и не мог* дополнить осмыслением специфики нашей страны.

Вне поля зрения Ленина по меньшей мере осталось, во-первых, то (особенно четко сформулированное Марксом, наметившееся уже и у Чернышевского) положение, согласно которому в Западной Европе сложилась своя особая социальная специфика: составляющая всеобщую ступень в развитии всех «свободных народов» «архаическая» поземельная община здесь — именно в Западной Европе — переросла в подворную общину с частной собственностью на землю, а потом — и в парцеллярное, индивидуальное, частное же владение землей. Суть этого всемирно-исторического по значению факта заключается в том, что уже *тысячу лет назад в Западной Европе земля стала частной собственностью крестьян и феодалов* (а в Древней Греции и Древнем Риме это произошло и того раньше). *В России же земля так и не стала частной собственностью большинства крестьян*. Даже будучи выкупленной (после реформы 1861 г.), она все равно чаще всего крестьянами возвращалась общине. Таков был образ мышления их.

Стало быть, в Западной Европе тысячу лет назад исчезло главное препятствие на пути к капитализму, а в России коллективистская община только в 1920-е гг. (при советской власти) достигла самой высокой точки своего в то время действительно беспрепятственного развития (в 1921—1928 гг.).

Я писал уже Вам о том, что Великая Октябрьская — это именно *общинная* революция. Потому она и победила! Военный «коммунизм», вторично (первый раз — в 1918 г.) введенный на этот раз в виде сплошной коллективизации (артелизации), оказался *смертельным врагом* свободной и демократической русской общины. Об этом, впрочем, — в дальнейшем.

Вернемся сейчас к вопросу о Западной Европе. Спецификой ее развития, перенесенной в США и другие страны, явился ничем там не нарушенный именно капиталистический путь. Маркс считал этот путь наиболее результативным и в общем и целом все-таки *решающим* для человечества. Общинный же путь — в определенных, конечно, обстоятельствах — является *альтернативным*. При этом — объективно *неизбежным*.

Скрыв письмо Маркса от 8 марта 1881 г. к В. Засулич, плехановская группа, естественно, поставила и Ленина в положение неведения о самом главном. Это было и нетрудно. Как я покажу далее, Ленин был предрасположен к такому неведению, ведь психологический настрой — тоже мощнейший фактор в истории.

Вне поля зрения Ленина оказалось и то, что, размышляя о капитализме как об одной из наиболее закономерных ступеней, Маркс (как и ранее Чернышевский) был весьма далек от абсолютизации для России капиталистического пути развития. Ленин же (об этом подробно — тоже в дальнейшем) все свои усилия в молодости, напротив, направил на то, чтобы доказать (необоснованными ссылками на Маркса) полнейшую неизбежность развития России по пути, уже действительно проделанному странами Западной Европы.

Вы, Раиса Павловна, и Ваши единомышленники, в свою очередь, абсолютизировали именно эти ошибочные ленинские положения, самозабвенно провозглашавшие неизбежность капитализма везде и всюду.

Все вы и до сих пор повторяете, причем даже и не Ленина, который, ошибаясь, был все же далек от примитивной вульгаризации, а повторяете сталинский «Краткий курс» истории ВКП (б).

Впрочем, сейчас-то я хотел бы — перед тем, как в следующем письме обратиться к анализу «западнических» заблуждений Ленина, — обозначить и еще один момент, оказавшийся недоступным Энгельсу, Плеханову, а также долго и Ленину, — никто из троих самых выдающихся мыслителей, веривших в то, что именно они-то и есть марксисты, никто из них (особенно Плеханов) не проник в глубину обращенного и к ним (включая Энгельса) предупреждения Маркса: судьба и роль крестьянства в истории всегда была именно самобытной! Обобщая мировой опыт, Маркс писал: «События поразительно аналогичные, но происходившие в различной исторической обстановке, привели к совершенно разным результатам. Изучая каждую из этих эволюций в отдельности и затем сопоставляя их, легко найти ключ к пониманию этого явления; но никогда нельзя достичь этого понимания, пользуясь универсальной отмычкой в виде какой-нибудь общей историко-философской теории, наивысшая добродетель которой состоит в ее надысторичности» (Соч., т. 19, с. 121).

Но именно в такую «универсальную отмычку» Энгельс, Плеханов и в течение длительного времени Ленин в каждый нужный им раз превращали «Капитал» Маркса, «Коммунистический манифест» и другие его работы.

Как конкретно поступили с идеями Маркса о России и о Западе Энгельс и Плеханов, — это было мною Вам предъявлено посредством документального воспроизведения их текстов. Они знали, что делали. А вот как проблему «Маркс и Россия» решал для себя Ленин, так и не увидевший ни письма Маркса к В. Засулич от 8 марта 1881 г., ни его черновых набросков к этому письму, опубликованных уже после его смерти? Об этом — следующее мое обращение к Вам.

Прошу прощения за все огорчившие Вас и, может быть, действительно неловкие мои слова. Однако не договаривать до конца я, как оказалось, просто не могу. И не хочу. Менее всего я хотел бы причинить Вам не заслуженные Вами огорчения.

Г. Куницын,
19. V. 1991 г.

Новосибирскому государственному краеведческому музею — 100 лет

МУЗЕЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Когда мы произносим слово «музей», в голове наверняка всплывают воспоминания о тихих залах, рядах витрин и звучных голосах экскурсоводов. Но это только верхушка айсберга — музейная деятельность сложна, разнообразна и чаще всего не видна посетителям. О том, что такое современный музей, о Новосибирском государственном краеведческом музее, обо всех его филиалах и планах на будущее мы поговорим в нашем обзоре.

История музея

История Новосибирского государственного краеведческого музея началась с создания музейной секции при отделе народного образования, которой руководил биолог Владимир Анзимиров. В августе 1920 г. Центральный народный музей в Ново-Николаевске был официально открыт. Он находился в здании, расположенном на улице Урицкого, 2 (бывшем доме хлеботорговца Арона Кагана). Владимир Анзимиров, ставший первым директором музея, мечтал о создании в городе «Музея мироведения», рассказывающего об истории Земли и ее обитателей, поэтому первые экспозиции Центрального народного музея были посвящены астрономии и геологии.



Экспозиция музея, открытая в марте 1927 г. в здании на Красном проспекте



Зал «Население» постоянной экспозиции музея, 1928 г.

В 1926 г. музей был передан в ведение Общества изучения производительных сил Сибири и переехал в здание на углу Красного проспекта и улицы Свердлова, в бывший дом купца Федора Маштакова.

В 1931-м музей был вновь переименован — он становится Западно-Сибирским краевым музеем, в нем открылись естественно-исторический и историко-революционный разделы, зал социалистического строительства, сельского хозяйства, раздел «Лес, охота, рыболовство». В 1934 г. музей закрыли на ре-



Экскурсия для рабочих-ударников в металлургическом разделе экспозиции Западно-Сибирского краевого музея, 29 июля 1933 г.



Директор музея Андрей Шаповалов проводит экскурсию в экспозиции «Сибирь в древности»

конструкцию, после которой в конце 1930-х гг. появилось новое название — Новосибирский областной краеведческий музей.

В годы Великой Отечественной войны фонды и экспозиции музея были законсервированы, а часть учетной документации — утеряна во время многочисленных перемещений музейных коллекций, поэтому после Победы основной задачей становится восстановление учетной документации и подготовка новых экспозиций.

Музей — это экспертная и глубоко профессиональная организация. Вне зависимости от приемов экспозиционного показа, тем выставок и возможностей музейных пространств, главное в ее деятельности — это реализация главных музейных задач по комплектованию, изучению, хранению и показу предметов прошлого нашего региона.

Сейчас Новосибирский государственный краеведческий музей имеет шесть отделов, которые расположены не только в Новосибирске, но и в Новосибирской области.

Главное здание музея

Главное здание музея — Городской торговый корпус, построенный по проекту архитектора Андрея Крячкова в 1910 г. и фактически являющийся центральной точкой Новосибирска. Музею это здание было передано в 1979 г., а в 1987-м, после завершения масштабной реконструкции, музей открылся для посетителей.

Сегодня цокольный этаж здания занимает постоянная экспозиция «Сибирь в древности», представляющая комплексную картину жизни целых регионов: скотоводов-кочевников на юге Сибири, земледельцев в долинах Оби и Енисея, охотников и рыбаков в таежных зонах, оленеводов на Крайнем Севере. На первом этаже расположена экспозиция «История Новосибирской области»,



Экспозиция «История Новосибирской области». Зал «Освоение Южной Сибири»



Экспозиция «Сибирь в древности»

которая знакомит посетителей с историей развития и становления региона — от освоения русскими Сибири до распада СССР в 1990-е гг.

В залах второго этажа проводятся выставки из фондов крупнейших музеев России, собственных фондов и частных коллекций.





«Гостиная», начало XX в. Реконструкция интерьера

Музей «Городская усадьба Ново-Николаевска»

Музей расположен на территории типичной городской усадьбы — основного компонента застройки города Ново-Николаевска в начале XX века. Дом, построенный в 1905 г., принадлежал мещанину Евсею Метлину, занимавшемуся частным извозом (кстати, именно здесь снимал комнату революционер Александр Петухов, именем которого названа одна из улиц Новосибирска).

До 1947 г. это здание на улице Ленина оставалось жилым домом, но в память о видном политическом деятеле Сергее Мироновиче Кирове здесь был создан музей. Долгие годы экспозиция рассказывала о революционерах и революционном движении в Сибири, а дом получил статус памятника истории.

В здании сохранилась подлинная планировка помещений, при реставрации в прежнем виде восстановлен цокольный этаж. Обновленная экспозиция, открытая в 2017 г., воссоздает обстановку и детали быта обычной мещанской семьи среднего достатка. Представлены интерьеры кухни, столовой, гостиной, спальни. В основе экспозиции — коллекции из фондов Новосибирского госу-



«Комната А. Петухова», начало XX в. Реконструкция интерьера



«Столовая», начало XX в. Реконструкция интерьера

дарственного краеведческого музея: мебель, посуда, одежда, книги, предметы интерьера, а специальный раздел по-прежнему посвящен революционным событиям начала XX века.

Музей природы

Естественно-научные разделы входили в состав экспозиции музея с момента его основания. В 1931 г. отдел природы был создан в составе экспозиции Западно-Сибирского краевого музея, а в 1972 г. этот отдел переехал в новое здание на Вокзальной магистрали, 11, где и находится до сих пор. Современная экспозиция, объединившая более 1500 экспонатов, открыта в декабре 2013 г.



Самый знаменитый экспонат Музея природы — полный скелет самки шерстистого мамонта

В залах показано все многообразие животных, птиц и насекомых, обитающих в Новосибирской области.

Самый известный экспонат музея — полный скелет самки мамонта, названной Матильдой (найден в 1940 г. в селе Вахрушево Коченевского района Новосибирской области), а соседствуют с ним скелеты шерстистого носорога и бизона, научная реконструкция пещерного медведя, фигура детеныша мамонта. В музее также можно увидеть плиты с окаменелыми останками динозавров, обнаруженные в Кемеровской области.

Для самых маленьких посетителей создана «Скала диковин» со сверкающими друзьями аметиста и подлинными окаменелостями древнейших животных, возраст которых насчитывает сотни миллионов лет.

Музей Олимпийской славы

Музей Олимпийской славы был образован в конце 1990-х гг. на базе колледжа Олимпийского резерва, собирався силами энтузиастов, а в 2016 г. вошел в состав Новосибирского государственного краеведческого музея. Сегодня фонды Музея Олимпийской славы составляют около 7000 единиц хранения — в экспозиции представлены многочисленные награды, кубки, медали, редкие предметы экипировки и инвентаря прославленных новосибирских спортсменов. Отдельные тематические комплексы посвящены олимпийским чемпионам: Александру Тихонову, Станиславу Позднякову, Александру Карелину, Евгению Подгорному, Виктору Маркину, Ирине Минх, Андрею Перлову и многим другим спортсменам из Новосибирской области, в том числе и паралимпийцам.



Медали новосибирских спортсменов



Экспозиция Музея Олимпийской славы

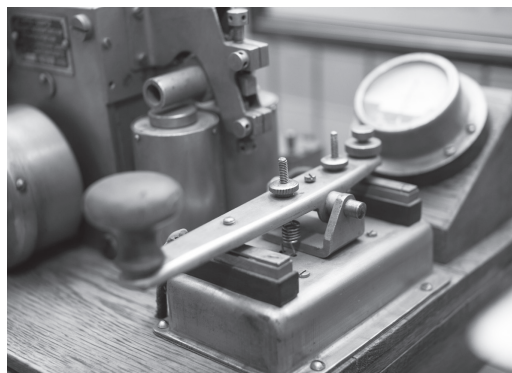
Кроме того, в залах экспонируется обширная коллекция флагов советских спортивных обществ: «Урожай», «Динамо», «Зенит», «Трудовые резервы», «Буревестник». Из последних поступлений наиболее интересны экспонаты, связанные с зимними Олимпийскими играми в Сочи в 2014 г., — макет Олимпийского огня и спортивная форма сборной России.

Музей связи Сибири

В октябре 2016 г. состоялось торжественное открытие Музея связи Сибири как филиала Новосибирского государственного краеведческого музея.

Музей связи Сибири расположен в здании Главпочтамта, построенном в 1916 г. по проекту Андрея Крячкова. Основное направление деятельности музея — исследование истории развития отрасли связи в регионах Сибири.

В состав фонда входят более 5 000 экспонатов от начала XX в. до настоящего времени: телеграфный аппарат Морзе, контейнер для транспортировки ценной почты, форма начальника узла связи, коммутатор для полуавтоматической междугородней связи, действующий экспонат — телефонная станция декадно-шаговой системы, телефоны, первый массовый телевизор КВН-49, радиоприемники, магнитофоны, компьютеры, кабели и многое другое.



Телеграфный аппарат Морзе, 1945 г.

«Сузун-завод. Монетный двор»

Музейно-туристический комплекс «Сузун-завод. Монетный двор» расположен в 180 километрах от Новосибирска в старинном поселке Сузун, где в 1764 г. был построен Нижне-Сузунский медеплавильный завод и монетный двор, а с 1766-го по 1782 г. чеканилась сибирская монета.



Водоналивное колесо на территории музейно-туристического комплекса «Сузун-завод. Монетный двор». Реконструкция



Сотрудник музея демонстрирует процесс изготовления монеты

Музейный комплекс открыт 11 октября 2016 г., в год празднования 250-летия начала производства сибирской монеты. Этому предшествовала многолетняя исследовательская работа, археологические изыскания, строительство зданий и сооружений, проектирование и монтаж экспозиций.

В состав музейно-туристического комплекса входят музей «Медеплавильный завод», расположенный в здании единственного сохранившегося заводского цеха, музей «Монетный двор», где представлена линия действующих моделей станков по производству монет, музей «Дом-контора управляющего».

В 2018 г. в здании бывшей церковно-приходской школы конца XIX в. был открыт Музей сибирской народной иконы. В настоящее время это единственный музей в стране, посвященный данной тематике.



Экскурсия по экспозиции Музея сибирской народной иконы

Комплектование музейных предметов

Одна из главных задач музея — комплектование фондов и их изучение. Для этого нашими специалистами организуются археологические и этнографические экспедиции, проводится анализ коллекций и закупка необходимых для музейного собрания предметов, но при этом все же большая часть предметов принята в дар от жителей города и области.

В 1920—1930-е гг. основным источником поступления были экспедиции (геологические, этнографические, археологические и естественно-научные), а в 1950—1980-е гг. активно работали археологические и историко-бытовые экспедиции, собиравшие материалы по всей территории Новосибирской области.

Новый этап пополнения фондов связан с первыми десятилетиями XXI в. — краеведческий музей организовал целый ряд археологических экспедиций, в результате которых открыты новые памятники, дополнившие наши коллекции предметами религиозного культа и украшений древнего населения Приобья.

В 2000-е гг. в музейные фонды были переданы документы из архивов госучреждений и экспонаты ряда ведомственных музеев Новосибирска (Музея связи ОАО «Ростелеком», Музея Олимпийской славы).



Новые находки археологов Новосибирского государственного краеведческого музея



Исследование археологического памятника у села Верх-Сузун, 2018 г.



Валерия Дружинина в хранении коллекций «Стекло» и «Фарфор»

Хранение и реставрация музейных предметов

Фонды Новосибирского государственного краеведческого музея насчитывают 275 000 музейных предметов, которые составляют естественно-научные, краеведческие, архивные и художественные коллекции. Все они нуждаются в сохранении и бережном отношении. В музее созданы оптимальные условия для обеспечения их сохранности и продления жизни — наши фондохранилища оснащены современным специальным оборудованием, создана возможность для контроля влажности, освещенности и температуры.



Современные системы хранения Новосибирского государственного краеведческого музея



Татьяна Прохорова в хранении коллекции «Искусство»



Музейный лекторий

Сотрудниками музея регулярно проводятся профилактические работы с коллекциями, а при необходимости предметы направляются на реставрацию.

Реставрационная деятельность в музее началась в 1987 г., когда была организована лаборатория для реставрации предметов на бумажной основе. Постепенно штат и сфера деятельности наших реставраторов расширились, и сегодня большинство предметов из собрания может быть отреставрировано собственными силами. Ежегодно профилактические и реставрационные мероприятия проводятся с более чем 400 музейными предметами из керамики, металла, ткани, кожи и дерева.

Просветительские проекты последних лет

Кроме постоянной методической работы с музеями муниципальной сети Новосибирской области наш музей проводит ежегодно более 4000 научно-просветительных мероприятий (экскурсий, лекций, семинаров), и некоторые из них стали значимыми событиями как в жизни профессионального сообщества, так и в жизни города и Новосибирской области.

«Ночь в музее»

Наш музей первым из новосибирских учреждений культуры присоединился к международной культурной акции «Ночь в музее» в мае 2009 г. Тогда музейные залы в течение ночи посетили более 5000 человек, и теперь ежегодно события краеведческого музея включаются в официальную программу акции, проходящей под патронажем Международного совета музеев (ИКОМ) и ЮНЕСКО.

За одиннадцать лет участия в крупнейшем ежегодном музейном событии Новосибирский государственный краеведческий музей представлял различные программы с акцентом на мероприятия для семейного посещения, тематические экскурсии, участие музейного зрителя в событии, экспонировал собственные исторические и естественно-научные коллекции, а также масштабные партнерские проекты.

Международный фестиваль «Музей для людей»

В сентябре 2018 г. Новосибирский государственный краеведческий музей впервые организовал Международный фестиваль музейного маркетинга и гостеприимства «Музей для людей». Его участниками стали более 130 музейных специалистов из восемнадцати регионов России, а также наши коллеги из Германии, Южной Кореи и Казахстана. На площадках фестиваля выступили российские и зарубежные эксперты, кураторы успешных проектов, представители маркетинговой среды.

Выступления известных спикеров, открытые обсуждения, выставка-презентация актуальных кейсов — фестиваль «Музей для людей» дает возможность для музейных специалистов показать свои профессиональные достижения и вдохновиться работой коллег.

«Четверги в музее»

С 2019 г. наш музей реализует специальную вечернюю программу «Четверги в музее» — каждый четверг посетители могут провести вечер в музее и выбрать интересующие их мероприятия: музейный лекторий, экскурсии по экспозициям или презентации новых выставочных проектов. В эти дни главное здание музея на Красном проспекте, 23 открыто для посещения с 12:00 до 20:00.

Музейный лекторий открылся для посетителей впервые за долгое время. Научные сотрудники музея, а также приглашенные эксперты выступают с лекциями по различным направлениям: история, этнография, архитектура, искусство и мода.

Музей сегодня

Новосибирский государственный краеведческий музей сегодня — это центр культуры, место важнейших проектов и событий, формирующих культурную повестку в Сибирском регионе, это научная и исследовательская работа, благодаря которой изучается и сохраняется наше историческое наследие.

У нашего музея много планов — это и новые экспозиции, новые здания для фондохранилищ, создание центра хранения и реставрации, а главное — новые встречи с посетителями в залах музея.

Начинаем новый век!



Лариса МАРТЫНОВА

НА ГРАНИЦЕ

Тема о духовных угодьях того или иного вида искусства сама по себе достаточно интересна как для философа, так и для искусствоведа или психолога. Считается, что картина имеет дело с мгновением, которое художник остановил на листе бумаги или холсте. Длительное время — вотчина музыки и литературы.

Современное искусство, однако, только тем и занимается, что различными способами пытается выйти за рамки установленных веками канонов. Границы дозволенного перекраивались уже задолго до импрессионистов, которые первыми предстали перед публикой как нарушители академических правил. Искусствоведы пытаются осмыслить причины таких художественных миграций. На границах миров происходит самое интересное. Больше других мне нравятся художники, работающие на переходе от реализма к абстракции, на стыке общечеловеческого и национального, живописного и графического, изобразительного и вербального способов познания мира. Не каждому художнику, а тем более обычному человеку удастся увидеть в окружающем пейзаже такой сюжет, который не будет отвергнут начисто, как в абстракции, и не будет отчетливо реалистичен, но станет просвечивать на холсте, подобно солнцу в подводном мире.

В эпоху становления искусства кино футуристы пытались показать на своих холстах раскадровку движения. Казимир Малевич и его друзья, коопунственно поправляя Всевышнего, создавали свою новую реальность. Но и сейчас не каждому автору, будь он литератор или художник, дана способность чувственного восприятия несуществующих в панораме мира квадратов или событий прошлого, а время закрыто для нас на замки более прочные, чем пространство.

Я бы хотела познакомить читателей «Сибирских огней» с художником «погра-

ничной зоны». Из более чем пятидесяти тысячной коллекции экспонатов изобразительного искусства в Восточно-Казахстанском музее искусств я выбрала работы моего земляка, устькаменогорца Марата Смаилова. Он ищет вдохновения, единомышленников и «способ взглядывания в мир» (выражение Павла Флоренского) на границах жанров и видов пластики, в колледже времени, который открыт для него, как для обычных людей — дорожки сада.

Из всех стихий основная для Марата Смаилова — тишина. Его коммуникационные возможности и внутренний мир основаны только на зрительных ощущениях. Сотрудники музея разговаривают с Маратом при помощи блокнота и ручки. Родился художник в 1968 г. в поселке Кок-Жура Самарского района Восточно-Казахстанской области. По его словам, рисовал он с тех пор, как помнит себя. С детства лишенный слуха, в пятилетнем возрасте потерявший мать, Марат вынужден вести жизнь отшельника. Выставки его не часты, а работы, которые он приносит в салон музея, раскупаются мгновенно и вызывают восхищение как публики, так и специалистов. Он научился жить в мире безмолвия, но где-то на небесах есть, наверное, весы и особая бухгалтерия для каждого человека. Взамен утрат природа наделила его умением видеть едва различимые нюансы цвета, чувством композиции, воображением, способностью мыслить пластически. В специализированном интернате города Зыряновска его научили говорить на русском языке и рисовать. Потом ему посчастливилось учиться в Ленинградском художественном политехникуме (1987—1992 гг.), быть участником выставок в столице Казахстана Астане (ныне Нур-Султан), в Алма-Ате, Усть-Каменогорске, Зыряновске. Удивительно то, что, лишенный взаимодействия с самой главной — вербальной — составля-

ющей современной культуры, художник бережно сохранил в своем творчестве все приметы национального своеобразия. Он пишет маслом и рисует тушью, если можно так выразиться, по-казахски. Его интересуют история, творчество Ильяса Есенберлина, казахские народные сказки, он знаток традиционного казахского костюма. Вся его графика отличается особым восточным колоритом — и даже в том случае, когда он рисует (вдруг, и почему-то, и довольно смело) Сталина и его жену! В своем мире он научился быть изобретательным и свободным, как никто другой. Приносит графику в салон, лукаво смеиваясь, говорит, что сделал серию литографий. Действительно: художник использовал печатную технику, типографскую краску, по оттиску сходство с литографией полное. Но, к сожалению, искусство литографии, хромолитографии в России и Казахстане сейчас — большая редкость. Да и мы знаем, что литографических камней и печатного станка художник не имеет. Потом уже, разоблаченный, признается, что это его секретная технология, в которой он использует монотипию и фанерную дощечку. Получая отпечаток, он начинает высматривать волнующие его образы, дорабатывает картинку различными материалами в смешанной графической технике. Использует и акварель, и тушь, и перо, и кисть. Как-то на свалке нашел целый рулон засвеченной фотобумаги, на которой получаются необычные оттиски. Так появились графические листы «Весть», «Женщина в национальном костюме», «Понюшка табаку». Каждый искусствовед признает, что эти работы не только по-азиатски самобытны и колоритны, но и по-европейски изысканны, каждая имеет свою изюминку, особую эмоцию и сюжет. Особенно мне нравится «Женщина в национальном костюме». Поверьте, у нас в Казахстане даже в самом дальнем ауле уже не найти такую. Такая женщина могла жить в эпоху пазырыкских курганов на Алтае или на казахстанской Берели, когда предки русских, казахов и алтайцев имели на обширных территориях современных России и Казахстана некую общую протокультуру. Нам остались от нее только изображения звериного стиля и генетическая память художников.

Женские образы у Смаилова очень разные, но все они несут в себе эстетику далекого прошлого, этнографическую эстетику. Его красавицы не живут в интерьерах современной квартиры, они не встречаются на улицах городов. Некоторые из них («Солнце Азии») — просто сестренки виллендорфской Венеры, другие, наоборот, изящные и тонкие, как тростинки, могли бы стать иллюстрацией к любовной лирике Абая («Руфина»). Если бы Марат был японцем, я назвала бы его приверженцем принципа «саби» («следы времени»). В этих работах наш художник — истинный график. Такая выразительная линия дается только мастерством, помноженным на вдохновение и восхищение второй половиной человечества. В живописном варианте его «Женщина» с пиалой в руке также не может позировать на кухне. Образ ее романтичен и, как ранее говорили, глубоко национален по форме. Живопись Смаилова, многослойная, контрастная по колориту и обобщенная в формах, выдает в нем авангардиста-современника, имеющего машину времени для того, чтобы найти интересную модель. Живописная поверхность его картин всегда имеет сложную красочную текстуру. На бумаге это, как правило, разводы краски, полученные с помощью монотипии. На холсте он работает широкой кистью и мастихином. Такие приемы позволяют художнику создавать иллюзию красочной лавы, дополнительной динамики, текучего пространства-времени, струящегося воздуха. В упомянутом выше сюжете «Весть» он использует приемы футуристов. Мы видим плавные, последовательные движения рук девушки, полет скакуна, жаркое летнее марево, ветер, который клонит степные травы — словно в замедленной съемке.

Графический лист «Батыр» — одна из тех работ, в которых художник не скрывает своих особых отношений с категорией времени. Его почти апокалиптический всадник мчится сквозь столетия мимо верблюжьих повозок, безмолвных балбалов, древних руин. Свистит рассекаемый его копыем воздух. Символическому сюжету здесь не мешает реалистическая подача объектов внимания художника. Гранит степных истуканов зримо зернист, копые — остро, грива скакуна прочерчена уверен-

ными линиями, наполненными ветром. Во всех сюжетах — безукоризненные формы и пропорции, уверенная академическая выучка — то, чего так не хватает многим современным авангардистам. В целом мир Смаилова реален настолько же, насколько и нереален. Это сочетание — золотая середина для любого зрителя. Это романтическая реальность, любить которую гораздо легче, чем супрематическую геометрию или чистый натурализм. Независимо от того, с каким материалом работает художник, он использует одновременно живописные и графические изобразительные средства, то есть находится в пограничье двух видов искусства — некоторые российские искусствоведы обозначают его термином «жиграф». Колорит его картин выстроен на контрастах. Он любит красный, синий, но обращается с ними сурово: тщательно дозирует на полотне ярчайшие оттенки цвета. Для него, как и для Василия Кандинского, «глаз — это клавиш, цвет — молоточек, душа — многострунный рояль». Неслучайно самой любимой и одновременно самой большой темой для Смаилова стал недоступный для него мир музыки. Глухота его неизлечима. Любая мелодия, шум воспринимаются им только на уровне вибраций, а тайна звука мучит его постоянно. Стоит перечислить названия картин Смаилова, чтобы понять это: «Песня акына», «Звуки древнего кобыза», «Небесный музыкант», «Серебряный музыкант», «Красный кобыз», «Композиция» (с изображением того же кобыза, корпус которого надломлен в середине). Самые лучшие, на мой взгляд, работы художника связаны с этой темой. Тишина его полна цвета. Уже поэтому она воспринимается не пугающим мертвым безмолвием, но паузой в партитуре электромагнитных колебаний. Иногда мы забываем, что звук и цвет — это по сути одно и то же. Наши органы чувств несовершенны. Мы не знаем, как поет радуга, какими оттенками окрашена песня жаворонка, какими — хриплое карканье вороны. Работы Смаилова дарят восприятию зрителя какое-то неведомое свойство, родственное и зрению, и слуху одновременно. На картинах художника, «поющего в тишине», краски и мелодии льются по универсальным законам гравитации, а рациональный

интеллект современного зрителя приобретает свойства древнего эзотерического мышления. Из перечисленных выше работ, связанных с миром музыки, самая загадочная и притягательная — «Небесный музыкант». Каждому казаху ясно, почему ангел на картине играет именно на кобызе, хотя та же домбра не менее любима в Казахстане. С помощью кобыза шаманбаксы разговаривает с душами предков. Мелодия кобыза связывает воедино тело народа во времени. Тот, кто хоть раз услышал низкий, подобный голосу виолончели, звук кобыза, не забудет его никогда. Для русского сердца есть в «Небесном музыканте» что-то иконографическое. Автору веришь безусловно: небесный музыкант выглядит именно так.

Полотно «Красный кобыз», как и жизнь человека и его внутренний мир, поделено надвое. Работу эту трудно комментировать. Что там? Справа — душа, замкнутая в теле человека, как он сам — в тесном интерьере юрты. Слева — бескрайняя небесная лазурь. Порыв ветра, который поднимает нас на поверхность бытия, как легкое перышко. Голос кобыза связывает небесный и земной мир единой мелодией, одним смыслом, который открывается каждому, но, к сожалению, в конце жизни, вынужденной подчиниться неумолимым законам времени.

Почему-то во многих культурах изобразительная деятельность не получила особого благословения, как музыка или литература. В Древней Греции и Риме художники не имели своей музыки. Египтяне запрещали при жизни человека окончательно прорабатывать детали на его изображении, поэтому на всемирно известном скульптурном портрете Нефертити один глаз не прорисован. Ислам ограничивался орнаментом, запрещая изображать любое живое создание. То же самое было в иудаизме. Христиане после долгих византийских сомнений посчитали необходимой иконопись, однако ни в одном христианском тексте вы не найдете упоминания о том, как художник славит Всевышнего. «Небесный музыкант» Марата Смаилова — еще одно свидетельство того, что в высших сферах звучит только музыка. Ангелы, к сожалению, только поют, но никогда не выходят на пленэр.

АВТОРЫ НОМЕРА

Андреева Анастасия родилась в 1973 г. в Ленинграде. Поэт, переводчик фламандской поэзии. Публиковалась в журналах «Крещатик», «Волга», «Иностранная литература» и др. Живет в Брюсселе (Бельгия).

Грювес Люк (Luuk Gruwez) родился в 1953 г. в Кортрейке (Бельгия). Окончил Лёвенский католический университет по специальности «филолог-германист». Преподавал нидерландский язык. Автор более трех десятков книг поэзии и прозы. Лауреат многих литературных премий. Стихи Грювеса переведены на французский, испанский, немецкий, норвежский, английский, русский языки, на африкаанс. Живет в г. Хасселт (Бельгия).

Копнин Валерий Павлович родился в 1963 г. в Барнауле. Окончил Алтайский институт культуры и ГИТИС. Автор книги рассказов «Сукины дети». Публиковался в журналах «Север», «Огни Кузбасса», «Сибирские огни». Работает режиссером телевидения. Член Союза театральных деятелей РФ. Живет в Барнауле.

Корниенко Игорь Николаевич родился в 1978 г. в Баку. Работал в СМИ г. Ангарска. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Октябрь» и др. Автор двух книг прозы. Лауреат ряда литературных премий. Живет в Ангарске.

Куницын Георгий Иванович (1922—1996) родился в д. Куницыно Иркутской области. В июне 1941 г. окончил в Киренске среднюю школу № 1 с золотой медалью. Доброволец, участник Великой Отечественной войны. Стал кандидатом в члены ВКП(б) в 1942 г. под Сталинградом, а в 1943 г. на Курской дуге вступил в партию. Четырежды ранен, награжден боевыми орденами и медалями. Окончил с отличием исторический и филологический факультеты пединститута (Тамбов), Академию общественных наук при ЦК КПСС (Москва). В 1961—1966 гг. работал в отделе культуры ЦК КПСС, в 1966—1968-м — в газете «Правда». Был снят с руководящих постов за отказ проводить репрессивную идеологическую линию пар-

тии в отношении творческой интеллигенции. Кандидат филологических наук, доктор философских наук, профессор ГМПИ им. Гнесиных и Литературного института им. А. М. Горького, академик РАЕН, автор нескольких монографий и многих статей. Член СП СССР, член Союза кинематографистов и Союза журналистов СССР. Отец четырех сыновей. Похоронен на кладбище в Переделкине.

Куницын Игорь Николаевич родился в 1976 г. в Печоре. Окончил Архангельскую государственную медицинскую академию, учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Публиковался в журналах «Интерпоэзия», «Новая Юность», «Крещатик», «Сибирские огни» и др. Автор книг «Некалендарная зима», «Портсигар», «Макадам». Живет в Домодедове.

Мартынова Лариса — специалист экспозиционно-выставочного сектора Восточно-Казахстанского музея искусств. Живет в Усть-Каменогорске (Казахстан).

Марфин Владимир Семенович родился в 1934 г. в Москве. Автор 22 книг стихов и прозы. Стихи, рассказы, повести, пьесы, статьи печатались в журналах «Волга», «Дальний Восток», «Наш современник» и др. Заслуженный работник культуры России. Живет в Москве.

Румянцев Дмитрий Анатольевич родился в 1974 г. в Омске. Окончил филологический факультет Омского педагогического университета. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Звезда», «Новый мир» и др. Автор трех поэтических книг. Лауреат Всероссийской литературной премии им. В. П. Астафьева. Член Союза российских писателей. Живет в Омске.

Синицын Тихон Борисович родился в 1984 г. в Севастополе. Получил высшее гуманитарное образование в Ялте, по специальности — художник. Публиковался в журналах «Москва», «Октябрь», «Нева», «День и Ночь», «Роман-газета», «Юность» и др. Автор книг «Частная тетрадь», «Рисунки на берегу», «Бескрайняя Таврика». Живет в Севастополе.



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел. (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 11.08.2020. Дата выхода № 9 за 2020 г. в свет 14.09.2020.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.